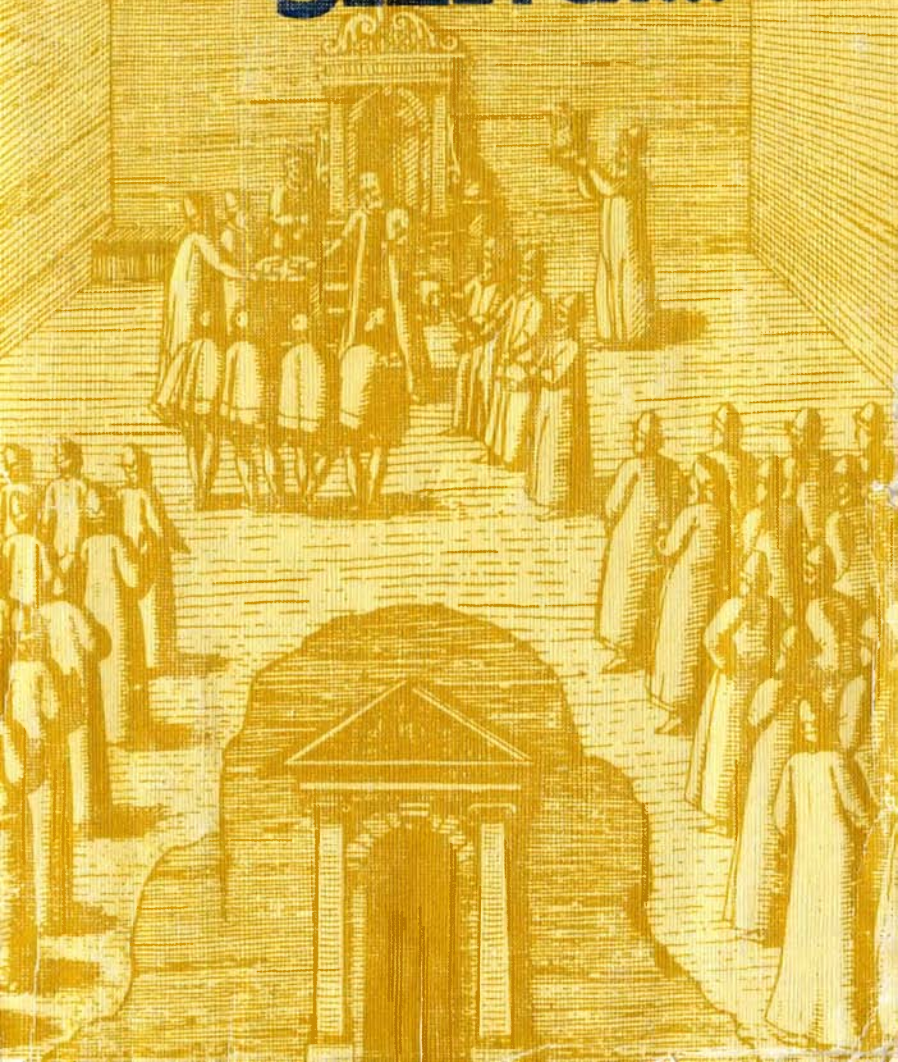


204 Л. А. Юзefович

„КАК В ДИСОЛЬСКИХ ОБЫЧАЯХ ВЕДЕТСЯ...”



БИБЛИОТЕКА
„ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА.
ДИПЛОМАТИЯ“

Л.А.Юзефович

**„КАК
В ПОСОЛЬСКИХ
ОБЫЧАЯХ
ВЕДЕТСЯ...“**

МОСКВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
1988

ББК 63(2)44
Ю20

Юзефович Л. А.

Ю 20 «Как в посольских обычаях ведется...» Русский посольский обычай конца XV — начала XVII в. — М.: Междунар. отношения, 1988. — 216 с. — (Б-ка «Внешняя политика. Дипломатия»).

ISBN 5-7133-0111-7

В живой публицистической форме рассказывается о становлении и первых шагах дипломатической службы России в XV—XVII вв. Автор рассказывает о существовавшем тогда порядке направления русских послов за рубеж, о правилах поведения иностранных представителей при дворах европейских и азиатских монархов, о порядке ведения переговоров, оформлении дипломатических документов, о церемониале, который господствовал на царских аудиенциях, во время торжественных обедов, приемов иностранных посольств и т. п. Большое место отведено активности русской дипломатии в эпоху Ивана Грозного. Приводятся примеры деятельности русских и иностранных дипломатов того времени.

Для специалистов и всех, интересующихся историей отечественной дипломатии.

Ю $\frac{0503020200-33}{003(01)-88}$ 61-88

ББК 63(2)44

МОНОГРАФИЯ

Леонид Абрамович Юзефович

«КАК В ПОСОЛЬСКИХ ОБЫЧАЯХ ВЕДЕТСЯ...»

РУССКИЙ ПОСОЛЬСКИЙ ОБЫЧАЙ КОНЦА XV — НАЧАЛА XVII В.

Редактор Н. Н. Лещева. Оформление художника Е. А. Ильина. Художественный редактор Н. Д. Смольникова. Технические редакторы О. В. Кудряцева, Т. С. Орел. Корректор А. В. Федина.

ИБ № 1259

Сдано в набор 11.11.87. Подписано в печать 14.03.88. А 04510. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л 11,34+0,84 вкл. на офсетной бумаге. Усл. кр.-отт. 15,02. Уч.-изд. л. 14,43. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1094. Цена 1 р. Изд. № 24—И/85. Издательство «Международные отношения», 107078, Москва, Садовая-Спасская, 20. Отпечатано с диапозитивов, изготовленных в издательстве «Юридическая литература» на Ярославском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ISBN 5-7133-0111-7

Осенью 1480 года Ахмет-хан, повелитель Большой Орды, так и не решившись перейти со своей конницей маленькую речку Угру, на другом берегу которой его ждали готовые к бою русские войска, внезапно отступил и в панике, приписанной впоследствии божественному вмешательству, бежал от московских «украин».

В истории России началась новая эпоха: было свергнуто ордынское иго, тяготевшее над страной два с половиной столетия.

Правда, и позднее ханские всадники — уже крымские — не раз проникали за линии осторожных засек далеко на север, доходя порой до стен Москвы, жгли села и городские посады, уводили в полон. «То есть от века и от рожения дело варварское и ремество — кормитися войною», — писал князь А. М. Курбский. На протяжении всего XVI в. русским государям приходилось помнить о крымской угрозе, учитывать, что воинственный «перекопский царь» — «буий варвар», как называл его Иван Грозный, — в любой момент может «всесть на конь» и «довести саблю свою» на Тулу, Рязань, Коломну. И все-таки время, когда степная опасность определяла и властно подчиняла себе всю политику Москвы, ушло безвозвратно. Унизительная зависимость от Золотой и Большой Орды стала призраком, который безуспешно пытались оживить крымские ханы. Уже Иван III (1462—1505 гг.), присоединив Тверь и Новгород, первым из великих князей московских начал проводить активную западную политику. В политическом пасьянсе Европы появилась новая карта — молодое Русское государство.

Москвич, родившийся, скажем, в последние годы правления Ивана III, в течение своей жизни мог наблюдать, как шествуют по столичным улицам десятки иностранных дипломатов всех рангов — от простых гонцов в окружении нескольких спутников до «великих» послов, сопровождаемых блестящей свитой из сотен дворян и слуг. Являя собой парад национальных одежд и обычаев, они торжественно въезжали в город, с еще большей торжественностью следовали на аудиенцию в Кремль. Пышное, красоч-

ное зрелище посольских шествий никого из современников не оставляло равнодушным — зрители толпились на обочинах, влезали на деревья и крыши домов.

Со всех сторон света прибывали в Москву послы.

С юга, через Дикое поле, Воротынк, Боровск и Путивль, той же дорогой, какой совсем недавно приходили на Русь ордынские «послы сильные» — сборщики дани, теперь, вздымая тучи пыли, гоня с собой на продажу конские табуны в сотни и тысячи голов, скакали посланцы крымских и ногайских ханов. Их эскортировали многочисленные русские всадники — не столько для почета, сколько для того, чтобы привыкшая к набегам буйная посольская свита «христьянству обиды и насильства не чинила». Этим же путем направляли своих представителей владыки Блистательной Порты, султаны «турские», которые, как изысканно выражались дипломатические документы того времени, «светлостью лица» превосходят «песни сирин».

С севера, от «пристанища» Николо-Корельского монастыря на Белом море, где белели паруса английских кораблей (позднее — от «нового Архангельского города»), через Холмогоры и Ярославль мчались к Москве посланцы королевы Елизаветы I, интересовавшиеся торговлей не меньше, чем политикой, и лондонские купцы, зачастую исполнявшие одновременно обязанности дипломатических агентов; зимой их везли иногда по льду замерзших рек и озер. Хотя послы Василия III к императору Карлу V еще в 1524 году, по дороге в Испанию, первыми из русских побывали в Англии, но регулярные отношения с ней завязались лишь в середине столетия, когда король Эдуард VI снарядил торговую экспедицию на поиски Северо-восточного морского прохода в Индию. Один из кораблей этой экспедиции — «Эдуард — Благое Начинание» — в 1553 году был занесен бурей к русскому берегу; его капитана Ричарда Ченслера доставили в Москву. Он был принят Иваном Грозным и получил от него грамоту на право свободной торговли с Московским государством. Вскоре в Лондон был отправлен русский посланник Осип Непея. С той поры русско-английские отношения стали постоянными. Британскому флоту нужны были русские лес, пенька, смола, деготь. Англия начинала великую тяжбу на морях с грозной испанской монархией. Пушки гремели на Ламанше и у берегов Южной Америки, но их эхо докатывалось до Москвы: агенты Елизаветы I и Филиппа II вели

тайную дипломатическую игру при дворе русских государей.

С востока, по Волге и Оке, приезжали послы казанских и астраханских ханов, пока их владения не были присоединены к России. После того как в 1556 году без сопротивления сдалась Астрахань и в орбиту русской внешней политики вошли Кавказ и Персия, этим же путем следовали посольства «кизилбашские» (персидские), «иверские» (грузинские), «черкасские» (кабардинские).

Но больше всего послов прибывало с запада.

Через Новгород и Псков ехали скандинавы — шведы и датчане, а также представители магистров Пруссии и Ливонского ордена. Через Смоленск проезжали послы Габсбургов, медленно и шумно двигались огромные польско-литовские посольства, внешне похожие скорее на воинские отряды, нежели на дипломатические миссии. Над посольским поездом развевались знамена, сверкали хоругви с дворянскими гербами и доспехи всадников, оглушительно ревели трубы. Посольства Речи Посполитой прибывали чаще всех прочих, ибо отношения между ближайшими соседями были, как правило, напряженными и обсудить требовалось многое — вопросы войны и мира, обмена пленными, размежевания пограничных земель. Впрочем, собственно польские дипломаты в XVI в. были еще относительно редкими гостями в Москве, приезжали обычно литовские деятели. До Люблинской унии (1569 г.) и какое-то время после ее заключения Великое княжество Литовское сохраняло значительную политическую самостоятельность, имело свое войско, свою «раду». Согласно давней традиции, именно оно поддерживало дипломатические связи с Россией. Гонцы между Москвой и Вильно сновали непрерывно, и не реже чем раз в два-три года стороны обменивались посольствами.

Русский книжник XVI в., автор «Казанской истории», перечисляя иностранных послов, прибывших к Ивану Грозному «с честью и з дары» после взятия Казани, называет даже представителей мифического вавилонского царя. Это уже, разумеется, легенда, никаких вавилонских царей в те годы не существовало, да и от самого Вавилона остались одни развалины, но за годы своей жизни наш москвич и в самом деле мог видеть у кремлевских стен посланцев полумира. Приезжали дипломаты бухарские, ганзейские, валашские, венгерские, чешские, итальянские. Диковинные тюрбаны сменялись европейскими шляпами, вслед за лисьими шубами послов Сибирского ханства

мелькала на Красной площади скромная сутана папского легата, а то вдруг объявлялся человек из неведомой «Индийской страны», чей государь, по дошедшим в Москву слухам, подчинил своей власти «всей земли болши двух третей».

Географические представления были еще туманны, реальность переплеталась со сказкой. И в Западной Европе весьма смутно представляли географическое положение Русского государства. Даже в конце XV столетия одни считали Россию «азиатской Сарматией», другие — геродотовой Скифией, черпая сведения о ней из сочинений античных авторов, третьи — продолжением Лапландии, а итальянец Паоло Джовио, чтобы образно передать разительное отличие «Московии» от привычного ему мира, уподобил ее «иным мирам Демокрита», то есть миру, который находится по ту сторону реальности и существование которого предполагал древнегреческий философ. Жители Мадрида и Лондона, Копенгагена и Вены, Рима и Флоренции с еще большим интересом, чем их современники-москвичи, сбегались поглядеть на расшитые золотом шубы и длинные бороды «московитов», ибо с конца XV в. русские послы начинают выезжать за рубеж.

Они качались в седлах и «колымагах» (каретам) по дорогам Западной Европы, спасались от разбойников в причерноморских степях, воевали с пиратами на Каспии, страдали морской болезнью на турецких «бусах» и английских галионах, умирали от малярии на Кавказе. Вот как, например, судя по запискам посольского священника Никифора, двигалась через горы в Персию русская миссия, выехавшая из Москвы в 1595 году: «Которой не может на лошади сидети, и тех привязывали к лошади, чтоб не свалился. А иной, сваяся с лошади, тут и умрет, а иново на стан мертво привезут, привязана к лошади; а иново мужик за бедра, сидя, в беремени держит, чтоб с лошади не свалился и не убился. А се жарко непомерно, от солнца испекло, а укрытись негде, лесу отнюдь нет...»¹.

Не менее тяжелым для русских дипломатов, не привыкших к долгим плаваниям, был и морской путь. «И сентября в 7 день учел быти на море ветер встречной, — описывают свое путешествие в Англию в 1613 году послы А. И. Зюзин и А. Г. Витовтов, — и корабли посольский и гостей Ивана Ульянова с таварыщи по морю носило, и рознесло корабли порознь сентября в 13 день, против здвиженьева дни (праздник воздвижения креста. — Л. Ю.), в ночи. И стало встречное великое погоды, и но-

сило на море три недели. И в те поры во многие времена на корабле послом и всяким людям скорби были великие, и пронесло корабль мимо Шкотцкую землю...»². Посольский корабль Зюзина и Витовтова, даже гонимый осенними штормами, плыл от Архангельска до Лондона (мимо Шотландии) полтора месяца — с 29 августа по 13 октября (при благоприятной погоде обычный срок плавания — четыре-пять недель). Но срок сухопутных путешествий в Турцию или Персию был гораздо бóльшим. Дальние и даже не очень дальние поездки в то время были сопряжены с немалым риском, тем более что ответственные дипломатические поручения возлагались, как правило, на людей немолодых. Нередкими были случаи, когда русские, западноевропейские и восточные послы не возвращались на родину — погибали в пути, умирали на чужбине.

До середины XVI в. не только в России, но и в Западной Европе практически не был известен привычный для нас тип посла-резидента, постоянно живущего в стране назначения. Правда, Венецианская республика издавна держала своих представителей при некоторых дворах, а в 1513 году, следуя ее примеру, папа Лев X учредил нунциатуру во Франции, Англии и Германии (в отличие от легатов, выполнявших разовые дипломатические поручения Ватикана, нунции были его постоянными представителями при дворах католических монархов). Во второй половине XVI в. новый способ дипломатического представительства утвердился в крупнейших европейских державах, что, однако, не исключало и единовременных чрезвычайных посольств, которые направлялись в особо важных случаях.

Но на востоке Европы на протяжении всего XVI столетия господствовала «оказиональная» дипломатия — посольства отправлялись «по случаю» (так английский историк Ч. Картер назвал средневековую дипломатию Запада³). Начало мирных переговоров или вопрос о торговых привилегиях, заключение союза или уточнение границ, смена монархов на престоле или военная победа над соседом — по самым различным «случаям» снаряжались в путь послы, посланники и гонцы.

Тысячи верст отделяли Москву от европейских и азиатских столиц. За время многомесячных путешествий устаревали новости, отправление своих и содержание чужих посольств обходилось дорого, контакты длились относительно недолго, а сообщить требовалось многое, в том числе и такое, что наиболее внятно способны выразить

этикет, порядок поведения за границей собственных дипломатов и нормы обращения с иностранными послами.

Можно просто заявить послам, что монарх, в чью страну они прибыли, велик и могуч — вряд ли это произведет желаемое впечатление. А можно поступить и так, как вавилонский царь Навуходоносор, герой древнерусской повести, который во время «посольского приходу» повелел своим воеводам «за градом и на поле, на двадцати верстах от града полки великия урядити»: при проезде послов эти воины били «во все набаты», трубили «во многогласныя трубы», в результате чего послы исполнились «ужасти великия». Разумеется, этот рассказ не более достоверен, чем появление вавилонских дипломатов на московских улицах. Но средневековая Европа хорошо помнила, как византийские императоры, чтобы сделать чужеземных послов сговорчивее, стремились потрясти их воображение чисто цирковыми трюками: взлетающим под потолок императорским тронем, поющими механическими птицами, внезапно гаснущим и вновь зажигающимся светом в аудиенц-зале или даже иллюзией грандиозного воинского парада, которую создавал небольшой отряд гвардии, бесконечно маршируя по кругу и меняя за укрытием одежду и вооружение.

В XVI в. подобные методы уже не применялись. Однако вся обстановка, окружавшая послов с того момента, как они пересекали границу, была приспособлена для выражения определенных политических идей. Количество и качество предоставляемого продовольствия, посольское подворье, место и церемониал аудиенции, одежда придворных, ассортимент посуды на торжественном обеде и т. д. — все, вплоть до цвета восковой печати на грамотах, в большей или меньшей степени было связано с идеологией государства, с его положением в системе международных отношений эпохи, с конкретной политической ситуацией. Те же идеи, но в сжатой форме выражало и поведение представителей державы за рубежом. В совокупности эти правила, регулировавшие всю внешнюю сторону дипломатических связей, составляли посольский обычай того или иного государства.

В феодальном обществе, где важнейшую роль играли различные ритуалы, символы и символические церемонии, посольский обычай не был только условностью, облегчавшей дипломатическую деятельность. Как последователям пророка Аввакума предписывалось умирать «за едину букву аз», так и русские дипломаты даже с риском для

жизни должны были отстаивать принятые нормы посольского обычая. За мелочами этикета вставляли вопросы политики государства, его идеологии, престижа верховной власти.

В России начала XVI в. произошло то, что, пользуясь современной терминологией, можно назвать информационным взрывом. Двухвековое ордынское иго было сброшено, страна уверенно выходила на международную арену, и горизонты видимого мира стремительно раздвинулись, раздалась на восток и на запад. Русские люди столкнулись с необычайным многообразием племен, народов, национальных обычаев, в том числе и дипломатических. Чтобы не раствориться в этом многообразии, чтобы утвердить национальную независимость и в дипломатии, как она уже была утверждена в религиозной сфере и на полях сражений, требовалось выработать собственный посольский обычай, пригодный для отношений со всеми государствами Востока и Запада. Это была задача тем более сложная, что в предшествовавший период Москва главным образом поддерживала дипломатические связи лишь с русскими уделами, Новгородом, Псковом, Великим княжеством Литовским, Большой Ордой и зависимыми от нее татарскими ханствами («юртами»).

«То дело належит тягостнее свыше всего, что прародителей своих старина порушити», — от лица Ивана Грозного говорил в 1561 году дьяк И. М. Висковатый, глава Посольского приказа, когда шведы просили о частичном изменении практики обмена посольствами между Москвой и Стокгольмом. «Наше государство болши пяти сот лет стоит, а чужеземских обычаев николи не приимывали!»⁴ — двумя десятилетиями позже гордо утверждали бояре в беседе с папским легатом А. Поссевино. Однако подобные заявления, как бы ни относились к ним сами авторы, никак не могут свидетельствовать, что русский посольский обычай сохранился в незыблемости со времен «прародителей» Ивана Грозного — киевского князя Владимира Мономаха или даже Ивана Калиты. Все это — в духе эпохи, известной своим традиционализмом. Неопровержимым аргументом в любом споре была ссылка на традицию, которая объявлялась идущей издревле и в тех случаях, когда имела недавнее происхождение.

На деле нормы русского посольского обычая складывались в конкретной исторической обстановке рубежа XV — XVI вв. и в значительной степени — под воздействием официальной идеологии великокняжеской власти,

которая начала формироваться приблизительно в это же время.

В «Сказании о князьях Владимирских», памятнике последних лет правления Ивана III, говорится, что регалии русских великих князей — венец и «святые бармы» — были получены Владимиром Мономахом от византийского императора, к которому они, как сообщает другая древнерусская повесть того же периода, в свою очередь, попали из Вавилонии (не случайно, значит, под пером автора «Казанский истории» появились посланцы именно вавилонского царя!). В династических легендах родословная московских государей через Рюрика возводилась непосредственно к «Августу кесарю», то есть к римскому императору Октавиану Августу; Москва объявлялась «третьим Римом», законной наследницей старого Рима и нового — Византии. Это, кстати сказать, было вполне в духе времени, ведь и государство австрийской династии Габсбургов продолжало именоваться Священной Римской империей, хотя само название возникло гораздо раньше. Средневековые монархи прибегали к историческому авторитету Древнего Рима для освящения собственной власти. Но прежде всего московские государи хотели настоять на том, что они являются единственными законными преемниками великих князей киевских, наследниками киевских «отчин». Любые попытки оспорить это наследство, принизить достоинство русских государей на том основании, что они еще совсем недавно были данниками Орды, встречали в Москве самый решительный отпор. А попытки такие делались и в Стамбуле, и в Вене, а не только в Вильно и Кракове, где не признавали за Иваном III права на титул «государя всея Руси», а за Иваном Грозным — на царский, который он принял в 1547 году.

К. Маркс писал о «внезапном появлении» державы Ивана III на восточных рубежах «изумленной Европы». В отношениях с Западом Русское государство сразу выступило партнером равноправным и суверенным. Недаром Иван III отверг титул короля, предложенный ему германским императором. Дело тут не столько в самом королевском титуле, сколько в том, что его принятие означало бы признание зависимости от Габсбургов, пусть даже номинальной. Русское государство стало самостоятельным, и те традиции, которые были выработаны в отношениях Москвы с Ордой, ни в коем случае не могли быть применены в отношениях с Западной Европой. Новое положение стра-

ны потребовало новых форм государственной обрядности, в том числе и дипломатической.

Подъем национального самосознания отразился не только в политике, но и в литературе, зодчестве, живописи и, наконец, в тех специфических формах феодальной культуры, которые лежат как бы на грани между идеологией и бытом, — в придворных церемониалах, в нарождавшемся пышном этикете московского двора. Препятствием полудомашний обиход становится уже невозможен, парадная сторона жизни великих князей приобретает все больший блеск. В этой дворцовой атмосфере и складывались нормы посольского обычая.

Историки прошлого столетия прежде всего интересовались вопросом о происхождении этих норм. Одни подчеркивали в них следы византийского влияния, другие — и византийского, и восточного, третьи целиком выводили эти нормы из азиатских образцов. «Государственными соображениями и продолжительной практикой, — писал, к примеру, известный востоковед Н. И. Веселовский, — в посольском обиходе были выработаны самые строгие правила и приемы, унаследованные от тех времен, когда мы поневоле принуждены были следовать азиатскому этикету»⁵. По мнению исследователя, практически все элементы русского посольского обычая «сильно отзывают татарщиной». Впрочем, гораздо убедительнее выводы русского историка В. И. Саввы, который считал, что «московские государи скорее были насадителями европейского посольского обряда при дворах восточных, чем последователями посольского обряда последних»⁶.

Соотношение византийских, восточных и западноевропейских влияний можно оценивать по-разному: трудно со всей строгостью разграничить параллели и прямые заимствования. Но не следует забывать о том, что и в XIV, и в XV в. Москва на равных поддерживала отношения с Великим княжеством Литовским, а нормы, издавна принятые в русско-литовской дипломатической практике и носившие общеевропейский характер, позднее стали, по-видимому, основой русского посольского обычая. Они никогда не вызывали разногласий между сторонами, одинаково истолковывались и русскими, и литовскими дипломатами, и нет большого различия этих норм с теми, что в XVI в. были приняты в связях с Западной Европой.

Кроме того, в становлении русского посольского обычая важную роль сыграли традиции междукняжеской дипломатии удельного периода и народная бытовая обряд-

ность, идущая из глубокой древности. Правила, которыми в XIII — XV вв. определялся порядок взаимоотношений русских князей с Золотой и Большой Ордой, после 1480 года или навсегда уходили в прошлое или сохранялись в связях с Крымским ханством, и только с ним, не распространяясь на отношения с другими государствами Европы и Азии.

Однако не стоит, как говорил французский историк М. Блок, поклоняться «идолу истоков». Существеннее другое. Разнородные компоненты русского посольского обычая постепенно трансформировались, переосмысливались, и в результате он стал ярким, самобытным явлением национальной культуры. Эта самобытность обусловлена особенностями развития русского феодального общества, особенностями образования Русского централизованного государства и выдвижения его на международную политическую арену.

Со времен Ивана III перед русской дипломатией встали настолько сложные задачи, что для их решения в конце концов потребовалось создание особого дипломатического ведомства. Вначале вопросы внешней политики входили в компетенцию исключительно самого великого князя и Боярской думы; дипломатической перепиской ведал печатник — хранитель государственной печати, а техническая сторона дела — устройство аудиенций, отправление русских миссий, прием иностранных и снабжение их всем необходимым — возлагалась на отдельных дьяков и подьячих, на доверенных лиц, выполнявших разовые поручения (в связях с Востоком главной фигурой обычно был великокняжеский казначей). В качестве послов поначалу направлялись преимущественно иностранцы, пребывавшие на московской службе, — итальянцы и греки, но уже при Василии III их вытеснили русские. В это же время идет специализация государственного аппарата. Если раньше дьяки, ведавшие приемом и отправлением посольств, занимались одновременно и другими делами, порой с внешней политикой не связанными, то во второй четверти XVI в. они все чаще сосредоточивались лишь на исполнении дипломатических обязанностей. Им в помощь назначались подьячие, опытные пристава — дворяне, которые сопровождали прибывшие иностранные миссии, толмачи, переводчики (последние умели переводить письменные тексты, а не только устную речь, как толмачи).

Наконец, в 1549 году Иван Грозный все «посольское дело» передал в ведение подьячего Ивана Михайловича Висковатого, впоследствии думного дьяка. Считается, что этим было положено начало Посольскому приказу как особому учреждению, хотя, как полагают некоторые исследователи, такое ведомство существовало и раньше.

Очевидно, в кругу лиц, так или иначе соприкасавшихся с дипломатической деятельностью, и формировались представления о том, каким должен быть посольский обычай. В России XV — XVII вв. это был именно обычай, опиравшийся на прецедент и опыт; его нормы не были ни записаны, ни собраны в единый свод, ни тем более утверждены какими-то официальными актами, пусть даже в одностороннем порядке. Они сохранялись в памяти, в передаваемой из поколения в поколение традиции, носителями которой были посольские дьяки и подьячие, придворные чины, русские дипломаты и государственные деятели, включая самого государя.

Если так, то встает вопрос: можно ли достоверно описать посольский обычай, когда сами современники этого не сделали? На какие источники можно опереться?

О дипломатическом этикете московского двора много писали западноевропейские послы и путешественники, посещавшие Россию в XV — XVII вв., — итальянцы, немцы, англичане, датчане, шведы, поляки. Это были люди разного уровня культуры и разного писательского таланта. Кроме того, общая тональность их записок зачастую зависела от характера приема, оказанного им в Москве, от конкретной политической ситуации и т. д. Различной была и судьба их сочинений. Одни многократно переиздавались и были широко известны, другие оказались надолго погребенными в архивах дипломатических канцелярий. Доверять этим сочинениям следует с осторожностью, но как раз о посольском обычае они сообщают сведения чрезвычайно ценные, причем о тех его сторонах, которые русскими источниками не фиксировались. Будучи, как правило, дипломатами, авторы исходили из собственного опыта, описывали события и церемонии с точки зрения участников, непосредственных свидетелей, а не излагали факты, полученные из третьих рук, как то часто бывало при описании ими других сторон русской жизни. Но, естественно, в первую очередь они отмечали те детали, которые были им в диковинку, и не описывали те, которые были аналогичны принятым в их стране. Если пользоваться только «сказаниями» иностранцев, можно преувеличить расхож-

дения между русскими и западноевропейскими дипломатическими нормами.

Гораздо надежнее опираться на так называемые посольские книги — сборники официальной документации, фиксирующей отправление русских посольств за рубеж и пребывание в России иностранных миссий. Посольские книги начали составляться задолго до 1549 года. В них входят различные документы: тексты договоров, грамоты монархов (чужеземных — в переводе), переписка посольских дьяков с приставами и воеводами пограничных городов, наказы отбывавшим за границу русским дипломатам («наказные памяти»), их пространные отчеты, составленные по возвращении («статейные списки»), и короткие сообщения о политической обстановке за рубежом, отосланные в Москву с нарочными («вестовые списки», или «вести»), посольские верительные («верющие») грамоты, описания аудиенций и торжественных обедов, протоколы переговоров, списки подарков, росписи продовольствия, поставлявшегося иностранным посольствам, и т. д. К сожалению, дошедшие до нас документы имеют существенные пробелы, а материалы о связях с Большой Ордой, Казанью, Астраханью, Ливонией, Валашскими княжествами и некоторые другие не сохранились вовсе.

Среди этих документов нет, разумеется, ни одного такого, где посольский обычай описывался бы в чистом виде. Он, как всякий обычай, существовал в жизни, а не на бумаге. Для того чтобы восстановить его нормы, нужно опираться на дипломатическую документацию в целом. Посольские книги фиксировали только отдельные прецеденты, случаи. Но для историка в этом есть и свои преимущества: можно увидеть реальное положение вещей, понять не то, как посольский обычай, по представлениям русских дипломатов, должен был функционировать в идеале, а как действительно было в жизни. Иными словами, мы получаем о нем информацию ненамеренную, самую что ни на есть достоверную, ибо авторы русских дипломатических документов не впрямую говорят о посольском обычае и, следовательно, не искажают его сознательно под влиянием той или иной политической ситуации, а как бы проговариваются невзначай. В случайной обмолвке порой бывает больше правды, чем в обстоятельном рассказе.

Документы, вышедшие из-под пера посольских дьяков и подьячих, послов и приставов, предназначались не для публики, а для служебного пользования. Они предполагали достаточную осведомленность читателя в вопросах ди-

пломатического обихода. Подробно описывать правила придворного этикета или посольскую службу в России, как то делали иностранные авторы, не было нужды. Есть, пожалуй, лишь один источник, выразивший отношение русского человека к русскому же посольскому обычаю, — это знаменитые записки Григория Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича». Подьячий Посольского приказа, человек способный и, видимо, честолюбивый, но выполнявший второстепенные дипломатические поручения, он был бит батогами за ошибку, сделанную в царском титуле на одной из грамот, в 1664 году бежал в Польшу, затем перебрался в Пруссию, оттуда — в Стокгольм, где и написал свое сочинение (возможно, по заданию шведского правительства). Русские дипломатические порядки Котошихин рассматривает изнутри, как профессионал, досконально знающий предмет, но в то же время и с некоторой дистанции, уже отчужденно, а порой и предвзято, как бы невольно смотря глазами западноевропейского читателя, для которого предназначалось его сочинение. Иначе говоря, это типичный взгляд эмигранта со всеми достоинствами и недостатками, присущими такому взгляду. Котошихин писал о русском посольском обычае середины XVII в., но немало из того, о чем он сообщает, можно, соблюдая осторожность, применить и к предыдущему столетию.

«Сказания» иностранцев и приказные документы позволяют взглянуть на русский посольский обычай глазами той и другой сторон. В итоге мы получаем возможность реконструировать его нормы, проследить их развитие на протяжении всего XVI в.

Подобно зеркалу, посольский обычай того периода отразил интереснейшую эпоху в истории России — ее политику, дипломатию, государственную идеологию, психологию и быт русских людей. Многое можно увидеть в этом зеркале, если внимательно взглядеться в замутненные времена отражения.

ГОСУДАРЕВА «ЧЕСТЬ»

ВОПРОС О «БРАТСТВЕ»

В 1574 году толмач одного из шведских посольств Авраам Нильсен, за пять лет перед тем оставленный в Москве с целью «учить робят свейскому языку», был наконец отпущен на родину. Однако до Швеции он не доехал. Русские власти задержали его на границе, в Орешке. Основания для этого были вполне веские: у Нильсена обнаружили несколько бумаг, которые он «крал лазучством». Дело само по себе довольно обычное. В Европе того времени члены дипломатических миссий шпионажем не гнушались, и существовал даже особый иронический термин, обозначающий дипломата, — *espion honorable* (франц. — почетный шпион). Любопытно другое: в числе прочих бумаг у незадачливого толмача «повымали» царские родословцы. Через год на русско-шведском посольском съезде, состоявшемся на реке Сестре, бояре, вспоминая эту историю, обвиняли Нильсена в том, что он «лазучил и выписывал родство государя нашего»¹.

Удивительно не «лазучство», а выбор объекта для шпионажа. Зачем понадобилось Нильсену знать генеалогическое древо Ивана Грозного? Видимо, не из простого любопытства, раз он делал это втайне. Кто дал ему такое загадочное поручение? Почему, наконец, оно вызвало тревогу в Москве? На эти вопросы невозможно ответить, не рассмотрев прежде всю систему политических воззрений той эпохи, касающихся отношений между монархами и государствами.

В дипломатическом языке XVI — XVII вв. употреблялся важнейший термин — «братство», выражавший отнюдь не родство и не характер взаимоотношений между государями, а их политическое равноправие. С властителями, которых русские государи считали ниже себя по уровню власти или по происхождению, они могли состоять «в приятельстве и в соседстве» (в союзе), но никак не

«в братстве». В то же время даже воюющие между собой монархи продолжали величать друг друга «братьями», если это было принято до начала военных действий.

Далеко не всех своих дипломатических партнеров русские государи считали равными себе. Василий III не признавал «братом» магистра Ливонского ордена, поскольку тот был вассалом («голдовником») императора Священной Римской империи, хотя на Руси прекрасно понимали номинальный характер этой зависимости. Посылая с индийским купцом грамоту к его повелителю «Бабуру-паше», Василий III «о братстве к нему не приказал: неведомо, как он на Индейском государстве — государь или урядник» (наместник)². Позднее, в конце столетия, на честь быть «братьями» Федору Ивановичу и Борису Годунову не могли претендовать и грузинские цари, зависимые от персов. Но в Москве всегда внимательнейшим образом следили, чтобы великих князей именовали «братьями» самые могущественные владыки Востока и Запада. Когда в 1515 году турецкий посол Камал-бек в своем списке боярских речей, который посольские дьяки сличили с оригиналом, записал «о дружбе, о любви» Василия III с султаном, но пропустил упоминание «о братстве», ему пришлось исправить это якобы случайное упущение.

Но совершенно особая ситуация сложилась в отношениях с Крымом. Право на «братство» с ханами Ивану III, Василию III и даже Ивану Грозному приходилось либо утверждать в бою, либо, что чаще, выкупать богатыми дарами. В послании крымского хана Менгли-Гирея Ивану III (1491 г.) читаем: «Ныне братству примета то, ныне тот запрос: кречеты, соболи, рыбей зуб» (моржовая кость)³. В другой грамоте «приметой братства» (условием его признания ханом) оказываются меха и серебряная посуда, в третьей — некий крымский паломник («богомалец»), где-то в Диком поле захваченный в плен казачьей ватагой. Польско-литовская дипломатия активно подогревала неуступчивость «перекопских царей» в вопросе о «братстве». «Помнишь, царь (хан. — Л. Ю.), сам из старины: которой князь великой московской царю братом был? — риторически вопрошал хана Мухаммед-Гирея литовский посол в 1517 году. — А нынеча князь великой московской и тебе, царю, братом чинится!»⁴. Литовский посол не случайно вспомнил «старину»: тем самым русско-крымские отношения как бы вводились в русло традиционных отношений Москвы с Золотой и Большой Ордой, преемниками власти которых считали себя перекопские

владыки. Ситуация сложилась парадоксальная: зависящие от Стамбула крымские ханы упорно не желали признавать равноправие независимых после падения ордынского ига русских государей, хотя те числились «братьями» турецких султанов, установивших над Крымом свой сюзеренитет.

В свою очередь, Иван Грозный по разным причинам не признавал «братьями» некоторых европейских монархов. Для него, постоянно подчеркивавшего древность династии, божественное происхождение собственной власти и ее величие, возможность признания «братства» включала в себя не только суверенитет данного государя, но также его значение в международной политике и происхождение.

Габсбургский дипломат И. Гофман, посетивший Москву в 1559 году, писал, что царь шведского короля считает «купцом и мужиком», а повелителя Дании — «королем воды и соли»⁵. Это не так уж далеко от истины: и шведских, и датских монархов Иван Грозный своими «братьями» не признавал. Когда в том же, 1559 году в Москве представители датского короля Христиана III просили «учинить его с государем в ровности», то бояре не только не согласились обсуждать с послами этот вопрос, но еще и потребовали, чтобы в грамотах, направляемых Ивану Грозному, король называл его своим «отцом»⁶. Трудно сказать наверняка, почему царь отказывался хотя бы формально приравнять к себе Христиана III и его преемника Фредерика II, суверенных и потомственных монархов, чья родословная даже у щепетильного в таких делах Ивана Грозного не вызывала ни малейших подозрений, королей державы традиционно дружественной (недаром в XVI — XVII вв. было предпринято несколько попыток связать обе династии брачными узами). Видимо, в Москве считали — и справедливо, заметим, считали — мощь Дании сильно поколебленной после того, как в конце первой четверти XVI в. Швеция, расторгнув Кальмарскую унию, объединявшую шведские и датские земли, освободилась из-под власти Копенгагена и стала самостоятельным государством. Но, возможно, русские дипломаты были знакомы с иерархией католических государей, которую в предшествовавший период устанавливали специальные папские буллы. Во всяком случае, в XVI в. на Руси была известна переводная статья под названием «Европейской страны короли», где в порядке старшинства перечислялись монархи Западной Европы. Император Священной

Римской империи («цесарь») занимал в этом списке первое место, а король Дании — предпоследнее, ниже венгерского, португальского, чешского и даже шотландского королей⁷. Как можно предположить, могущество датских королев в Москве считали недостаточным для того, чтобы русский царь признал их своими «братьями».

Гораздо понятнее отношение Ивана Грозного к шведскому королю Густаву Вазе и его ближайшим наследникам — Эрику XIV и Юхану III, о «братстве» с которыми и речи быть не могло по причине их низкого происхождения. Царь утверждал, что это «мужичей род, не государьский». Действительно, по воззрениям современников, Густав Ваза, избранный на шведский престол после изгнания из страны датчан, хотя и был представителем знатной дворянской фамилии, никак не мог, даже став королем, претендовать на равенство с Иваном Грозным — государем «от прародителей своих», продолжателем древней династии, восходящей к римским и византийским «цесарям». О польском короле Сигизмунде II Августе, который признал «братство» с Эриком XIV, царь с презрением заявил: «Хоти и возовозителю своему назоветца братом, и в том его воля!»⁸.

В Москве Густава Вазу («Гастауса короля», как называли его русские) считали даже не дворянином, а простым купцом. Грозный писал, будто в юности будущий король Швеции «сам, в рукавицы наряжаясь», осматривал сало и воск, привезенные в Выборг новгородскими «гостями». В 1557 году ближайший советник царя думный дворянин А. Ф. Адашев и дьяк И. М. Висковатый на переговорах в Москве говорили шведским послам: «А про государя вашего в розсуд вам скажем, а не в укор, которого он роду, и как он животиною торговал и в Свейскую землю пришел, и то недавно ся делало...» Возможно, это искаженный далекий отзвук одного из эпизодов бурной жизни Густава Вазы: в 1519 году он был посажен датчанами в тюрьму и бежал оттуда, переодевшись в платье погонщика скота. Потому-то, наверное, Грозный в 1572 году писал Юхану III, что его отец «Гастаус» явился в Стокгольм из своей родной провинции Смолланд с коровами («пригнался из Шмоллант с коровами»). В Швеции подобные обвинения воспринимались крайне болезненно. Если царь декларировал свое происхождение от императора Августа, то и Юхан III, доказывая законность своего пребывания на престоле, в письме к Ивану Грозному ссылался на какую-то имевшуюся у него «Римского царства» печать⁹. Что

имел в виду король — не совсем понятно, намек темен. Но, как можно предположить, речь идет не о Священной Римской империи, а именно о Древнем Риме, откуда шведская королевская династия когда-то «получила» печать — символ власти.

Впрочем, когда дело касалось насущных политических проблем, этикетные нюансы отступали на второй план — вопрос о «братстве» становился дополнительным козырем в дипломатической игре. В 1567 году был заключен русско-шведский мирный договор о разграничении сфер влияния в Прибалтике и военном союзе, направленном против Польско-Литовского государства. Этот договор был крупным успехом русской дипломатии; в ознаменование его Иван Грозный Эрика XIV «пожаловал, учинил его с собою в братстве». Однако вскоре союзник был свергнут с престола, а нового шведского короля Юхана III, расторгнувшего договор с Россией, царь «братом» уже не признал.

Именно поэтому не планы крепостей, не численность и передвижение войск (в это время между Швецией и Россией велись военные действия в Карелии), не тайные речи недовольных самовластием Грозного бояр, а царская родословная прежде всего интересовала толмача Нильсена и тех, кто дал ему такое задание. В Стокгольме хотели иметь свидетельства, подтверждавшие тот факт, что русский царь ведет свой род отнюдь не от «Августа-кесаря» и даже не от великих князей киевских. И, по-видимому, Нильсен пользовался не только русскими источниками, но и польско-литовскими, где постоянно подчеркивалось происхождение Ивана Грозного, его отца и деда лишь от князей московских — данников Орды. Такие свидетельства облегчили бы шведской стороне ведение полемики по вопросу о «братстве». Отказ Ивана Грозного признавать королей Швеции равноправными дипломатическими партнерами, в свою очередь, диктовал некоторые унижительные для их достоинства обиходные нормы русско-шведского посольского обычая, стремлением упразднить которые и вызвано было странное, на первый взгляд, «лазучство» Авраама Нильсена.

Когда в 1576 году на польский престол был избран трансильванский («седмиградцкий») князь Стефан Баторий, царь и его не признал «братом» по причине «родственные низости». Кроме того, Грозный неизменно настаивал на превосходстве наследственного монарха над монархом выборным. Сам он — государь «по божью изво-

лению», а Баторий — «по многоятежному человеческому хотению». Русский государь призван «владети людьми», а польский — всего лишь «устраивати их». В переписке между ними, изобиловавшей взаимными острыми выпадами, Грозный даже заметил однажды: «Тебе со мною братиться — честь, а мне с тобою — безчестье»¹⁰. Хотя Баторий в своей грамоте впервые обратился к царю на «вы» (в речах и посланиях от первого лица русские государи издавна говорили о себе во множественном числе) и послы в Москве особо должны были напомнить Грозному, что прежний польский король всегда писал ему «тобе, ты», на царя это новшество никакого впечатления не произвело — его решение осталось непоколебимым. Но упорство царя скорее всего объяснялось не только «родственной низостью» Батория или способом его восшествия на престол.

Вопросы этикета и здесь стояли в прямой зависимости от политической обстановки. Во-первых, избрание Батория неизбежно влекло за собой резкое ухудшение отношений с Речью Посполитой, ибо означало победу той партии, которая выступала за войну с Москвой. Во-вторых, в Речи Посполитой существовала и влиятельная промосковская группировка, дважды предлагавшая либо самому Грозному, либо царевичу Федору занять вакантный польский престол — вначале после смерти бездетного Сигизмунда II Августа в 1572 году, затем — после внезапного отъезда из Кракова Генриха Анжуйского (он был избран королем на элекционном сейме, но в июне 1574 г., узнав о смерти брата, Карла IX, предпочел освободившийся французский трон польскому и тайно бежал в Париж). В связи с этим у царя появились далеко идущие планы. Отказываясь от власти над собственно польскими землями, он хотел сепаратно занять престол Великого княжества Литовского, разорвать Люблинскую унию и таким образом бескровно объединить под своим скипетром всю территорию, входившую некогда в состав Киевской Руси¹¹. О степени вероятности реального осуществления этих планов можно спорить, но сами по себе они ярко демонстрируют возросший уровень политического мышления русских дипломатов и государственных деятелей. Однако с избранием Стефана Батория эти широкомасштабные замыслы рухнули, и вопрос о признании нового польского короля «братом» стоит, очевидно, в прямой связи с событиями 1574—1576 годов.

«Братство» — термин дипломатии и политики. Когда в 1495 году великий князь литовский Александр Казимиро-

вич женился на Елене Ивановне, сестре Василия III, последний называл его «братом и зятем», а короля Сигизмунда I — соответственно «братом и сватом». Но Иван Грозный, всегда отличавшийся склонностью к ерничеству, к скоморошеству, к «изнаночному», по определению Д. С. Лихачева, юмору, сознательно смешивал политические и кровно-родственные категории. Прибывшим в Москву польским послам он заявил, что если бы даже Баторий был сыном Сигизмунда II Августа, то и тогда он оказался бы царю не братом, а лишь племянником. Братом же Баторий в таком случае мог считаться только царевичу Ивану Ивановичу. При этих словах, как пишут в дневнике послы, Грозный «на сына своего пальцем вказал, бо тута подле него сидел»¹².

Но к концу жизни, после тяжелых поражений последнего периода Ливонской войны, царь, смирившись, все-таки был вынужден признать Батория «братом». Федор Иванович наконец «учинил в братстве» с собой королей Дании и Швеции, хотя отношения с последней продолжали оставаться достаточно напряженными. А сами русские государи добились права считаться «братьями» крымских ханов — уже безусловного права, вне зависимости от количества направлявшихся в Крым подарков. К исходу XVI в. сам термин «братство» в представлении московских дипломатов обрел более строгое значение, основным его содержанием стало понятие суверенитета. Происхождение монарха или древность династии в расчет не принимались. Царь признавал равноправие всех государей, не зависящих от какой бы то ни было земной власти.

КРЫМУ И МИРУ

Загадочное предписание получил в 1563 году отправлявшийся в Крым русский посол Афанасий Нагой: он должен был проследить, чтобы хан ни в коем случае не приложил к грамоте с текстом договора «алого нишана», то есть печати, оттиснутой на красном воске. Если же настоять на этом окажется невозможно, Нагому приказывалось грамоту с такой печатью не брать, договор не заключать («дела не делати») и немедленно возвращаться в Москву¹³.

Поражает несопоставимость мелкой, казалось бы, канцелярской формальности и неожиданно значительных последствий, которые могло повлечь за собой ее нарушение, — вплоть до дипломатического демарша с отъездом

посла, причем в то время, когда царь вел войну на западных границах и всеми силами стремился удержать Девлет-Гирея от набега на Русь, направить его на литовские «украины».

В чем тут дело? Почему цвет печати на договоре оказывается чуть ли не важнее его содержания? Впрочем, данный Нагому наказ можно попробовать объяснить, если обратить внимание не только на цвет воска для печати, но и на способ ее применения. Свой «алый нишан» Девлет-Гирей не должен был именно приложить к тексту договора. В русской дипломатической практике прикладными печатями скреплялись грамоты «посыльные», «опасные», «верющие», то есть такие, где текст целиком зависит от автора, от самого государя. Но грамоты договорные, выражавшие обоюдное соглашение, скреплялись печатями вислыми, подвешенными на шнуре. Таким образом, «алый нишан», приложенный к договору, декларировал не двустороннее согласие при его заключении, а свободную волю лишь одной стороны — крымской. Хан как бы диктовал условия, а царь принимал их. Допустить на тексте договора «алый нишан», которым хан печатал свои обычные грамоты, значило для Грозного в специфической форме признать свою зависимость от Крыма.

С начала XVI в. «перекопские» владыки всячески стремились подчеркнуть зависимое положение русских государей. Так, при следовании послов на аудиенцию к хану «мурзы» бросали им под ноги свои посохи, требуя плату за право их переступить. Вероятно, этот обычай («посошная пошлина») был принят когда-то в ставке ханов Золотой и Большой Орды, коль скоро русским дипломатам строжайше предписывалось ни при каких обстоятельствах «посошную пошлину» не платить. Если без ее уплаты они не могли бы войти во дворец, то им следовало уезжать, так и не повидав хана. Даже к концу XVI в., когда сообщения о попытках возродить этот полузабытый обычай исчезают из посольских донесений, предостережения относительно возможности таких попыток по-прежнему фигурируют в наказах послам. Разумеется, тут имели место не меркантильные соображения — еще несколько беличьих или собольих шкурок казну бы не разорили: подобные дары отправлялись в Крым тюками. Как можно предположить, требование «посошной пошлины» было заимствовано крымскими ханами из ордынского придворного церемониала и символизировало зависимое положение посла и его государя. Именно поэтому, когда в 1516 году русский

посол И. Г. Мамонов отказался ее уплатить, ему говорили: «Пошлины на тебе царь (хан. — Л. Ю.) не велит взять, а ты молви хотя одно то: цареву (ханское. — Л. Ю.) слово на голове держу». Мамонов с негодованием отвечал: «Хоти мне будет без языка быти, а того никако же не молвлю!»¹⁴. Произнести вслух то, что предлагали крымские «мурзы», для посла было равносильно уплате «посошной пошлины» — неприемлемо ни то ни другое, ибо в восточной дипломатической практике формула «держати слово на голове» означала зависимость, подчинение. «Отец мой мне приказывал слово твое на голове держати и тебе служити», — писал позднее Федору Ивановичу один из кабардинских князей. И не случайно Ахмет-хан, повелитель Большой Орды, тот самый, который привел свои войска на Угру в 1480 году, требовал, чтобы Иван III, «у колпака верх вогнув, ходил». Как бы под тяжестью «ханского слова» должна была «вогнуться» шапка великого князя. Вообще головные уборы в качестве символов вассалитета (или подданства) имели у тюркских народов особое значение.

Можно пойти на уступки в переговорах, но нельзя принять более выгодный договор, скрепленный неподобающей печатью. Можно привезти драгоценные дары многочисленным ханским женам, но нельзя уплатить ничтожную «посошную пошлину». За мелочами церемониала вставали проблемы несравненно более важные: по сути дела, речь шла об окончательном признании независимости Русского государства, завоеванной в двухсотлетней борьбе с ордынским игом. Времена изменились: то, что приходилось терпеть в отношениях с Золотой и Большой Ордой, было уже совершенно невозможно в отношениях с крымским «юртом».

Однако постоянная военная угроза с юга и трудность борьбы на два фронта заставляли Ивана III, его сына и даже отчасти внука сохранять в связях с Крымом некоторые нормы посольского обычая, ранее принятые, по-видимому, в русско-ордынской дипломатической практике. Титул хана в грамотах всегда писался первым, выше царского «имяни»; на торжественных обедах чаша с медом или вином в его честь выпивалась перед «государевой чашей»; великие князья передавали ханам не «поклон», как всем остальным монархам, а «челобитье». Русские послы в Крыму подчинялись многим правилам восточного этикета, что никогда не допускалось при дворе турецкого султана, персидского шаха и других мусульманских владык. В то

же время ханские посланцы в Москве безнаказанно нарушали обязательные для всех других послов нормы придворного церемониала. На равных разговаривая с монархами Европы и Азии (в Мадриде и Стамбуле, в Стокгольме и Тебризе), русские государи до поры до времени вынужденно признавали свое неравноправие по отношению к «перекопским царям». Но любые попытки крымской стороны истолковать это чисто символическое, церемониальное неравноправие как политическую зависимость (вассалитет) или тем более как прямое подданство встречали медленный и жесткий отпор московской дипломатии.

В ряду таких попыток наиболее характерно было требование дани. Вопрос о ней периодически затрагивался на переговорах и в переписке ханов с Москвой, но лишь однажды это требование было удовлетворено. Летом 1521 года огромная армия Мухаммед-Гирея внезапно обрушилась на русские земли, сжигая деревни и уводя полон. Мужчин и женщин угоняли в Крым, а отнятых у матерей младенцев бросали в пути. Как рассказывает имперский посол Сигизмунд Герберштейн, посетивший Россию через четыре года после этого набега, Василий III посылал специальные отряды искать и подбирать в лесах уцелевших детей. Никогда еще крымским всадникам не удавалось продвнуться так далеко на север: бунчук ханской ставки был водружен в 15 верстах от столицы, воины Мухаммед-Гирея дошли до подмосковного села Воробьево, расположенного на Воробьевых горах, где пили мед из разграбленных великокняжеских погребов. Москва, правда, устояла, но в этих условиях Василий III был вынужден дать Мухаммед-Гирею «грамоту данную», обязавшись, как сообщает тот же Герберштейн, быть «вечным данником» хана подобно отцу и деду, платившим дань Большой Орде. Впрочем, это обещание не было выполнено, а унижительную для русского князя грамоту выманил у Мухаммед-Гирея рязанский воевода И. В. Хабар: он попросил предъявить ее, притворно соглашаясь открыть ворота осажденной Рязани, и оставил у себя, поскольку взять город хану не удалось.

Подарки («поминки») в Крым и после этого регулярно продолжали посылаться, однако ни в коем случае они не должны были истолковываться как дань. «В пошлину государь мой не пришлет никому ничего!»¹⁵ — гордо заявлял в Крыму Афанасий Нагой.

Первоочередные внешнеполитические дела: борьба с Польско-Литовским государством, затем с Казанью, а впоследствии Ливонская война — все это вынуждало Москву

в отношениях с Крымом временно идти на уступки в вопросах церемониала. Для того чтобы уберечься от набегов, а при необходимости направить ханскую саблю в сторону Вильно и Кракова, приходилось мириться с порядком здравниц на дипломатических обедах или расположением «имян» на грамотах. Отношения с Крымом носили особый характер, были более тесными, менее официальными. В результате широкое понятие «чести» русских государей здесь обретало единственный смысл — признание их независимости.

Трудно представить, чтобы русские дипломаты в Крыму или перед крымскими послами в Москве стали бы произносить «высокословные» речи об «Августе-кесаре» и Владимире Мономахе, о древности династии, изначально суверенном характере власти великих князей и т. д. Совсем по-другому строились отношения с Западной Европой. Когда в 1489 году габсбургский посол Н. Поппель от имени императора предложил Ивану III королевский титул, тот ответил: «Мы божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, и поставление имеем от бога, как наши прародители, так и мы...»

В XVI в. само напоминание о былой зависимости от Орды воспринималось в Москве как оскорбление. Об этих черных страницах истории следовало забыть как можно скорее. В 1566 году послы Сигизмунда II Августа заговорили было о прежнем владычестве ордынских ханов над Москвой, ссылаясь на польские хроники, но дьяк П. Григорьев наотрез отказался признать истинность подобных известий: «И мы того не слыхали, чтобы татарове Москву воевали, того не написано нигде, а в свои хроники что захотите, то пишете!»¹⁶. Посольский дьяк знал, что в официальной истории, предназначенной для дипломатических нужд, эта страница была лишней: согласиться с тем, что сказанное послами — правда, означало нанести урон царской «чести».

В Крыму такие умолчания не имели смысла. Отвергая претензии «перекопских царей» на сюзеренитет над Русью, в Москве в то же время негласно признавали их преемниками ханов Золотой и Большой Орды. Поэтому в связях с Крымом долго сохранялись некоторые реликтовые формы посольского обычая, унаследованные от ордынского дипломатического церемониала. Хотя сам этот церемониал, применявшийся в отношениях с русскими княжествами в XIII—XV вв., нам неизвестен и восстановить

его можно лишь гипотетически, судя по тем элементам русско-крымского посольского обычая, которые умаляли «государеву честь».

Вплоть до конца XVI в. русско-крымский посольский обычай значительно отличался от обычая, принятого в отношениях со всеми другими государствами Европы и Азии. Если средствами первого московские дипломаты прежде всего стремились утвердить независимое положение русских государей, а забота об их престиже («чести») отходила на задний план, то во втором именно вопрос «чести» был поставлен во главу угла. Так продолжалось до тех пор, пока окончательно не изменилось соотношение сил между Россией и Крымским ханством.

ГОСУДАРЬ — СОЛНЦЕ, ПОСОЛ — ЛУЧ

Итак, указ король тебе вручает,
Поставив подпись собственной рукой.
Тебя он полномочьем облакает,
Как бы на время делая собой.

Ты в фонаре его горишь свечою.
Ты — копия, а он — оригинал.
Ты — скромный луч. Он — солнце золотое.
И этот луч он вдаль светить послал*.

Образы этого стихотворного послания, которое английский поэт Джон Донн (1572—1631 гг.) адресовал отправлявшемуся в Венецию известному дипломату Генри Уоттону, представляют вовсе не субъективный плод поэтического воображения. Они исторически точно отражают восприятие людьми того времени отношений между монархом и его полномочным представителем.

«Королем-солнцем» называли не только Людовика XIV. С солнцем сравнивали и византийских императоров, и русских государей. Это образ традиционный. В послании антиохийского патриарха Иоакима (1586 г.) к царю Федору Ивановичу русский государь уподоблен «солнцу, светящему над всеми звездами»¹⁷. «Солнечным светилом всего света» пышно именовали царя персидские послы. Этот распространенный образ помогает лучше уяснить природу связи, существовавшей между государем и его послом, — в том виде, конечно, в каком она мыслилась людьми XVI в.

* Перевод стихов Б. Томашевского.

Средневековое право, в том числе и международное, не знало абстрактных категорий; его субъектами были не понятия, а индивиды. В дипломатическом протоколе нового времени государство персонифицируется в его главе — это общепринятая условность. Но в феодальном обществе государство не просто персонифицировалось, а воплощалось в государе. Слова Людовика XIV (неважно, действительно им произнесенные или ему приписываемые) «государство — это я» не были только эпатирующей шуткой, а связь между монархом и народом, страной была утверждена «свыше». Недаром русский публицист конца XV — начала XVI в. Иосиф Волоцкий писал, что «за государское прегрешение бог всю землю казнит», то есть наказывает подданных согрешившего монарха.

Особенно ярко эти представления отразились в практике заключения дипломатических соглашений.

В 1542 году русские дипломаты настаивали, чтобы в текст мирного договора с Польско-Литовским государством был «вписан» не только сам король Сигизмунд I, но и наследник престола. Делалось это из опасений, что «король уже добре стар, и нечто не станет короля, и сын его, то перемирье оставя», может начать войну, причем такое требование без удивления было воспринято другой стороной. «Пока места в которой земле государь, по та места и перемирные грамоты», — говорил Висковатый шведским послам в 1557 году. А когда А. Поссевино, папский посредник на русско-польских мирных переговорах в Ям-Запольском (1582 г.), предложил заключить мир на 100 лет, русские послы возмутились: «Болши веку человеческого никому грамоты писати нелзя; а на сто лет нигде есмь того не слышали, чтоб перемирные грамоты писати; а по смерти кому мочно своя воля делати?»¹⁸. Иными словами, срок действия договора не должен был превышать возможный срок жизни заключившего этот договор государя. Возможно, даже термин «вечный мир» в русском дипломатическом языке той эпохи означал всего лишь мир сроком на 30 лет¹⁹. Слово «век» многозначно, но в этом случае, по видимому, имелось в виду одно из его значений — «век человеческий», протяженность земной жизни.

Если монарх был воплощением государства, то посол, в свою очередь, — воплощением монарха. «Луч, исходящий от солнца, несущий в себе его субстанцию, горящий и не иссякающий» — с помощью этой метафоры средневековые православные богословы объясняли отношения между богом-отцом и богом-сыном Иисусом Христом. Примерно так

же представляли тогда и связь, существовавшую между государем и его послом.

«От двух моих глаз одно око» — так характеризовал крымский хан Менгли-Гирей своего представителя, отправленного им в Москву в 1491 году. Почти через столетие, в 1585 году, грузинский царь Александр писал Федору Ивановичу: «И что учнет говорити посол мой, и то говорит мое сердце». Аналогичные взгляды были свойственны и русским дипломатам. Посол в Крыму В. Г. Морозов заявлял, например, ссылаясь на поручение, данное ему Василием III: «Те речи государь наш, князь великий, у меня написал на сердце»²⁰. А в 1517 году бояре на переговорах в Москве говорили С. Герберштейну, что «всяк посланник государя своего лице образ носит».

Но степень отождествления монарха и его представителя могла быть различной — тем больше, чем важнее миссия последнего. Дипломаты имели различные ранги. В России уже к началу XVI в. существовала четкая градация дипломатических представителей, включавшая три основных ранга: послы («великие послы»), посланники («легкие послы») и гонцы. Первые и вторые были заместителями государя, его «фактотумами», по выражению Д. С. Лихачева²¹. Они вели за рубежом переговоры и заключали дипломатические соглашения (в отношениях с Польско-Литовским государством право на заключение договоров имели исключительно послы, посланники такими полномочиями, как правило, не обладали). Третьи просто перевозили письменные сообщения («посыльные грамоты»), причем часто даже не зная их содержания.

В посольских книгах говорится, что послы возят грамоты «с отворчатыми печатями», а гонцы — «с затворчатыми». Устные поручения с гонцами в большинстве случаев не передавались: дипломатические представители низшего ранга были не заместителями государя, а лишь исполнителями его воли. В то же время царские «речи», адресованные иностранному монарху и переданные с послами или посланниками, должны были произноситься только от первого лица. «Мы, великий государь...» — торжественно объявлял посол, стоя посреди тронного зала в Стамбуле или Лондоне. В такую минуту он наиболее полно воплощал в себе своего повелителя. Во всех случаях, будучи заместителем государя, посол как бы становился им самим при произнесении «речей».

В междукняжеских отношениях периода феодальной раздробленности на Руси дипломатические поручения не-

редко возлагались на авторитетных церковных деятелей. Например, Сергей Радонежский ездил послом от Дмитрия Донского к Олегу Рязанскому, но в XVI — XVII вв. духовные особы включались в состав русских дипломатических миссий лишь на правах сопровождавших эти миссии священников. Это отражало общеевропейские веяния. Только единовенная Грузия время от времени направляла в Москву лиц духовного звания, да однажды, в момент наибольшего обострения русско-шведских отношений, Юхан III поставил во главе своего посольства епископа города Або (ныне — Турку в Финляндии) Павла Юстена — в расчете, видимо, на то, что к его сану царь проявит должное уважение.

Уже при Иване III утвердился порядок, согласно которому главой посольства назначался обычно князь или боярин, главой посланнической миссии — окольный или думный дворянин; гонцами в середине XVI в. чаще всего ездили дворяне и дети боярские, позднее посылались подьячие и различные низшие придворные чины —стряпчие, «жильцы». На миниатюрах русских летописей по утвердившимся канонам послы и посланники изображались в долгополом платье и с бородой, гонцы — в короткополом и без бороды, как прочие «молодые люди», то есть невысоко стоящие на социальной лестнице (хотя по возрасту гонец мог быть и старше посла). Человек относительно низкого звания не мог воплощать в себе государя, «сын боярский» не мог быть послом, как, впрочем, и боярин — гонцом, но уже по другой причине: это роняло «честь» не царя, а самого боярина. Социальное положение, официальный придворный статус главы и членов посольства должен был строго соответствовать их дипломатическому рангу. Так, в 1603 году М. Г. Салтыкову царь «боярство дал для посольства».

В отношениях с Речью Посполитой обе стороны внимательно следили, чтобы такое соответствие не нарушалось. Это, в частности, проявлялось при написании в Москве фамилий польско-литовских дипломатов: один и тот же человек писался в посольских книгах по-разному — в зависимости от уровня его миссии. У посланников и гонцов почетное с точки зрения русских окончание «-ич» (Станиславич, Тышкевич) заменялось на «-ов» как не соответствующее их дипломатическому рангу (Станиславов, Тышков), а у послов сохранялось в неприкосновенности. Тот же Тышкевич, когда он позднее прибыл в Москву уже

в качестве посла, получил право на полное написание своей фамилии.

Чем выше был «чин» посла (титул и звание), тем больше «чести» оказывалось принимавшему посольство государю. Поэтому к монархам, которые не считались «братьями» русских государей (например, к Густаву Вазе и Юхану III при Иване Грозном), отправлялись лишь посланники и гонцы. Правда, в отношениях с Польско-Литовским государством царь, не признавая Батория «братом», все же не решился сломать вековые традиции, и послы к польскому королю «ходили по прежнему обычаю».

«Чин» и ранг дипломата должны были быть подтверждены соответствующей численностью свиты. Так, в Англию, хотя королева Елизавета считалась «возлюбленной сестрой» Ивана Грозного, направлялись только посланники, ибо проезд на Британские острова с большим числом сопровождавших лиц был невозможен. Теми же причинами средний ранг русских дипломатических представителей определялся и в отношениях с Турцией, Персией, папским престолом в Риме, а позднее и с Габсбургами. Как в середине XVII в. писал Г. Котошихин, «к цесарскому величеству Римскому великие послы не посылаваны давно, потому что дальней проезд чрез многие разные государства, и послом великим в дороге будет много шкоды и убытков»²². Трудности дальнего пути мешали «послам великим» предстать перед иностранным монархом во всей пышности, подобавшей их рангу.

В русско-литовской дипломатической практике свита гонцов составляла в среднем 20—30 человек, свита посланников — 150—200, послов — 300—400, включая слуг («служебников»). В отношениях с другими государствами численность посольств была меньшей. Не столь многочисленными стали русские и польско-литовские миссии и к концу XVI в., но в середине столетия с литовскими «послами великими» в Россию прибывало порой до 900 человек: дворяне, челядь, повара, брадобреи, священники, писари и т. д. Содержание такого числа гостей вызывало массу хлопот и затрат. Однако ни в Москве, ни в Вильно никогда не пытались ограничить численность посольской свиты, которая свидетельствовала о высоком положении дипломата и, значит, служила «чести» принимавшего посольство государя.

В то же время русские дипломаты в Крыму периодически напоминали, чтобы хан «посла своего посылал не во многих людех», чтобы «с послом лишних людей не было».

Тревога вполне понятна: во-первых, мурзы в Москве требовали подарков, а во-вторых, крымские всадники по дороге «буйства чинили», их нужно было охранять. Здесь прагматические соображения брали верх над престижными, поскольку забота о «чести» русских государей в Польше и Литве была заботой важнейшей, а в Крыму — второстепенной.

«ОТ ЛИЦА К ЛИЦУ»

«Профессия дипломата, — пишет современный американский историк Р. Б. Моуэт, — такое же порождение Западной Европы, как и профессия странствующего рыцаря»²³. Это замечание скорее остроумно, нежели верно по существу. Во всяком случае, Россия уже с конца XV в. знала профессиональных дипломатов — посольских дьяков. Они составляли ответственные документы (дьяк И. М. Висковатый лично писал тексты посланий, которые отправлялись за границу от имени самых высокопоставленных особ, вплоть до архиепископа Макария и, возможно, самого царя), вели переговоры с иностранными послами, выезжали в составе русских миссий за рубеж, где исподволь или непосредственно направляли их действия как профессионалы, обладающие определенными знаниями и навыками. Титулованный «болший» посол зачастую являлся только ширмой, что отлично понимали и за границей. Так, в Дании Висковатому поднесли подарки более ценные, чем номинальному главе посольства князю А. М. Ромодановскому.

Иван Михайлович Висковатый, один из образованнейших людей России XVI в., книжник и знаток иконописи, возглавлял внешнеполитическое ведомство более двух десятилетий, с 1549 по 1570 год, когда был обвинен царем в государственной измене, в тайных сношениях одновременно с «турским» султаном, крымским ханом, эмигрантом князем А. М. Курбским и польским королем, которому Висковатый будто бы намеревался передать Новгород и Псков, и подвергнут мучительной публичной казни через рассечение: Иван Грозный «повеле казнити дьяка Висковатова — по суставам резати». Предъявленное ему обвинение даже по тем временам настолько чудовищно, что представляется маловероятным. Скорее всего казнь Висковатого была вызвана не мифической изменой, а его независимостью и попытками самостоятельных дипломатических акций, чего царь в итоге не потерпел. В памяти современ-

ников Висковатый остался как выдающийся дипломат и государственный деятель, заслуживший уважение и даже восхищение своих партнеров. Итальянец А. Гваньини, находясь на службе у польского короля, мог слышать о Висковатом от возвращавшихся из России королевских слов и, говоря о «канцлере великого князя», назвал его «превосходнейшим мужем, выдающимся по уму и многим добродетелям.., равного которому уже не будет в Московском государстве». Иностранцы отмечали и удивительное умение Висковатого вести переговоры. «Муж, искусством красноречия замечательный более прочих»²⁴, — писал о нем немецкий путешественник П. Одерборн.

Значительной фигурой был и пришедший ему на смену дьяк Андрей Яковлевич Щелкалов. По свидетельству голландского купца И. Массы, жившего в Москве в начале XVII в., Борис Годунов считал, что для способностей такого человека, как Щелкалов, мал весь мир и ему пристало бы служить лишь Александру Македонскому²⁵.

Известны и другие посольские дьяки: Федор Курицын и Болдырь Паюсов — при Иване III; Федор Карпов, Третьяк Долматов, Федор Мишурин, Елизар Цыплятев — при Василии III; Меньшой Путятин, Андрей Васильев, Андрей Шерешетдинов — при Иване Грозном, а также многие иные, не столь влиятельные, выезжавшие с посольствами за границу или никогда не покидавшие пределов России, знатоки придворного церемониала или специалисты канцелярского дела. Некоторые из них владели иностранными языками, знали латынь и греческий, другие говорили и писали только по-русски. Одни были людьми высокообразованными, «книжному учению навичными», как, например, Ф. Курицын, склонный к вольномыслию, неортодоксальному толкованию православных догматов, или Ф. Карпов, ученик и друг жившего в Москве византийского богослова и просветителя Максима Грека (оба оставили и свои собственные сочинения). Другие, не обладая книжной премудростью, отличались трезвым практическим умом, широтой политического кругозора, прекрасной памятью и колоссальной работоспособностью (к числу последних прежде всего нужно отнести А. Я. Щелкалова и его младшего брата Василия Щелкалова). Будучи людьми разного уровня культуры, посольские дьяки были похожи в одном — в присущем им всем сознанию чрезвычайной важности возложенной на них миссии. В 1594 году Щелкалов-старший, принимая в Посольском приказе имперского посланника Н. Варкоча, говорил ему: «И твой, и

мой государи во славу христианства начали пахоту, а Борис Федорович (Годунов, еще не вззошедший на престол. — Л. Ю.), я и ты — мы пахари»²⁶. А ведь в устной народной традиции и в древнерусской литературе с пахотой обычно сравнивались битва, ратный труд, пахарь уподоблялся воину. Уже одно употребление Щелкаловым этого образа ясно показывает, как воспринимали дипломатическую деятельность русские люди того времени, какую роль играла она в общественной жизни.

Именно в среде посольских дьяков и подьячих (разумеется, не без участия «думных» чинов и самих государей) постепенно складывались представления о международном праве, о месте русских государей в ряду других монархов Востока и Запада, наконец, о правилах, которыми регулировалось поддержание царской «чести» в дипломатических отношениях. Может быть, важнейшее из этих правил — принцип иерархии, согласно которому отношения должны осуществляться строго на соответствующих друг другу уровнях власти.

Так, в русско-литовской дипломатической практике царь мог вступать в контакт исключительно с самим королем (с великим князем литовским), Боярская дума — с королевской Радой («панами радными»), митрополит — с виленским епископом, смоленский воевода — с воеводой пограничного города Орша, наместник Новгорода — с воеводой литовского города Троки (ныне — Тракай) и т. д. Даже в периоды «бескорольевья», когда всю полноту власти в стране принимали на себя польские и литовские «паны радные», сноситься с царем напрямую, без посредников, им не позволялось. Этот принцип оформился относительно поздно, к середине XVI в., а в более давних традициях отношений с татарскими «юртами» он долгое время вообще не применялся. Поскольку представления о «чести» государя здесь были несколько иными, царь мог получать грамоты не только от самого хана, но и от его жен, детей, вельмож, мог принимать в Москве их представителей.

Зато в русско-шведских связях этот принцип соблюдался неукоснительно, причем в особой форме, послужившей при Иване Грозном причиной серьезного дипломатического конфликта. Когда-то Швеция и Ливония поддерживали отношения преимущественно с Новгородом. Но и в середине XVI в. Москва продолжала настаивать на сохранении этой традиции, давно ставшей анахронизмом: шведские и ливонские посольства сначала прибывали на берега Волхо-

ва, где их принимал новгородский наместник, а уж потом доставлялись в столицу. Ливония считалась зависимой от Габсбургов, а Швеция лишь недавно освободилась из-под власти Дании. Кроме того, королей из династии Ваза Иван Грозный не числил среди своих «братьев», как и магистров Ливонского ордена. И в условиях нараставшей из-за соперничества в Прибалтике напряженности русско-шведских отношений царь вовсе не собирался отменять «честную» для него и унижительную для Стокгольма практику сношений через новгородских наместников. Тем самым Швеция, еще недавно бывшая владением датской короны, как бы приравнивалась к Новгороду — царской вотчине. Шведская дипломатия неоднократно предпринимала попытки ликвидировать этот обычай, добиться права на прямые контакты с Москвой, но Иван Грозный не уступал. Правда, в 1567 году после заключения мирного договора царь наконец-то обещал Эрику XIV «его пожаловать, от намесников отвести», однако союзник вскоре лишился престола, а новый король этого «жалованья» уже не был удостоен. В числе условий, на которых Грозный соглашался непосредственно сноситься с Юханом III, минуя новгородских наместников, были выдвинуты следующие, явно неприемлемые: царь добавит к своему титулу наименование «Свейский», и ему будет прислан королем «образец, герб свейский, чтобы тот герб в царского величества печати был»²⁷. По сути дела, это означало бы признание зависимости: в таком случае шведский король получал право сноситься с русским государем не как равный с равным, а как вассал со своим сюзереном. И «лазучство» толмача Нильсена — это попытка шведской дипломатии разрешить вопрос не только о «братстве», но и о практике сношений с Москвой через новгородских наместников.

Принцип иерархии дипломатических отношений своеобразно преломился в обычае присваивать отправлявшимся за рубеж русским послам фиктивные титулы и звания. Дьяка, например, «писали» наместником какого-нибудь города, дворянина — окольниковым, окольникового — боярином и т. д. Это обстоятельство тщательно скрывалось, ибо в таком случае русскому дипломату при иностранном дворе оказывались почести, не подобавшие его реальному чину и положению при дворе московском. В связях с Речью Посполитой так поступали обычно в периоды обострения отношений, когда не хотели отправлять с посольством лиц действительно знатных, но в то же время и опасались, что царских представителей, чей высокий дипломатический

ранг не подкреплён соответствующим социальным статусом, примут без должного уважения, отчего пострадает «государева честь». Подобным же приемом пользовалась и польско-литовская дипломатия, хотя обе стороны не считали законной эту уловку. И в Москве, и в Вильно, и в Кракове внимательно следили, чтобы титулы и звания прибывших послов, указанные в их верительных грамотах, были настоящими, а не подложными. В 1581 году русские дипломаты были вынуждены признать фиктивность казначейского звания, возложенного на П. И. Головнина, который за год до того ездил послом к Стефану Баторию. Но они оправдывались тем, что «не на молодого человека имя есмо казначейское положили» (т. е. разница между истинным и декларируемым чинами Головнина не так уж велика), тогда как при Сигизмунде II Августе были «писаны державцами» прибывшие к царю простые шляхтичи «Ян Шимков, Мыртын Волотков и Ян Гайко»²⁸. Державец — довольно высокий придворный чин. В последнем случае разрыв между реальностью и фикцией огромен, и, следовательно, обман тогда был более унизителен для Ивана Грозного, чем теперь для Стефана Батория.

Но взаимные разоблачения не могли подорвать устоявшуюся традицию. Повышались, вернее, завышались титулы и звания не только послов, но и лиц, принимавших в Москве и Вильно иностранные посольства. Это были приставы, которые вели переговоры, встречали и провожали приезжавших дипломатов. «Молодые» люди, на равных сносясь с «великими» людьми другого монарха, тем самым возвышали своего государя. Недаром в Москве старались подыскать отечественный аналог каждому титулу и званию из числа принятых в Западной Европе, особенно в Польско-Литовском государстве. Любая ступень придворной иерархии Речи Посполитой была точно соотнесена с расположенной на той же высоте ступенью московской лестницы чинов.

Логика, согласно которой дипломатам присваивали фиктивные звания, была впоследствии использована, чтобы объяснить причины небывалого возвышения Бориса Годунова при Федоре Ивановиче. Годунов даже получал официальные послания от иноземных монархов, о чем и помыслить не мог ни один из временщиков Ивана Грозного. В этой связи было объявлено, что если Рудольф II, император Священной Римской империи, присылает грамоты шурина русского царя, как бы признавая его равным себе,

то такой факт «служит царскому имени к чести и прибавленью»²⁹.

Для поддержания «чести» государя крайне важно было и поведение русских дипломатов за рубежом. Оно дотошнейшим образом регулировалось целым сводом частных предписаний и общих правил, которые содержались в так называемых «наказах» или «наказных памятях», составленных посольскими дьяками — хранителями дипломатических традиций. Эти «наказы» вручались послам перед отъездом, а иногда, если посольству следовало отбыть спешно, отправлялись вдогонку со специальными гонцами.

В «коробьях окованных» послы везли с собой пышное посольское платье — иногда собственное, а чаще взятое напрокат из царских кладовых (при успешном выполнении миссии оно могло быть по возвращении навечно пожаловано послам), которое за рубежом надевалось лишь в самых торжественных случаях. В 1603 году на обратном пути из Дании в Россию послы дьяк Афанасий Власьев и боярин М. В. Юрьев, услышав, что в Курляндии неспокойно («збор литовских людей»), и опасаясь за сохранность своего посольского наряда, решили наиболее дорогостоящую его часть оставить за пределами владений польской короны, в Любеке, чтобы потом любекские купцы морем отправили эти вещи в русский Иван-город на Балтике. До нас дошла их опись: «саженные» (усаженные жемчугом и драгоценностями) высокие горлатные шапки («колпаки») и тафьи (маленькие шапочки), «ожерелья стоячие и отложные», завязки из куньего меха, золотые нагрудные цепи³⁰. Это роскошное облачение должно было показать богатство и величие русских государей, поддержать их «честь». Но данный случай объясняет и то, почему «великие послы» не часто направлялись в дальние страны.

Кстати, в Москве требовали, чтобы русские послы на Востоке, надевая на себя пожалованное им в этой стране платье (такой обычай был принят при дворах мусульманских владык), не роняли бы тем самым государеву «честь». В 1615 году по возвращении из Персии посольства М. Н. Тиханова и А. Бухарова посланникам учинили строгий допрос по поводу того, что на прощальной аудиенции у шаха они были только в подаренных им персидских халатах, без русских однорядок. «Забыв свою русскую природу и государские чины, — заключили чинившие разбирательство «думные» люди, — ездили есте на отпуске к шаху в его, шахове, платье, вздев на себе по два кафтана аземских... И вы тем царскому величеству учинили не-

честь же: не ведомо, вы были у шаха государевы посланники, не ведомо — были у шаха в шутех!»³¹. Русские дипломаты за границей принародно могли появляться только в национальной одежде. «А в угорском платье я по улице не хаживал»³², — оправдывался в 1573 году вернувшийся из Копенгагена гонец К. Скобельцын, признавая, правда, что платье это надевал, однако, лишь у себя на подворье, где его никто не видел.

Не только одежда, но и порядок следования на аудиенцию, вручение грамот, произнесение речей — все должно было быть как можно более торжественным. Например, царскую грамоту при следовании во дворец монарха предписывалось нести младшему члену посольства, «на дворе» ее должен был взять средний по рангу, а в приемной палате грамоту брал уже «болший» посол. Царские «речи» послы произносили по очереди: начинал старший, продолжали средний и младший, затем снова старший и т. д. В этих разработанных посольскими дьяками сценариях поведения, детально регламентировавших каждый шаг и каждое слово послов за рубежом, видна, можно сказать, продуманная театральность. Послы не просто исполняли свое поручение, но разыгрывали некое «действие», торжественная обрядность которого выражала опять же величие русских государей.

Но самым существенным было непременно содержавшееся во всех «наказах» требование, чтобы во время аудиенции в приемных покоях не было представителей каких-нибудь других монархов. Посторонних свидетелей контакта между государями не должно было быть, ибо сам этот контакт — своего рода таинство. На обеде во дворце иностранного монарха присутствие чужих послов допускалось, но лишь в том случае, если заранее давалось обещание посадить их за столом на менее почетные места, «ниже» послов русских.

И наконец, в «наказах» строжайше запрещалось обращаться с переданными от царя устными «речами» к кому-либо, кроме самого монарха. Государь в образе своего представителя не мог обращаться к простым смертным. «Мне с пашами речи нет, — говорил в 1496 году М. Б. Плещеев, первый посол Ивана III в Турции, — с салтаном мне говорити!» Только в крайнем случае, если отказано будет в высочайшей аудиенции, послу разрешалось иногда передать «пашам» или «панам» списки «речей», не произнося их вслух.

В идеале общение русского дипломата за границей с

монархом, к которому он отправлен, предполагалось в присутствии как можно меньшего числа посредников. Этим подчеркивался доверительный характер контакта между государями. Даже простые гонцы стремились отдать царские грамоты непременно в присутствии монарха и желательно из рук в руки. При этом порой происходили любопытные инциденты. Гонец В. Чихачев, направляясь в 1573 году на аудиенцию к Юхану III, предусмотрительно спрятал грамоты за пазуху, потому что «блюлся», как бы их не отобрали. Уже в приемной палате, у ковра («сукна»), покрывавшего пол перед тронным возвышением, толмач вдруг схватил Чихачева за платье со словами: «Ты к королю не ходи и на сукно государьское не ступай!» Но Чихачев «у него платье вырвал да по сукну пошел, да и грамоты королю подал». Однако на этом злоключения русского гонца не кончились. На следующий день к нему на подворье явился королевский советник Христофор Флеминг и заявил, будто Чихачев был на аудиенции вовсе не у короля, а, оказывается, у него, Флеминга, — это он, облаченный в королевские одежды, сидел на троне вместо Юхана III. «Яз ему поприличен (похож на него. — Л. Ю.), — передает Чихачев слова Флеминга, — да толко не таков». Но Чихачев наотрез отказался поверить, что его так ловко и неожиданно обманули. «Яз был не у тебя, Христофора, — отвечал он, — был яз у короля Егана, а тебя яз не знаю, тепере ты и вижу!»³³. Гонец не мог признать, что был на аудиенции не у короля, а у королевского советника: такая ошибка, по возвращении в Москву грозившая ему жестоким наказанием, вела к «умаленью чести» царя. Лишь побывав позднее на приеме у настоящего Юхана III, он, видимо, убедился в своей оплошности, о чем его донесение уже не сообщает. А весь этот фантастический спектакль был устроен шведами с единственной целью — выманить у гонца грамоту Грозного. Юхан III опасался принять послание, написанное «невежливо», сходное с тем, которое незадолго до этого уже получил от царя. Флеминг сказал Чихачеву, что король «на своем месте не сидел» из-за предыдущей «неподобной» царской грамоты.

Поведение Чихачева можно, конечно, объяснить исключительным упрямством, которое будто бы проявляли русские дипломаты в вопросах церемониала. Но ведь в данной ситуации все вели себя примерно одинаково — и Чихачев, и шведы. Действия их различны, но система взглядов одна и та же. Это система взглядов эпохи, когда

за мелочами этикета вставали серьезнейшие проблемы престижа государства и его верховной власти.

Надо заметить, что и западноевропейские дипломаты всеми способами старались вручить свои грамоты непосредственно в руки царя. А. Дженкинсон в 1561 году за долго до назначенной аудиенции начал ходатайствовать о том, чтобы грамоты Елизаветы I собственноручно были приняты Иваном Грозным, как четыре года назад в Англии Мария Тюдор приняла царские грамоты у русского посла. А еще четыре с лишним десятилетия спустя Т. Смит с гордостью вспоминал, что сумел передать королевские грамоты прямо в руки восседавшему на троне Борису Годунову, хотя придворные и пытались их перехватить перед тронным возвышением³⁴.

Аналогичным было отношение к царским дарам, которые русские послы привозили иностранным монархам. Посланные от государя, они должны были быть вручены государю, и никому иному, причем в парадной обстановке. Так, например, грузинский царь Александр, в 1589 году принявший русское посольство так, как, по его собственному выражению, «Моисей принял богописанный закон», велел принести на аудиенцию даже тех охотничьих соколов из числа отправленных ему в дар Федором Ивановичем, которые умерли по дороге в Грузию. Послы не решились избавиться от них в пути, и мертвые птицы были торжественно доставлены в приемный зал «в клубочках и во всем наряде»³⁵.

Дары означали материализовавшееся расположение царя, грамоты — его запечатленную волю, послы и посланники олицетворяли государя, который, в свою очередь, воплощал государство. Нормативность этих представлений предвзяла и делала возможными дипломатические контакты. Немало, конечно, возникало недоразумений, разногласий, прямых конфликтов, обусловленных различными взглядами на те или иные элементы этикета международных отношений, но в необходимости самого этикета не сомневался никто. Если нормы посольского обычая уважались партнерами, если «честь» государя «береглась» его представителями (а в дипломатии «оказиональной» ее заново должно было утверждать каждое следующее посольство), то исчезало расстояние, разделявшее резиденции монархов, — диалог велся «от лица к лицу».

УСЛОВИЯ И УСЛОВНОСТИ

«ПОСЛЫ ВИНОВАТЫ НИГДЕ НЕ ЖИВУТ»

В 1608 году польско-литовские дипломаты говорили в Москве, что «бог всемогущий, сотворивший весь свет и людей на нем, царства, князьства и государства разделивши», утвердил и естественный, заложенный в человеческой природе («в людцком прироженье») порядок связи между ними «через послы и посланники»; с тех пор бог своей «божественной силой» вечно стоит на страже этого порядка: он карает или «благословение распростирает» в зависимости от того, как в той или иной стране обращаются с послами¹. Право посольской неприкосновенности в средние века было законом, причем тем более незыблемым, что покоился он не на букве, а на обычае (еще древние греки знали деление законов на писанные и неписанные: первые, низшие, учреждены людьми; вторые, высшие, как они считали, — богами). Тем не менее русский (и не только русский) посольский обычай знал и письменные гарантии неприкосновенности прибывших в страну иностранных дипломатов, оформленные в виде так называемой «опасной грамоты». Она заблаговременно доставлялась монарху, намеренному отправить посольство, и составлялась обычно по следующему стереотипу: «...Кого к нам пошлешь своих послов, и тем твоим послом к нам приехати и от нас отъехати со всеми их людьми безо всякие зацепки, на обе стороны путь чист».

Явно тенденциозно звучат слова крымского хана Сахиб-Гирея в его послании к королю Сигизмунду II Августу (1548 г.): «Окроме на Москве послом смерть бывает, а в иньших паньствах (государствах. — Л. Ю.) нигде того не бывало»². Возможно, Сахиб-Гирей имел в виду случай, когда в 1535 году по пути в Москву крымский гонец Будалы-мурза был заколот в придорожной корчме челядинцами князя Ивана Барбашина. Убийство, по-видимому, произошло случайно, в пьяной драке, но русское пра-

вительство полностью взяло на себя ответственность за этот инцидент: по приговору Боярской думы виновные были выданы на расправу в Крым.

Но обычно именно в Крыму русские дипломаты подвергались всяческому издевательствам и оскорблениям. Их сажали под замок, били, грозили пытками, морили голодом и жаждой, отбирали лошадей, насильно вымогали подарки, грабили имущество. Чтобы гарантировать им хоть какую-то безопасность, в русско-крымской дипломатической практике был принят «размен» послов. Он происходил на южных границах, чаще всего в Путивле: отсюда в одно и то же время русский посол отправлялся в Крым, ханский — в Москву, и каждый служил своего рода заложником безопасности другого. Впрочем, и эта мера предосторожности не всегда спасала русских дипломатов от обид и надругательств, порой изощренно жестоких. Тот же Сахиб-Гирей, сетовавший на нарушения в Москве права посольской неприкосновенности, в 1546 году «соромил» одного из членов русской миссии — подьячему Ляпуну «нос и уши зашивал и, обнажа, по базару водил». Посольские книги довольно последовательно разграничивают «бесчестье» и «соромоту», то есть унижение не церемониальное, а физическое. Насилию подвергали порой русских дипломатов и в Ногайской Орде, и в Казани, но прежде всего в Крыму, где упорно пытались оживить призрак ордынского владычества над Русью. И «соромота» подьячего Ляпуна была, возможно, отголоском подобных эпизодов давнего и не столь давнего прошлого, когда жертвами ханского глумления становились посланцы русских князей к владыкам Золотой и Большой Орды.

Отдельно стоит упомянуть трагическую гибель русского посольства, в 1624 году отправленного к турецкому султану. В Керчи послы ожидали корабли, чтобы плыть в Стамбул. Здесь на них напал крымский царевич Шагин-Гирей с отрядом. Часть людей погибла, в том числе и посол И. Бегичев, остальных продали в рабство. Хан Мухаммед-Гирей с сыном учинили эту расправу, подозревая, что русское правительство через Турцию собирается оказать давление на Крым.

На протяжении всего XVI в. довольно обыкновенным явлением были мелкие инциденты, связанные с некорректным поведением лиц посольской свиты. Еще в 1491 году в Кафе (Феодосии) челядинцы А. М. Плещеева, посла Ивана III к турецкому султану, избили кафинского привратника: тот, чересчур ревностно исполняя служеб-

ный долг, стал выгонять посольских лошадей из крепостного рва, где те щипали траву, за что и поплатился побоями. Не лучше вела себя и свита европейских дипломатов в России. В 1519 году «детина» имперского посла И. Кристофа «у подключникова детины» шпагой «у руки перст отсек», а также отнял корову у некоего старца. Буйствовали по дороге в Москву не только ногайские или крымские свитские всадники. Польские дворяне, забавляясь, обрубали на московских улицах хвосты чужим лошадям. В 1559 году человек из шведского посольства С. Эриксона в Новгороде сжег на свече православную икону и был посажен в тюрьму (вскоре его выпустили, ибо выяснилось, что он так поступил «впьяне», но шведы и через десять лет, вспоминая этот случай, обижались, утверждая, будто икона сама загорелась, а виновный просто «прилепил блиско иконы свечю, и свеча пошатнулась к иконе»). В Москве свита литовских посольств не раз вступала в драку с русскими приставами и т. д.

Эти и подобные происшествия вызвали нарекания сторон: следовали жалобы, которые иногда оставались без последствий, а иногда влекли за собой наказание провинившихся, если оправдаться им не удавалось. Так, в 1604 году дьяк И. Леонтьев, незадолго перед тем ездивший с посольством в Грузию, где вел себя «невежливым обычаем», по обвинению прибывшего в Москву грузинского посла был высечен кнутом на глазах у последнего. Как правило, членов посольской свиты, совершивших преступления в России, русские власти не наказывали сами (оскорбивший религиозные чувства случай с иконой — исключение), а требовали их наказания от правительства той страны, откуда они прибыли.

Таким образом, русская дипломатическая практика подчинялась известной норме международного права, позже сформулированной голландским юристом XVII в. Гуго Гроцием как экстерриториальность посла и его свиты.

Отдельные происшествия такого рода к серьезным дипломатическим осложнениям не приводили. Гораздо больший резонанс получали случаи, когда право посольской неприкосновенности частично нарушалось по причинам политического порядка. Таких случаев немного, но они все же были.

В 1564 году, после того как хан Девлет-Гирей, нарушив присягу, совершил опустошительный набег на русские земли, в Москве было задержано и на несколько лет

сослано в Ярославль крымское посольство Янболдуя — «для Девлет-Киреевы неправды», как объясняет это летопись. В 1567 году литовский посланник Ю. Быковский был посажен под замок, потому что грозил Ивану Грозному войной и в грубой форме требовал возвращения Полоцка, четырьмя годами ранее приступом взятого русскими войсками. Условия, в которых разгневанный царь приказал содержать королевского посланника, были, как видно, достаточно суровыми: Быковскому «пришла немочь», и он «опух от духу и от тесноты». Правда, само заточение продолжалось недолго, и вскоре его освободили. В 1568 году начиналась беспрецедентная, единственная в своем роде эпопея, когда на протяжении ряда лет русских дипломатов в Швеции и шведских в России подвергали оскорблениям, сажали под арест, ссылали в отдаленные области. Начало этому положили шведы. Во время пребывания в Стокгольме посольства И. М. Воронцова король Эрик XIV, сторонник русско-шведского союза, был свергнут ворвавшимися в столицу отрядами его брата — герцога Юхана Финляндского, будущего короля Юхана III. Вооруженные люди герцога захватили подворье, где находилось посольство. Они «збили у Ивановы полаты замок, в которой полате рухлядь, да ис полаты рухлядь всю поимали — суды серебряные и платье, и людей пограбили, да и самих послов ограбили, оставили в одних рубашках»³. Затем Воронцов «с таварыщи» были заперты в доме; там они без еды и одежды просидели четыре дня. Одновременно герцогские наемники в порту ограбили и посольские корабли. Впоследствии, правда, часть имущества возвратили, однако посольство, разделенное на две группы, еще на полгода насильно задержали в Швеции, причем не в Стокгольме, а в окрестностях города Або. Шведы осторожно объясняли случившееся простым недоразумением и суматохой при штурме города. Но, очевидно, причиной этой акции послужило недавнее обещание Эрика XIV отнять у Юхана Финляндского жену, Катерину Ягеллон, сестру Сигизмунда II Августа, к которой прежде безуспешно сватался сам Грозный, и выдать ее замуж за царя. Об этом, надо полагать, и стало известно оскорбленному герцогу, в своей политике державшемуся польской, а значит, и антирусской ориентации.

Когда в том же году в Россию прибыло шведское посольство во главе с епископом Павлом Юстеном, разъяренный царь предпринял ответные репрессии: «Велел

государь свейских послов ограбити за то, что свейской король ограбил послов государьских». На дворе новгородского наместника послам связали руки, концы веревок дали всаднику, и шведы были вынуждены бежать за ним к себе на подворье по улице под улюлюканье толпы. Такому же унижению был подвергнут и прибывший в Москву гонец Юхана III. У послов отобрали все имущество и сослали в Муром, где приставы каждые 24 часа устраивали им поголовную перекличку. Шведы томились несколько месяцев, от тоски пересчитывали бревна в ограждавшем подворье тыне (Юстен сообщает, что бревен этих было 745 штук)⁴, до тех пор пока в конце концов не были отправлены на родину. Задержан был лишь уже упоминавшийся толмач А. Нильсон. Другой эпизод произошел в 1573 году с гонцом В. Чихачевым — тем самым, для которого был устроен спектакль с переодеванием Х. Флеминга в королевское платье. Когда у Чихачева стали требовать царские грамоты, а он отказался отдать их до аудиенции, один из приставов ударил его в грудь обухом топора и «топором примахивался к шее — отсеку, деи, голову, да лаял матерны». Чихачев держался спокойно и твердо, с достоинством. «Толко б яз, царьского величества холоп, сидел на своем коне, — отвечал он, — и ты б меня, мужик, так не безчестовал и не убил. Умел бы яз тебе ответ дать!» В поисках царской грамоты, надежно спрятанной Чихачевым (где именно, он не сообщает), приставы обыскали и самого гонца, и русского толмача, и свиту — «платье сымали и разували», затем взломали «коробью» с иконами, расшвыряли иконы по полу и по лавке, но ничего не обнаружили и ушли, пригрозив Чихачеву пыткой: «На огне будешь, коли писма не дашь!»⁵.

Вообще сама личность Василия Чихачева заслуживает большого уважения. Худородный дворянин, не дипломат, а воин, привыкший иметь дело с врагом на поле битвы, человек маленький, по сути дела отданный царем на закланье и перемолотый жерновами большой политики, он проявил бесконечную преданность своему повелителю, колоссальную выдержку, смелость, настойчивость и самопожертвование при исполнении возложенной на него миссии. Дальнейшая судьба Чихачева сложилась трагически. Он был сослан королем куда-то на север, в Финляндию, где и умер вдали от родины, избежав таким образом кары за то, что был обманут обряженным в королевский костюм шведским вельможей. Его коротенький,

«черный» отчет (неотредактированный и потому особенно выразительный) привез в Москву следующий русский гонец В. Пивов. И, видимо, не менее печальной, чем судьба Чихачева, была участь того безвестного «земца» из Орешка, который в 1572 году доставил Юхану III «ругательное» послание Ивана Грозного.

«Послы виноваты нигде не живут, — писал в нем царь, имея в виду случай с посольством Воронцова, — с чем они посланы, с тем они и пришли». Но он же, объясняя заточение Быковского, утверждал и прямо противоположное: «От начала велось, которые придут с розметом (разрывом отношений. — Л. Ю.), и тем живота не давали». И в 1579 году, когда гонец В. Лопатинский привез царю «розметную грамоту» от Батория, выступившего с новым походом на русские земли, ему было сказано от имени Ивана Грозного: «Которые люди с такими грамотами ездят, и таких везде казнят; да мы, как есть государь христианский, твоей убогой крови не хотим»⁶. Это всего лишь угрозы: и Быковский, и Лопатинский были отпущены на родину. Нет ни одного мало-мальски достоверного известия о казни в России иностранных дипломатов. Редкие инциденты, подобные описанным, были обусловлены ухудшением и без того крайне острых отношений Москвы с Крымом, Речью Посполитой и Швецией — ближайшими соседями и опаснейшими врагами. Однако тут нельзя не принимать в расчет и личные качества Ивана Грозного как человека и правителя: ни до, ни после него ни один из русских государей ни при каких обстоятельствах не позволял себе нарушать право посольской неприкосновенности.

«Безчестье» послов — недопущение к царской руке для поцелуя, лишение их торжественной «встречи» и т. д. — применялось и в Москве, и за рубежом. Таким способом выражалось недовольство поведением самих послов или характером их миссии. Но выход за рамки церемониала, прямое насилие были нетипичны.

«Посол что мех: что ему дали, и он то и несет» — эту формулу постоянно употребляли и русские, и польско-литовские дипломаты. «Посла ни бьют, ни бранят, ни секут, лише жалуют» — гласит русская пословица, вошедшая в состав рукописного сборника XVII в. В ней ярко отразились народные представления о праве посольской неприкосновенности. Отдельные нарушения не могли поколебать традиции. Более того, на их фоне она выступает еще отчетливее.

Составной частью посольского обычая в XV — XVII вв. было отправление и получение даров — поминков. Особенно широко поднесение дипломатических даров практиковалось у монголо-тюркских народов. Еще в XIII в. князь Василько Волынский предупреждал Платона Карпини, посланца папы, что если он не привезет Гуюк-хану богатых подарков, то не сумеет выполнить свою задачу.

Бывало, европейские дипломаты отправлялись на Восток или вовсе с пустыми руками, или с такими дарами, которые не могли способствовать успеху их миссии. Иван III, например, снабдил венецианского посла Дж. Тревизиано, проезжавшего через Москву в Большую Орду, не только «людми и конми», но и подарками: венецианец от своего имени должен был поднести их Ахмет-хану. По всей вероятности, великий князь, хорошо знавший обычай ордынского двора, количество и ассортимент имевшихся у Тревизиано даров счел недостаточным.

Первые посланцы Габсбургов часто прибывали в Москву вообще без подарков, причем ни у Ивана III, ни у его сына это не вызывало никакого недовольства. В 1517 году ничего не привез Василию III имперский посол С. Герберштейн, отметивший, впрочем, в своих записках, что послы Литвы, Ливонии и Швеции приезжают в Москву с дарами. Вообще на востоке Европы, а не только на Руси дипломатические поминки издавна были нормой посольского обычая. Они практиковались Иваном III и в связях с русскими землями. Так, в 1474 году он не принял псковского посла, поскольку тот «поминки легки привезоша». По-видимому, и термин «легкие поминки» восточного происхождения; чаще всего он встречается в тексте крымских посольских книг.

Поминки русских государей западным и восточным монархам разнились по составу. В Европу обычно посылались меха, чаще всего соболя. Последние, как можно предположить, имели ритуальное значение. На Руси соболя играли важную роль в некоторых обрядах. Так, в обряде великокняжеских свадеб молодые вступали в церковь по ковру, на четырех углах которого лежали соболи шкурки; на них же стояли при венчании, и сваха трижды обносила соболями головы жениха и невесты. Очевидно, это было связано с пожеланием счастья и богатства: в течение долгого времени меха на Руси выполняли функцию денег. Поэтому и было принято посылать соболя в качестве ди-

пломатического поминка. Позднее такое их значение утратилось.

Самые ценные соболя посылались поштучно, менее ценные — «сороками». В 1488 году Иван III отправил венгерскому королю Матиашу Корвину удивительный подарок: «sobоль черн, ноготки у него золотом окованы с жемчюгом, двадцать жемчюгов новгородских»⁷. Подарок свидетельствует о замечательном мастерстве русских ремесленников.

Иногда в Европу посылались кречеты и соколы, еще реже — детали конского убранства, преимущественно восточной работы. Разнообразнее были поминки персидским шахам и грузинским царям: не только меха, но и живые звери — соболи, медведи, охотничьи собаки и птицы, иногда — оружие. Персидские и грузинские послы привозили в Москву дорогую одежду, ковры, ткани, перстни с самоцветами и просто драгоценные камни, породистых лошадей, расшитые золотом седла и уздечки. Англичанин Джером Горсей видел в сокровищнице у Ивана Грозного чрезвычайно ценное царем ожерелье из намагнитченных иголок — возможно, оно было привезено каким-нибудь персидским или кавказским дипломатом из Дербента, где находили глыбы магнитного железа. Однажды Грозному отправили из Персии слона, о чьей судьбе рассказал немец-опричник Генрих Штаден: в дороге погонщик заболел и умер, а слон, отказываясь от еды, лежал на его могиле, пока не был убит; вырванные бивни послали царю.

Имперский посол Н. Поппель преподнес жене Ивана III, великой княгине Софье Палеолог, попугая в клетке. Елизавета I дарила Грозному английских охотничьих собак и даже живых львов. Но в целом среди даров, привозившихся в Москву западными дипломатами, первое место, безусловно, принадлежит золотой и серебряной посуде.

Особенно часто русским государям подносились кубки, что могло быть следствием архаичных представлений о нерасчлененности договора как сделки и ритуального питья. Кубки были самой различной формы, порой необычайно причудливой (Н. Варкоч подарил Федору Ивановичу кубок, сделанный в виде цапли). Привозили часы и даже оружие, что не считалось оскорбительным, если клинки были в ножнах. Князь Конрад Мазовецкий прислал Ивану III отделанную золотом рогатину. Иван Грозный получил от Эрика XIV драгоценную шпагу со вставленным в эфес пистолетом. Польский король Сигизмунд III

Ваза «поминался» Борису Годунову рыцарскими доспехами. В свою очередь, русские государи посылали предметы вооружения и тем монархам, с которыми поддерживали вполне дружественные отношения. Так, Годунов отправил императору Священной Римской империи Рудольфу II дорогой кинжал и богато украшенное самоцветами золотое «кольцо» для стрельбы из лука (назначение этого кольца не совсем ясно — возможно, оно использовалось в качестве мишени).

Бывали и уникальные подарки. Имперский посол Д. фон Бухау в 1575 году поднес Ивану Грозному трубку для курения еще неведомого русским «зелья», привозимого испанцами из Америки, и золотую букву М — печальную букву имени императора Максимилиана II. Его приемник Рудольф II, страстно увлекавшийся оккультными науками и собравший при своем дворе в Праге большую группу астрологов, алхимиков, магов, прислал в дар Федору Ивановичу некий камень «безвар», имевший «силу и лечбу великую от порчи». Вероятно, это был так называемый бетвар — особое минеральное образование, которое изредка встречается в желудках у коров. Считалось, будто оно обладает магическими и целебными свойствами (интересно, что вскоре после этого и Борису Годунову привезли из Англии «камень батвар», причем по специальной его просьбе). Неизвестно, как использовали эти презенты царь и его шурин, но Рудольф II с помощью какого-то магического камня, подаренного ему британским агентом Джоном Ди, общался с дүхами своих умерших родителей.

Западноевропейские послы часто старались подчеркнуть ценность своих подарков. Англичанин Т. Рэндольф, прибывший послом к Ивану Грозному от королевы Елизаветы I, должен был, как говорилось в данной ему инструкции, «отозваться с похвалою» о привезенном им кубке и «найти случай выставить достоинство этого подарка»⁸. Возможно, Рэндольф именно потому получил такую инструкцию, что кубок был вполне ординарным: английская «королева-девственница» славилась своей скупостью на всю Европу.

При Иване III и Василии III в отношениях между Москвой и Вильно самым обычным поминком считались «корабленики» — имперские золотые монеты, у которых на реверсе была чеканка с изображением корабля. Еще в 1543 году литовский посланник Т. Мацевич привез Ивану Грозному, тогда 13-летнему отроку, в подарок от Си-

гизмунда I 30 венгерских золотых. Но это последнее известие такого рода. Позднее монеты в качестве дипломатического поминка никогда не посылались: в сознании русского общества окончательно оформились представления о том, что деньги могут быть лишь «жалованьем» от старшего младшему, от государя — подданному или от сюзерена — вассалу. Когда в 1589 году английский посол Джильс Флетчер попытался преподнести Федору Ивановичу золотые монеты, этот подарок был с негодованием отвергнут. В то же время, если деньги представляли собой не отдельный дар, а часть какого-то другого, они могли, видимо, быть приняты. Один из членов посольства Д. фон Бухау привез Грозному золотую фигуру мавра на верблюде, по бокам которого были приторочены корзины с золотыми червонцами, и такой дар нареканий не вызвал.

Дипломатические поминки были двух разновидностей — официальные, направленные от монарха к монарху, и частные — от самих послов. Иностранные дипломаты в России и русские за границей постоянно подносили дары не только от своих государей, но и от себя лично. По большей части эти дары перед отъездом русских послов за рубеж выдавались им из казны. В казну они должны были возвратить и ответное «жалованье» иностранного монарха: наиболее ценные вещи царь оставлял у себя, остальное отдавалось послам.

Официальные поминки пересылались от монарха к монарху, но собственные дары послы должны были приносить на аудиенцию лично. Когда один из членов польского посольства в 1570 году, сам не явившись во дворец, прислал Ивану Грозному часы с кем-то из своих товарищей, царь приказал их тут же сломать, ибо «царскому величеству то гневно стало, что такой молодой паробок ссылается с царским величеством подарки, а не сам к царскому величеству принес»⁹.

Как правило, один вид поминков не мог быть заменен другим. В 1589 году в Персии Г. Васильчикову предложили выбрать из его собственных даров те, что получше, и поднести от имени царя, дабы шаху «было честнее». Но Васильчиков решительно воспротивился: «Мне таких речей и слушать не надобно, не токмо, что так зделать. Тому как возможно статись, чево и в разум не может вместитца, что вы говорите, что холопу назвать свои поминки государевы поминки?»¹⁰. Отказ мотивирован умело, но дело, конечно, не только в этом. Русский посланник от-

лично понимал, что если государь не прислал шаху даров, то значит, есть для такого решения свои причины.

«Государевы поминки» посылались или не посылались в зависимости от отношений между государствами. Они имели политический характер. Так, с 1549 года, когда литовское посольство не признало царский титул Грозного, и вплоть до 1584 года, когда на престол вступил Федор Иванович, при оживленном обмене посольствами царь не отправлял даров ни Сигизмунду II Августу, ни Стефану Баторию и сам ничего от них не получал. Но в течение всего этого периода и русские, и польско-литовские дипломаты регулярно подносили королю и царю подарки «от себя». Так же и в русско-шведских отношениях: в 1557 году Эрик XIV прислал Ивану Грозному кубок с крышкой-часами, но с началом Ливонской войны и до 1567 года, когда была сделана попытка заключить русско-шведский союз, королевские посланцы подносили царю дары только от своего имени.

Посольские поминки были слабо зависимы от общей политической ситуации. Прежде всего они выражали добрую волю самих послов. Иногда поминки отвергались. В 1490 году Иван III вернул Н. Поппелю привезенные им от императора дары, поскольку императорская грамота к великому князю была написана «не попригожу» (пропущен титул «государь всея Руси»), но дары самого Поппеля принял. А во время визита Дж. Боуса к Федору Ивановичу сложилась прямо противоположная ситуация. В Москве были недовольны вызывающим поведением английского посла, и его личные подарки были отвергнуты царем, но королевские — приняты.

В Вильно подарки русских дипломатов изредка возвращались из-за их малоценности. У гонца Ф. Вокшерина в 1554 году взяли в королевскую казну «два сорока» соболей, но вернули лук и узду: в казне, как говорили Вокшерину литовские приставы, «то ся не подобало». В том же году были отосланы назад и привезенные посольством В. М. Юрьева кречеты, ибо «кречеты были хворые, и то подкрасные, красного ни одного не было»¹¹.

В Москве посольские дары тоже возвращались довольно часто, причиной чего могли быть и сами дары, их незначительность, нерасположение государя к послам или какие-то другие обстоятельства. Например, в 1559 году Иван Грозный не принял у датских послов часы с еретическими, по его мнению, изображениями знаков Зодиака. Послам он сказал, что ему как христианскому царю нече-

го делать с этими «планетами и знаками»¹². Так излагали дело сами датчане. Действительно, и часы были хорошие, и недовольства своим поведением в Москве датские дипломаты не вызвали. Но, может быть, этот случай был связан с демонстрацией богатства русской казны. Датчане не сообщают, было ли взамен отвергнутых часов им прислано царское «жалованье», но обычно в подобных случаях оно посылалось. «У государя нашего столко его царские казны, — говорили бояре одному из грузинских послов, — что Иверскую землю велит серебром насыпать, а золотом покрыть, да и то не дорого»¹³. В 1537 году литовским послам хотя и вернули их поминки, но прислали «жалованье» от имени малолетнего великого князя. Послы брать его отказывались, поскольку на переговорах стороны не пришли к соглашению, но пристав убеждал их не упрямиться: «Поделаетца ли дело, не поделаетца ли, а государь пожалует своим жалованьем — то государей чин держит»¹⁴. «Чин» монарха поддерживался щедростью, бывшей при феодализме характерной добродетелью идеального суверена. Как писал М. Монтень, турецкий султан Баязет никогда не принимал подарки у послов, ибо «давать — удел властвующего и гордого», а «принимать — удел подчиненного»¹⁵. В уста Баязета Монтень вкладывает собственные мысли. Это исходит скорее из европейских, нежели восточных представлений. Монгольские владыки вообще истолковывали посольские дары как символическую дань, знак подчинения. Такие же воззрения в XVI — XIX вв. были свойственны и маньчжурским правителям Китая.

В России второй половины XVII в., как писал Г. Котошихин, подарки послов тщательно оценивали и одаривали в ответ соболями «против оценки» (в соответствии с ценой даров), причем цену назначали только по весу драгоценного металла, а «дело» (стоимость работы) не учитывали¹⁶. Но столетием раньше к вопросам ответного царского «жалованья» подходили не так прагматически. Оно превышало цену посольских даров и в тех случаях, когда последние оставались в казне. «Жалованье» имперскому послу А. Дону в 1597 году было в три раза больше стоимости его подарков, а датчанину Я. Ульфельдту было обещано, что соотношение стоимости даров даже будет один к тридцати. В 1570 году Иван Грозный не мог стерпеть упреков польских послов, ставивших под сомнение его царскую щедрость. Когда Миколай Талваш, один из послов, заявил, что дары, присланные ему от царя взамен

приведенной им лошади, малоценны («Миколай запросил цену, что тот мерин не судит», — утверждали позднее русские дипломаты), Грозный в ярости приказал зарубить эту лошадь на глазах у посла¹⁷. Таким поступком он отвел от себя упрек в недостойной государя скупости.

Во второй половине XVI в. поминки от послов в Москве возвращались им полностью или частично, а от лиц посольской свиты — полностью. «У них такой уж обычай, — писал Н. Варкоч, — чтобы из посольства не оставлять у себя ни от кого подарков, кроме как от самого посла». В 1600 году Л. Сапеге даже было сказано, что у русских государей «издавна в их царских поведениях — у послов и посланников даров не емлют, жалуют своим царским жалованьем»¹⁸. Иногда возвращалась часть поминков, присланных от имени самого государя, хотя отношения с этим государем были вполне дружественные. «Нет того, чего у государя нашего в государстве нет!» — говорили в 1589 году в Грузии русские послы. В 1604 году Борис Годунов, «жалуючи царя Александра», велел принять у грузинских послов лишь небольшую часть привезенных от царя поминков («не от велика»), «а достальное все велел послам его назад отдати»¹⁹. При этом русские объяснили, что поминки между государями приняты «для любви, а не для корысти», чем подчеркнули их символическое значение.

Впрочем, не случайно возвращались именно подарки грузинских царей, которых русские государи не считали «братьями» себе, — этим утверждалось их неравноправие. Если правителям суверенным русские великие князья подарками «поминались», то прочим дары «жаловались», как, например, тем же грузинским царям. При Василии III «жалованье» посылалось прусским магистрам. В 1519 году посол Д. Шенберг говорил в Москве о привезенном им перстне: «То государь мой прислал к великому князю не для поминка, но для жалованья государского»²⁰, то есть в благодарность за великокняжеское «жалованье», полученное магистром. В той же форме Иван Грозный посылал дары своему вассалу, датскому принцу Магнусу, которого царь сделал королем Ливонии в 1570 году.

В Москве поминки подносились не только царю, но и царевичу, наследнику престола, и даже посольским приставам. Казначей посылали дары прибывавшим иностранным дипломатам и тут же получали ответные. Иван Грозный звал к своему столу («хлеба ести») лишь тех лиц по-

сольской свиты, которые привозили ему подарки. Эта сложная система даров и отдариваний, подношений и ответного «жалованья» была непременным элементом русского посольского обычая. Возможно, тут сказались неизжитые представления дофеодалного общества, согласно которым даритель и одариваемый вступают между собой в особую, магическую по природе связь. Эта связь, пусть неосознанно, могла восприниматься как условие действительности дипломатических контактов.

«Опорой сближения» и «поддержкой благорасположения» назвал дипломатические дары один из средневековых персидских историков. Эта емкая афористичная формула могла бы принадлежать любому русскому дипломату XVI в. В отношениях с европейскими странами, с Кавказом, Персией и Оттоманской империей при обязательности дипломатических поминков их ассортимент и количество не были важны сами по себе.

Совершенно иную роль играли они в русско-крымской дипломатической практике. Там поминки были не столько элементом посольского обычая, сколько частью собственно дипломатии, орудием нажима на политику ханства. Показательно, что до середины XVI в. в обязанности великокняжеских казначеев входило снаряжение русских миссий в Крым и прием крымских посольств, хотя в отношениях с Западной Европой казначеи в это время уже никакой роли не играли²¹.

Иван III и Василий III не платили татарам дани. Однако отчасти ее заменяли отправляемые в Крым многочисленные поминки, имевшие лишь видимость сугубо добровольных подношений. Но соблюдение этой видимости было для русских дипломатов исключительно важным делом. Добровольность польско-литовских поминков, столь же регулярно отправлявшихся в Крым, как и московские, всячески стремились подчеркнуть и в Вильно, и в Кракове. На это Сахиб-Гирей в 1548 году писал Сигизмунду II Августу, что тот посылает ему богатые дары «не по доброй воле», а «для паньства своего, коли б паньство ваше во впокою было»²². Подобное заявление могло быть сделано и Ивану III, и Василию III, и даже Ивану Грозному. С помощью поминков откупались от набегов, склоняли к союзу. Более ценные, чем литовские, русские дары могли направить ханскую саблю против Польши и Литвы, а если, напротив, виленские дары превосходили по богатству московские, то хан мог резко изменить свою политику, и с этим постоянно приходилось считаться.

Крымские дипломаты привозили в Москву лишь аргамаков, но в Крым поминки отправлялись целыми обозами: везли меха и шубы, сукно и предметы вооружения, моржовую кость и изделия московских ремесленников, охотничьих кречетов, драгоценную посуду, медные котлы, серебряные пуговицы и т. д. После взятия Полоцка в 1563 году Иван Грозный, желая наглядно продемонстрировать в Крыму успехи русского оружия, послал хану «полоцко-го взятья» жеребца в полном убранстве и «двух литвинов добрых».

Русские поминки в Крым уже не по составу, а по выполняемым ими функциям делились на несколько разновидностей. Были поминки «явные», подносимые непосредственно на аудиенции, открыто, и «тайные» — их посол должен был вручить лишь в случае определенных уступок со стороны хана или какого-то другого лица, а до этого держал в секрете. «Здоровальные» поминки вручались в связи с каким-нибудь торжественным событием (например, со вступлением на престол нового хана). «Запросные» поминки посылались по особому заказу хана или его родственников и вельмож (когда-то «по запросы» приходили в русские княжества золотоордынские «кильчеи»). Наконец, поминки «девятные», или «девяти», предназначались только самому хану и наиболее влиятельным мурзам из его окружения. Для включения в их число нового лица требовалось ходатайство хана перед великим князем.

На Востоке издавна существовал обычай поднесения даров в количестве, кратном девяти (у мусульман 9 — счастливое число). Итальянец И. Барбаро, в конце XV в. побывавший в ногайских степях, такие подарки называл «новеннами» (*итал. nove* — девять). Русские государи посылали подобные поминки исключительно в Крым и ни в одно другое мусульманское государство. Когда в 1614 году русские послы по собственной инициативе поднесли ургенчскому хану поминки «в девяти статья», в Москве было устроено строгое разбирательство этого дела: выясняли, почему послы «столко поминков давали, кабы пошлину платили»²³. Прозвучало страшное для русских дипломатов слово «пошлина» (дань). И прозвучало не случайно. Возможно, «девяти», состоявшие только из мехов и шуб, в какой-то степени символизировали неравноправное положение Москвы и Крыма, истолковывались ханами как «пошлина», «выход» (этим старинным словом, обозначающим дань, в Крыму часто называли русские по-

минки). Во всяком случае, к концу XVI в., когда окончательно изменилось соотношение сил между Москвой и Бахчисараем, упоминания о «девятных» поминках навсегда исчезают со страниц крымских посольских книг.

Из-за качества и количества привозимых даров русские послы в Крыму подвергались бесконечным издевательствам и оскорблениям. Один из ханских вельмож говорил, например, В. Г. Морозову, что просил «пансыря доброго», а великий князь прислал ему «соломяной пансырь». Царевич Богатырь, жалуясь другому русскому послу — И. Г. Мамонову, негодовал: «Что мне великий князь послал, хотя то яз стану жевати, да на люди свои плевати, ино и тут моим людем никому ничего не достанетца!»²⁴. Мамонова заперли на дворе, не давали ему продовольствия, обвиняя в том, что он часть подарков утаил или присвоил себе. Чтобы отвести от послов такие обвинения, с ними стали посылать специальные «поминочные росписи», служившие подтверждением правильного распределения даров согласно воле государя. Но и наличие подобных документов, указывавших, «кому какой поминок дати», не всегда помогало. От Мамонова даже требовали клятвы, что он ничьих имен из списка «не вырезал и не загладил».

ПО ДОРОГАМ И УЛИЦАМ

ШАТРЫ НА ГРАНИЦЕ

В посольском обычае XV — XVII вв., гораздо более жестком и прямолинейном, чем современный дипломатический протокол, огромное значение придавалось вопросу о порядке обмена визитами, о последовательности отправления своих посольств и приема иностранных. Здесь равновесие должно было быть незыблемым, и стороны зорко следили, чтобы дипломатический маятник раскачивался с одинаковой амплитудой.

Когда отношения между двумя государствами на какой-то период прерывались и возникала обоюдная необходимость их возобновить, почетнее считалось вначале принять иностранных послов, а потом уж отправить ответную миссию. В контактах с монархами, которых русские государи не признавали «братьями», такой порядок был не просто «честным», но и обязательным. При постоянных отношениях с равными партнерами соблюдалась очередность — два раза подряд русские дипломаты высокого ранга к одному и тому же государю отправиться не могли. Лишь гонцы, зондируя почву для обмена «великими» посольствами, посылались часто. Только в единственном случае послы могли отправиться первыми без ущерба для «чести» монарха — когда на престол вступал новый правитель. По традиции об этом событии извещались все государства, с которыми поддерживались дипломатические отношения, и очередность тут во внимание не принималась.

При Иване Грозном бояре, ссылаясь на прецеденты, утверждали, что обычай, согласно которому вначале прибывают литовские дипломаты в Москву, а затем русские — в Вильно, имеет двухвековую историю — «почен (начат. — Л. Ю.) от великого государя, великого князя Дмитрия Донского и от Олгерда короля»¹. Отправить посольство первому означало встать в положение просителя.

Это особенно учитывалось во время переговоров о заключении мира, когда сторона, первой направлявшая послов к врагу, как бы признавала себя побежденной. Лишь во время тяжелых поражений последнего периода Ливонской войны Иван Грозный должен был посылать к Баторию своих полномочных представителей, не дожидаясь ответных польских миссий. Снаряжая очередное посольство, царь с горечью писал королю: «И мы, перед богом и перед тобой смиряясь, послом своим к тебе велели идти»². Многое стоит за этими словами. Воистину, отчаянным было положение государства, если «земной бог», всегда презиравший польского короля-выскочку, ставивший в упрек Баторию и низкое происхождение, и ограниченность его власти, тем не менее был вынужден, «смиряясь», первым отправить к нему своих послов.

Если никто не шел на уступки и невозможно было прийти к соглашению о порядке обмена дипломатическими миссиями, то устраивались посольские съезды на границе двух государств, чтобы не пострадала «честь» ни одного из монархов. После русско-шведской дипломатической «войны» 1568—1574 годов (настоящие военные действия в это время велись в Карелии, но довольно вяло) стороны тоже в итоге договорились о посольском съезде. Такие съезды практиковались только в отношениях с государствами, имевшими общие границы с Россией, — Швецией и Речью Посполитой, очень редко — с Крымом. В 1561 году русская дипломатия поднимала вопрос о съезде на границе не послов, а самих государей — Ивана Грозного и Сигизмунда II Августа. Уже велись переговоры о церемониале высочайшей встречи, о составе и размещении свиты обоих монархов, о взаимных угощениях, но встреча эта в конце концов так и не состоялась из-за начала военных действий.

И без того многочисленные делегации, выезжавшие на посольские съезды, сопровождала сильная охрана: стрельцы, отряды татарской конницы или нерегулярного дворянского ополчения. Накануне русско-шведского съезда в 1575 году послам дополнительно предписывалось для вящей безопасности набрать из местных жителей «латышей двести человек». В XVII в. с делегациями, как и с идущими на войну войсками, посылались наиболее почитаемые иконы в драгоценных окладах — «образа древнего писания, обложены золотом и серебром, с жемчуги и з камнями». Эти священные реликвии не должны были покидать территорию России. С миссиями, следовавшими

не на порубежные съезды, а за границу, столь дорогие и известные иконы не отправляли: там послы не могли гарантировать их сохранность. Сам царь с митрополитом, бояре, придворные чины, дворяне, московское духовенство вместе с толпами простого народа пешком и с пением молебнов торжественно провожали посылавшиеся иконы за городской посад³. Возможно, такой обычай существовал и в XVI в., во времена Ивана Грозного и его ближайших преемников, но наверное нельзя утверждать — и русские, и западноевропейские источники об этом умалчивают.

Прибывая на съезд, примерное место которого определялось заранее, делегации через своих представителей — свитских дворян — обговаривали конкретные условия встречи. Достигнутые соглашения «подкреплялись записями» о том, что противная сторона будет вести себя соответственно обычаю и не применит никакого обмана или насилия. Дворяне прикладывали к этим «записям» свои печати, главы делегаций присягали на их тексте, после чего могли начаться уже собственно переговоры. Но предварительное обсуждение выливалось в бесконечные «спорования» и затягивалось порой на много дней, а то и недель, потому что и на съездах проблема места переговоров (все той же очередности) вставала с не меньшей остротой.

Делегации размещались в шатрах по разные стороны границы, каждая предлагала для ведения переговоров свой шатер на своей территории. Когда большинство униженных для России норм русско-крымского посольского обычая было уже ликвидировано, на съезде неподалеку от южнорусского города Ливны в 1593 году ханские послы отказались ехать для переговоров в русский шатер. Для них это означало «Казы-Гирея царя имени потерять»⁴. Чрезвычайно долгими и упорными были споры по этому поводу на русско-шведском посольском съезде в 1585 году. Шведы заявили: «А по што нам к вам в шатер поитити? Ведь государя вашего городы за нашим государем, а нашего государя за вашим нет ничего»⁵. Тогда русские дипломаты пригрозили, что вовсе отбудут со съезда. Была проведена выразительная инсценировка готовившегося отъезда: ночью сопровождавшие делегацию стрельцы и дети боярские «были сведены в заставы» (построены по отрядам), и велено было «бити по набату», чтобы шведам «то было грознее». Из посольского донесения не ясно, удалась ли хитрость, но в итоге переговоры

происходили в едином «съезжем» шатре, составленном из двух — русского и шведского, входные пологи которых («верви») были обращены в противоположные стороны.

Еще больше сложностей было в тех случаях, когда границей служила река, как это было на русско-шведском съезде 1575 года. Русская делегация расположилась на одном берегу Сестры, шведская — на другом, а предварительные переговоры велись посередине моста. Представители Юхана III предложили встретиться на их берегу, но русские отвечали: «К вам на мост, на вашу половину, не ступим ни одное мостовины!» Тогда шведы покрыли мост суконной кровлей, сделав подобие шатра, но посланцы Ивана Грозного категорически отказались вести переговоры в таких условиях: «Государских великих дел на мосту не делают!»⁶. Наконец, испросив разрешения и получив согласие, шведы передвинули по мосту свою «кровлю» на русский берег, к посольскому шатру, поставленному у самой воды, при въезде на мост, и «учинили» таким образом «съезжий» шатер. В отчете русских послов перенесение «сукна» объяснялось сильным дождем, но, возможно, это имело и символическое значение: шведские дипломаты не просто пришли в русский шатер, а как бы перенесли на другой берег собственную территорию.

Многое, видимо, пришлось пережить Ивану Грозному, прежде чем он разрешил своим представителям в 1581 году поставить «съезжий» шатер не на прежней границе между Россией и Речью Посполитой, а в Ям-Запольском, неподалеку от Пскова, на исконно русской территории, захваченной в то время войсками Стефана Батория.

Внутри «съезжего» шатра находился длинный стол для заседаний, посередине разделенный занавесом. Обычно каждая из сторон требовала, чтобы именно в ее шатре помещалась большая часть этого стола. Делегации входили в шатер одновременно с противоположных концов, каждая — через свой вход, но при этом старались у входа задержаться, дабы другие вошли первыми. Считалось «честнее», если те будут «дожидаться» внутри шатра в течение хотя бы нескольких секунд. Еще не видя друг друга, партнеры занимали места за столом: русские послы — на своей половине, шведские или польские — на своей, и лишь потом раздвигался занавес, начинались переговоры.

«Съезжий» шатер — своеобразная модель пограничной территории двух сопредельных государств. Не случайно он был составлен из двух шатров. Послы обеих сторон как бы находились на своей земле. Занавес — грани-

ца, своды шатра — небесный купол. Сцена сооружена, и только теперь может быть разыграна пьеса, невозможная в другой постановке: иначе не будет соблюдена «честь» государя, престиж державы.

ОТ РУБЕЖА ДО ПОСАДА

И об Иване III, и о Василии III можно смело сказать, что они больше времени проводили в седле, чем на троне. В той же степени относится это и к Ивану Грозному. Вплоть до последних лет жизни он принимал иностранных дипломатов невысокого ранга не только в столице, но и в Новгороде, Вологде, Можайске, Старице, Александровой слободе, в селе Братошино — своей летней резиденции и даже просто в поле, посреди воинского стана. Хотя, как правило, наиболее значительные миссии доставлялись все-таки в Москву. При Иване III и Василии III Можайск, Новгород, Переяславль-Залесский и некоторые другие города были местом отдельных посольских аудиенций. Единственно возможным местом приема иностранных дипломатов Москва окончательно стала при Федоре Ивановиче и Борисе Годунове. Но и в предшествовавший период большинство посольств прибывало в столицу.

О своем приближении послы заблаговременно должны были известить воеводу пограничного русского города Новгорода, если это были шведы, датчане, посланцы ливонского магистра, или Смоленска, если они двигались из Вены, Вильно и Кракова. Воевода посылал гонцов в Москву, откуда поступали соответствующие распоряжения. После того как послы получали от воеводы грамоту с разрешением на въезд, они вступали на русскую территорию. У рубежа их встречал пристав с небольшой свитой и указывал дальнейший путь. Представителей крымского хана встречали на южных «украинах», в районе Путивля, Воротынска или Боровска, дипломатов английских — в архангелогородской гавани, хотя самовольно сходить с кораблей на берег им тоже не позволялось.

Порядок проезда от границы до Москвы наиболее тщательно был разработан в русско-литовской дипломатической практике — в силу давности и интенсивности контактов. Но тем же правилам отчасти подчинялись и посольства имперские, также проезжавшие через Россию по древней торговой дороге, которая от Вильно вела на Оршу, а затем уже по русской территории — на Смоленск, Дорогобуж, Можайск и Москву.

С 1514 года, когда отвоеванный Василием III Смоленск вошел в состав Русского государства, польско-литовских дипломатов обычно старались провезти в объезд этого города — западного военного форпоста России и важнейшей пограничной крепости, что было продиктовано опасениями шпионажа. В 1526 году приставы не хотели туда впустить даже С. Герберштейна. Позднее, в годы мира с Речью Посполитой, в Смоленске размещали не только имперских, но и польско-литовских дипломатов. Однако с момента вступления в Ливонскую войну Стефана Батория его представителей снова стали провозить «мимо Смоленск по прежнему обычаю».

При въезде иностранных посольств в русские города пушечных салютов обычно не было. Лишь однажды, в 1581 году, когда в Смоленск въезжал папский легат А. Поссевино, воеводе было предписано стрелять «из всего наряду вдруг пыжи» (дать холостой залп из всей крепостной артиллерии). Возможно, это было демонстрацией военного могущества России перед Поссевино, который готовился взять на себя функции посредника в мирных переговорах между Иваном Грозным и Баторием, недаром стреляли «из всего наряду». Но, возможно также, что смоленский салют был всего лишь ответной любезностью, поскольку незадолго перед тем при въезде русского посланника Я. Молвянинова в Рим папские гвардейцы палили из пушек со стен замка Святого Ангела.

Первая официальная «встреча» послов, то есть представление им присланных от царя приставов и передача церемониальных приветствий, устраивалась неподалеку от Смоленска. Место ее было строго определено для миссий различного ранга: чем дальше от города, тем почетнее. Например, торжественная «встреча» польско-литовских «великих» послов происходила на расстоянии десяти верст от Смоленска. В то же время шведских дипломатов даже самого высокого ранга встречали только в трех верстах от Новгорода: послов короля Швеции, не считавшегося «братом» Ивана Грозного, принимали в России с несравненно меньшими почестями, чем представителей польского короля. Но и для последних эта 10-верстная дистанция могла, по-видимому, сокращаться в периоды напряженности отношений или с началом военных действий.

На встречу приставы прибывали с запасом продовольствия и корма для лошадей, с подводами, предназначенными для имущества послов, и в сопровождении несколь-

ких десятков или сотен — в зависимости от значения посольства и его численности — смоленских или новгородских дворян, «детей боярских» и стрельцов. Часть из них следовала с посольством до самой столицы, выполняя задачи охраны и одновременно почетного эскорта. Но старшие приставы чаще всего присылались из Москвы.

Согласно получаемым инструкциям, контакт в пути с послами и лицами их свиты они должны были использовать для сбора сведений о внутреннем положении страны, откуда прибыло посольство, о международной обстановке. Весьма желательным считалось и предварительное выяснение целей, с которыми приехали послы, их намерений и полномочий. К этим щекотливым темам приставы должны были подводить своих собеседников осторожно и ненавязчиво. Требовалось немалое умение, чтобы расположить их к откровенности, но самим не сказать лишнего.

В наказах из Москвы предусматривался подробнейший перечень всех вероятных вопросов, которые могли быть заданы послами в разговоре, и прилагался список ответов на них, причем не исключалась и намеренная дезинформация. Так, приставы при литовском посольстве Ю. Ходкевича в 1566 году были обязаны всячески отрицать введение опричнины. Иногда наказывалось даже выманить или украдкой попытаться прочесть посольские грамоты. В 1559 году приставу каким-то образом удалось «вынять» королевские грамоты у ехавшего в Москву датского гонца. Эти грамоты были прочитаны царю, лишь после чего тот распорядился отдать их датским послам, которые в это время находились в столице и к которым был послан гонец от Фредерика II.

Для сопровождения в Москву представителей крымских и ногайских ханов не только приставы, но и весь конвой обычно присылался из Москвы, а не формировался из числа местных дворян, как то было в Новгороде или Смоленске.

В дороге приставы поддерживали постоянную связь с Посольским приказом, передавая туда собранную информацию, которая могла пригодиться при подготовке к переговорам и при определении характера церемониала приема данного посольства. Извещали о пройденном расстоянии, о поведении послов. Для этого существовали специальные «розсылщики» или «гончики». Пока посольский поезд следовал к Москве, они успевали порой несколько раз побывать в столице и вернуться обратно.

Послы двигались медленнее, чем посланники, послан-

ники — медленнее, чем гонцы. Огромная свита замедляла движение, а кроме того, быстрая езда в русско-литовской дипломатической практике считалась несовместимой с достоинством «великих» послов. Не менее важно было и другое: чем дольше царь, например, будет «дожидатца» королевских послов, тем «честнее» королю. И русские дипломаты за границей возмущались, бывало, попытками заставить их ехать скорее. «Послы ходют, а гонцы гоняют» — говорится в посольских книгах. Но во многих случаях скорость следования иностранных посольств к Москве диктовалась из самой Москвы.

На станах, равномерно располагавшихся вдоль всего пути, заранее заготавливали продовольствие, и темпы движения зависели от темпов заготовки съестных припасов. Накормить и поставить на ночлег нужно было сотни людей и коней (у посольства Ю. Ходкевича было 1282 лошади). В мороз или в распутицу эта задача невероятно усложнялась, и тогда приставам предписывалось «ехать потише», чтобы послам «нужи нигде не было». Если, по дошедшим в Москву известиям, в тех странах, откуда прибыли послы, свирепствовала эпидемия чумы или оспы («моровое поветрие»), то их или на время останавливали в дороге, или нарочно везли кружным, более длинным путем — выдерживали карантин. В 1602 году имперское посольство С. Какаша и К. Текандера, как они сетовали впоследствии, возили «зря по разным местам»⁷. Очевидно, приставы пытались объехать захваченные чумой русские области.

Иногда послов намеренно задерживали в пути по причинам политического порядка, иногда, напротив, торопили. В 1557 году Иван Грозный, готовясь открыть военные действия в Прибалтике, всячески подгонял чересчур медленно, по его мнению, двигавшееся ливонское посольство. Само присутствие в Москве одного посольства могло быть использовано для воздействия на другое, для демонстрации могущества русского государя. Вскоре после того, как кахетинский царь признал сюзеренитет Федора Ивановича, приставу при грузинских дипломатах было велено «ехать спешно, чтоб грузинским послом быти у него, государя, при литовских послех»⁸.

В последние годы правления Ивана Грозного вошло в обычное дело провозить западноевропейские миссии через города, в которых можно было увидеть много нарядно одетых дворян, и прежде всего через Новгород и Псков. Их воеводам предписывалось, дабы при проезде импер-

ских, английских и скандинавских дипломатов «было б в городе людно, всякие б люди были теми улицами», по которым поедут послы. В Псков, например, в таких случаях собирали всех дворян и детей боярских, живущих в 20 верстах от города. В 1597 году на вопрос имперского посла А. Дона о причинах подобного многолюдства пристав должен был отвечать, что все эти всадники в дорогом платье (отчасти полученном во временное пользование из воеводских кладовых) просто «ездут, гуляючи». Однако спустя семь лет их пребывание в подобной ситуации на новгородских улицах уже было объявлено «посольским обычаем»⁹. Еще позднее это нововведение, превратившись в норму, окончательно формализовалось и его воспринимали как традиционное, имеющее давнюю историю.

Между тем оно возникло в конкретной обстановке 80-х годов XVI в. после поражения в Ливонской войне и было призвано, вероятно, показать, будто Новгород и Псков, обезлюдившие за 20 лет почти непрерывных военных действий, процветают по-прежнему. Не исключено, что первые мероприятия такого рода проводились еще в 70-х годах с целью скрыть от иностранных дипломатов последствия новгородского погрома, учиненного опричным войском в январе 1570 года. Известия о кровавых событиях в Новгороде достигли многих европейских столиц, чему немало способствовало польское правительство.

В начале XVII в., когда выдались три неурожайных года подряд — 1601, 1602 и 1603-й, — в России наступил небывалый голод, ставший как бы прологом бедствий Смутного времени. Города и деревни опустошались, сотни тысяч людей умирали. «Многие в городах лежали мертвыми на улицах, многие — на дорогах и тропах с травой или соломой во рту, — писал Петр Петрей, агент шведского короля Карла IX, живший тогда в Москве. — Многие ели траву, кору или корни и тем утоляли голод. Многие ели навоз и отбросы. Многие лизали с земли кровь, которая вытекала из убитых животных. Многие ели конину, кошек и крыс. Да, они ели еще более ужасную и отвратительную пищу, а именно человеческое мясо... Никто не смел открыто приносить на рынок хлеб и торговать им, ибо нищие сразу его выхватывали. Одна мера ржи стоила 19 талеров, в то время как ранее она стоила не более 12 зре. Люди продавали сами себя за гроши и давали в том запись. Родители продавали детей, мужья — жен...»¹⁰. Покинув бесплодные поля, тысячи нищих бродили по российским дорогам, и на страницах посольских книг среди

устойчивых этикетных формул и привычных сочетаний грозным напоминанием об этих трагических годах возникают наказания вроде того, какой в 1604 году получил из Москвы пристав, сопровождавший грузинское посольство. Ему предписывалось внимательно следить, чтобы в тех местах, где будут в дороге останавливаться послы, «болных и нищих не было б, и к стану б нищие не приходили»¹¹. По словам имперского дипломата Г. фон Логау, прибывшего в Москву в том же году, его приставы имели предписание, согласно которому ни один нищий не должен был встретиться послу в пути, а все рынки должны были изобиловать съестными припасами¹². Рассказывали даже, будто эти припасы тайно перевозили с одного рынка на другой по маршруту следования посольства.

Для послов, двигавшихся через Смоленск — Дорогобуж, последний стан перед Москвой («подхожей стан», «останочной ям») бывал обычно в селе Мамоново. Трогаться оттуда без особого указания приставам не разрешалось. Они давали знать о прибытии посольской свиты в Посольский приказ, откуда назначались дата, точное время и порядок въезда в столицу.

ОТ ПОСАДА ДО ПОДВОРЬЯ

Торжественное вступление в Москву иностранных посольств, которое наблюдали тысячи москвичей, было ярким и увлекательным зрелищем. Сценарий его составлялся заранее, а режиссерами выступали разрядные дьяки и дьяки Посольского приказа.

Они определяли день и время вступления в столицу. Последнее зависело от погоды и времени года, но при небольших колебаниях всегда назначалось на утренние часы. Так было во всех крупных городах, не только в Москве. В 1574 году, например, пристав волошского воеводы Богдана, волнуясь, что не сумеет исполнить полученное распоряжение, из-под Новгорода писал наместнику о своем подопечном: «Велели есте, господине, ехать в город завтра на третьем часу дни (от восхода солнца, — Л. Ю.), и он, господине, ездит по своему обычаю, встает рано»¹³.

На последний стан перед Москвой послам присылались лошади, на которых они должны были прибыть к месту официальной встречи. Иногда лошадей подводили на пути следования от ночлега к посаду или вручали непосредственно перед встречей. Лошади предоставлялись по-

родистые, в дорогом убранстве, под расшитыми седлами, часто с парчовыми нашейниками и поводьями, сделанными в виде серебряных или позолоченных через звено цепочек. Эти цепочки особенно удивляли иностранцев. Звенья у них были широкие (в поперечнике до «двух дюймов») и длинные, но плоские — толщиной, как писал один из европейских дипломатов, «не более тупой стороны ножа». Такие же цепочки, только покороче, привешивались иногда и к ногам коней. При движении они издавали звон, который одним казался необычайно мелодичным, другим — странным. Итальянец Р. Барберини, бывший в Москве в 1565 году, сообщал, будто роскошно одетые русские дворяне на пышно убранных конях сопровождают послов, которые едут «на самых скверных и убранных в дурную сбрую лошаденках»¹⁴. Это сообщение совершенно не заслуживает доверия, оно стоит в прямой связи с общей недоброжелательностью Барберини к России и русским. Некрасивые лошади никак не могли способствовать «честью» государя, поскольку присылались от его имени, с его конюшен.

Впрочем, от царского имени лошади предоставлялись только самим послам, а свита получала их от лица «ближних людей». Так, в 1593 году Н. Варкочу и его сыну от Федора Ивановича были посланы аргамак и иноходец, а свитские дворяне от Бориса Годунова, царского шурина, получили меринов. Соответственно разлилось и конское убранство. Дипломатам низшего ранга — по своему социальному статусу «молодым людям» — лошади направлялись не от государя, а от посольских дьяков. Часто гонцы въезжали в столицу и на собственных лошадях, ибо сама церемония их въезда обставлялась не столь торжественно и привлекала гораздо меньше зрителей.

Но даже «великие» послы литовские и все крымские, ногайские и, по-видимому, казанские и астраханские дипломаты въезжали в Москву на своих лошадях. Это были самые красивые кони, в дороге специально приберегавшиеся для вступления в город и следования на аудиенцию (ханским посланцам в случае каких-то непредвиденных обстоятельств лошади могли быть отправлены не с царской конюшни, а просто «с яму»¹⁵, что было совершенно невозможно в отношении дипломатов других стран). Перед Вильно и в Крыму, у ставки хана, русским послам лошадей также не предоставляли, что вовсе не воспринималось ими как бесчестье, а было делом обычным.

Предоставление лошадей — норма позднего происхождения, в посольских книгах она фиксируется со второй половины XVI в. Возникновение ее связано и с западноевропейским влиянием, и с тем, что английские, датские и многие имперские послы прибывали в Россию морским путем и не всегда имели при себе лошадей достаточно хороших для того, чтобы украсить собой посольское шествие. Но постепенно это стало обязательным. В 1604 году английский посол Т. Смит, привезший с собой парадного коня, несмотря на сопротивление, вынужден был пересесть на царского аргамака. В то же время в русско-татарской и русско-литовской дипломатической практике, имевшей свои давние традиции, этот обычай так и не прижился.

Въезжать в город послы должны были непременно верхом, что часто служило причиной ожесточенных споров между ними и русскими приставами. Когда в 1582 году русскому посланнику Ф. И. Писемскому в Англии была предоставлена от Елизаветы I карета, то соответственно и англичанину Дж. Боусу, на следующий год прибывшему в Россию с ответным визитом, Иван Грозный отправил в Ярославль «колымагу». Тем не менее «колымага» осталась на последнем стане перед Москвой, а для торжественного въезда в город послу привели царского иноходца. Правда, о том, что произошло дальше, посольская книга не сообщает, мы узнаем об этом из записок жившего в то время в России английского купца Дж. Горсея. Заносчивому и надменному Боусу показалось, будто присланный ему иноходец не так хорош, как конь под встречавшим его князем И. В. Сидким. Отказавшись сесть на иноходца, Боус пошел пешком, потому что, надо полагать, ехать в карете ему тоже не разрешили. Москвичи, собравшиеся полюбоваться зрелищем посольского шествия, которое на этот раз двигалось со скоростью пешехода, были недовольны. Из толпы раздавались адресованные Боусу насмешливые выкрики: «Карлуха!» Как пишет Горсей, это означало «журавлиные ноги»¹⁶. Вероятно, английский посол обладал долговязой фигурой, и «карлухой» («карлом», карликом) раздраженные москвичи называли его в издевку, что верно подметил, но не совсем точно выразил наблюдательный Горсей.

Такое грубое нарушение церемониальных норм, какое позволил себе Боус, — случай уникальный. Посла простили и оставили инцидент без последствий лишь потому, что Грозный в то время надеялся на заключение англо-

русского союза, направленного против Стефана Батория; кроме того, царь еще не расстался с планами женитьбы на Мэри Гастингс, родственнице Елизаветы I. Впрочем, Боус, активный противник союза с Россией и сторонник сближения Англии с Польшей, вообще вел себя в Москве крайне вызывающе, в чем, наверное, проявились не только его политические симпатии, но и просто дурной характер, высокомерие и презрение к «москвитам».

У английского посла Р. Ли (1601 г.) были большие ноги — во всяком случае, он жаловался на это русским приставам, но следовать по московским улицам в карете, в которой он, как и Боус, прибыл к столице, ему все равно не разрешили («в возку ехать непригожь»). Отказано было и в просьбе позволить хотя бы вместо царского седла положить на лошадь другое, принадлежавшее самому послу. Очевидно, ему удобнее было сидеть в плотно прилегающем к конскому крупу седле западного типа, у которого высокая задняя лука подпирает спину всадника (во времена рыцарской конницы она служила опорой при ударе копьём); у русских и восточных седел выше передняя лука. Приставы были непреклонны и в этом вопросе («своего седла на лошадь класть непригожь»¹⁷).

Ни от предоставленной лошади, ни от ее убранства нельзя было отказываться, как и от прочих форм царской милости, царского «жалованья». А милость, проявленная государем по отношению к послу, должна была быть подчеркнута очевидной, демонстративной. В расчет принимались не только участники шествия, но и публика. Поэтому, когда А. Дону, проявившему максимум упорства, было позволено в конце концов из-за болезни въезжать в город в карете, присланного ему от Бориса Годунова коня торжественно вели по улицам впереди посольской кареты. На этих же лошадях послы следовали на аудиенцию во дворец, но собственностью их они не становились: лошадей, как правило, отбирали при въезде.

Иногда зимой в знак особой милости послам от имени государя присылались сани, устланные шкурами белых медведей. Важна была не езда верхом сама по себе, а езда в экипаже: посольские дьяки восставали именно против нее. И потому, видимо, что возок или карета («колымага», «колебка») в посольской процессии, состоявшей из всадников, очень выделялись, они не давали построить ее по принятым нормам. Приставы, ехавшие рядом с экипажем, из государевых слуг превращались в посольский эскорт, что было недопустимо.

Официальная встреча перед московским посадом имела несравненно большее значение, чем встреча у Смоленска или Новгорода. Здесь оказывавшаяся послам «честь» измерялась уже не верстами, а единицами куда меньшего масштаба. Соответственно возрастало значение каждого метра. Та точка пути, где присланные от государя лица должны были встретить послов, определялась чаще всего следующим образом: «от посадских домов с перестрел», «за деревянным городом с перестрел» и т. д. Единицей измерения служила, таким образом, дальность полета стрелы из лука. Но посланцев шведского короля встречали на более близком расстоянии от Москвы — «от посадских домов сажень десять или пятнадцать», то есть на удалении всего лишь 20—30 м.

Особенно большую роль играло место встречи в русско-литовской дипломатической практике, ибо связи были интенсивными и каждая норма посольского обычая покоилась на значительном числе прецедентов. Это место было строго определено для дипломатов всех рангов, и перенесение его отражало изменение политической ситуации в отношениях между Москвой и Вильно. Послов и посланников встречали возле села Дорогомилово, на противоположном от города берегу Москвы-реки, а гонцов — у переправы, на городском берегу. Но в 1553 году здесь же было встречено и посольство С. Довойно. Причем в Посольском приказе заранее предвидели возмущение послов, которое и последовало: «Почему встреча не по старине?»¹⁸. Иными словами, это была не случайность, не забвение традиции, а намеренное отступление от нее. Послам оказывалась меньшая «честь», поскольку в это время Сигизмунд II отказался признать за Иваном Грозным право на царский титул. На этом же месте встречали и все литовские посольства, прибывавшие в Москву во время военных действий, до заключения перемирия. Если для послов и посланников политическая ситуация могла приближать место встречи к городу, то для гонцов она выражалась порой в отсутствии торжественной встречи вообще. Так, из-за «безчестья», которому в 1567 году подвергался в Вильно гонец полоцкого воеводы (за четыре года перед тем Полоцк был взят русскими войсками), литовскому гонцу В. Загоровскому встречу перед Москвой не устраивали вовсе. Так же часто поступали с польско-литовскими гонцами и в годы войны.

Назначенные для встречи русские официальные лица (их титулы и звания по возможности точно соответствова-

ли титулам и званиям послов) прибывали в указанное место в сопровождении детей боярских, дворян, жильцов и пр. Число их зависело не только от ранга и значения посольства, но и от расположения к нему государя. Не случайно в 1575 году, когда Иван Грозный стал претендовать на польский престол и для этого стремился заручиться поддержкой Максимилиана II, имперское посольство И. Кобенцеля и Д. фон Бухау было встречено пятью сотнями человек, что почти в 20 раз превосходило численность посольской свиты. В то же время для встречи других имперских дипломатов, приезжавших с большим количеством свиты, прибывало обычно до 200 человек.

В общих чертах церемониал встречи был одинаков во всех европейских странах. Посольский поезд, возглавлявшийся «болшим» послом, и процессия «встречников» медленно двигались навстречу друг другу, съезжаясь в условленном месте. Затем свита выстраивалась по обе стороны от послов и от главных русских участников церемонии, и все должны были спешиться. Русские требовали, чтобы первыми сошли с лошадей послы, которые, в свою очередь, настойчиво добивались обратной последовательности. Начинались долгие пререкания, в результате стороны соглашались спешиться одновременно. При этом и русские, и иностранцы слезали с седел крайне медленно, стараясь хотя бы на долю секунды позднее соперников коснуться сапогами земли. Возможны были и различные уловки, в искусности которых западноевропейские дипломаты не уступали московским. С. Герберштейн, например, весьма гордился проявленной ловкостью: сделав вид, будто слезает с коня, он вновь быстро забрался в седло, когда «встречники» уже стояли на земле. Подобные ухищрения были вызваны опасением умалить «честь» своего государя, равно свойственным обеим сторонам.

Затем послы с непокрытыми головами должны были выслушать церемониальное царское приветствие, переданное через старшего «встречника». К началу XVII в. текст его, прежде краткий, сильно разросся в связи с общим усложнением этикета и часто уже не произносился, а зачитывался. По ироническому замечанию Т. Смита, боярин В. И. Масальский, встречавший его перед посадом, «словно великовозрастный ученик, которому стыдно заучивать наизусть, прямо с бумаги прочитал свое поручение»¹⁹.

Шведским послам — единственным из всех — приветствие передавалось не от лица государя, а от имени «при-

казных людей». Казалось бы, аналогичным образом должны были поступать и с послами датскими или грузинскими, чьих повелителей русские государи тоже не признавали «братьями». Но эта норма, как и другие подобные (более близкое к городу место встречи и т. д.), применялась лишь в отношениях со Швецией. Она была обусловлена не только идейными соображениями (неравенством российского и шведского монархов), но и реальной политической ситуацией (соперничеством в Прибалтике). Приветствие от имени «приказных людей», обращенное к королевским послам, в специфической форме выражало отношение русских дипломатов к политике Швеции.

Послам восточным, прежде всего крымским и ногайским, прямо к месту встречи присылались от царя дорогие шубы. В любое время года послы тут же надевали их. В русской дипломатической лексике существовал даже особый термин — «встречное жалованье». В отличие от предоставлявшихся западным дипломатам лошадей, эти шубы переходили в полную собственность ханских посланцев и назад в казну не отбирались. Но в какой-то степени эти нормы имеют под собой общую основу: в них публично проявлялись богатство и щедрость государя. Кроме того, крымские послы, ехавшие по улицам Москвы в пожалованных шубах, служили «чести» царя: на Руси одежду мог дарить лишь старший младшему, подчиненному или подданному, и поэтому русским дипломатам за границей строжайше запрещалось показываться на людях в подаренном им чужеземном платье.

После взаимопредставления и произнесения стереотипных церемониальных формул все вновь садились на коней и процессия чинно следовала в город, на указанное подворье. Дьяки Разрядного приказа, в чьи обязанности входил контроль за соблюдением местнических норм, устраивали всех «по местам», в зависимости от рода и звания, следили, чтобы послам никто не переезжал дороги и «задору им не чинил», поскольку на улицах толпились любопытные москвичи, причем полюбоваться зрелищем посольского шествия многие выезжали верхом.

По традиции приставы и «встречники» должны были ехать с послами в ряд, справа от них. Правая сторона считалась более почетной (у мусульман — левая), и если послам такой порядок не нравился, а обычно так и случалось, то русские располагались от них по обе стороны: старший «встречник» ехал справа, остальные — слева

(при сопровождении посольств мусульманских — наоборот).

С. Герберштейн писал, что на Руси много трубачей и, когда они трубят все вместе, образуются «чудные и необыкновенные созвучия». Однако трубачам посольской свиты не разрешалось трубить при въезде в столицу. Считалось, что в мирных миссиях это было ни к чему. Когда трубачи польского посольства в 1570 году, «едуци посадом, в трубы трубили, чего изстари у прежних послов не бывало», это вызвало недовольство, тем более что порядок въезда оговаривался заранее и поляки нарушили его умышленно, дабы въехать в Москву как победители. Позднее русские дипломаты говорили в Кракове, что королевские послы въезжали под звуки труб, «кабы после некоторого побою»²⁰.

Древнерусский книжник, описывая прибытие послов к вавилонскому царю Навуходоносору, сообщал: «А как близ врат градных приидут, и тогда триста кузнецов начнут в мехи дути, разжегши уголье, и тогда дым и искры». Кузнецы в Москве послов не встречали. Зато во второй половине XVI в. их неизменно старались провезти мимо нового Пушечного двора — видимо, для того, чтобы продемонстрировать мощь государства. С той же целью с начала XVII в., когда были воздвигнуты стены Белого города, маршрут следования посольского поезда на подворье, удлиняясь, частично пролегал вдоль этих стен.

В целом въезд иностранных послов в Москву был своего рода прологом к дальнейшим сценам церемониального спектакля, которые разыгрывались уже через несколько дней, при следовании во дворец и в самом дворце.

В МОСКВЕ: ГОСТИ ИЛИ ПЛЕННИКИ?

ЗА ВЫСОКИМИ ТЫНАМИ

В 1570 году уже упоминавшееся шведское посольство П. Юстена после возвращения из ссылки было размещено в Москве «на Нагайском дворе», то есть на подворье, специально предназначенном для ногайских дипломатов и купцов. Последним никогда не оказывали больших почестей, об их удобствах заботились мало, и, надо полагать, подворье это было достаточно бедным. Европейские посольства в столице не размещали на татарских подворьях. Случай со шведами — единственный и стоит в одном ряду с прочими унижениями, которым разгневанный царь подверг посольство своего врага — шведского короля Юхана III.

Предоставление подворья входило в систему полного государственного обеспечения послов и свиты всем необходимым. Система эта сложилась именно в Москве; в Новгороде и Пскове времен их самостоятельности немецкие и скандинавские послы жили в домах своих соотечественников-купцов и содержания от городской казны не получали. В Москве подворье назначали власти, возможности выбора у послов не было. Лишь Дж. Боусу, с которым царь связывал далеко идущие планы, в нарушение обычая приставы предложили самому выбирать между отведенным подворьем и двором английской Московской компании.

Чем ближе посольское подворье находилось к резиденции монарха, тем оно считалось почетнее. Когда в 1584 году русского посланника А. Измайлова поселили в полутора верстах от Вильно, он возмутился: «А преж сего государя нашего послов и посланников в деревне не ставливали, а ставили их блиско королева двора». В 1604 году русские послы были недовольны тем, что грузинский царь разместил их далеко от дворца, а «чеушу» турецкого султана «многую честь воздавал и ставил его

подле своего двора»¹. Очевидно, и Ногайское подворье, где Иван Грозный в насмешку поселил шведское посольство, находилось на окраине столицы.

В Москве иностранные дипломаты размещались вне стен Кремля, в городе. Это считалось в порядке вещей. Недаром тот же Измайлов требовал в Вильно, чтобы его «поставили на посаде». Если подворье отводилось за пределами Москвы, то это имело свои причины. Один из немногих случаев такого рода произошел в 1517 году, когда «великих» литовских послов, прибывших для заключения мирного договора, Василий III приказал поселить в Дорогомилове. В это время как раз возобновились военные действия — князь Острожский совершил удачный набег на псковские «украины», о чем послы в дороге узнать еще не успели. Известие об успехе войск Острожского могло повлиять на их позицию в ходе переговоров, сделать ее более жесткой. В городе слухи, возможно, просочились бы за ограду подворья, а в Дорогомилове послов легче было изолировать. Но едва поступило сообщение об отражении набега и отступлении литовских отрядов, посольство незамедлительно было переведено в Москву.

Гонцов, прибывавших с небольшой свитой, размещали на частных дворах — одном или нескольких (если свита превышала 15—20 человек), но обязательно соседних, примыкавших друг к другу. Так, в 1568 году крымский гонец Девлет-Кильдей (свита — 43 человека) был размещен «на большом посаде, на христианских дворах» (в домах у горожан)². В начале XVI в. на частных дворах часто располагались и дипломаты более высокого ранга. Например, С. Герберштейн в 1517 году жил в доме князя П. Ряполовского. Литовские посольства с их многочисленной свитой размещались на более просторных монастырских и «владычных» подворьях (в Дорогомилове находилось подворье ростовского архиепископа), поскольку в подавляющем большинстве дипломаты Великого княжества Литовского были западнорусского происхождения и исповедовали православие. Но мусульман православные иерархи и монастыри приютить, естественно, не могли, и в связи с этим в Москве издавна были построены особые Крымские и Ногайские подворья, где жили не только татарские дипломаты, но и купцы. С 1526 года упоминается Литовский посольский двор на Успенском овраге, в районе современных улиц Белинского и Огарева. Этот двор просуществовал до конца XVI в. Обычно на нем располагались польско-литовские и шведские посольства, реже —

имперские, и то лишь самые представительные. С начала XVII в. вместо него был отстроен новый, каменный посольский двор на Ильинке — трехэтажный, с галереей-гульбищем и обширной территорией внутри ограды, использовавшейся и для хозяйственных нужд, и для развлечений.

Пребывание иностранных дипломатов в Москве затягивалось порой на несколько месяцев, и в течение всего этого времени, исключая дни аудиенций и переговоров, они постоянно должны были находиться у себя на подворье. Для литовских дипломатов на подворье существовала своя церковь, а посещение ими службы в кремлевских соборах строго регламентировалось и приурочивалось обычно к высочайшей аудиенции или очередному туру переговоров. В 1517 году члены литовского посольства жаловались Герберштейну, что «как зверей в пустыне, так их стерегут». А почти через 100 лет посланцы Сигизмунда III Вазы говорили боярам: «Вся наша волность — видим неба столько, колько над нами, а земли столько, колько на дворе под нами»³. Но сам Герберштейн пользовался гораздо большей свободой. Он ездил с Василием III на охоту и по приглашению великого князя любовался медвежьей потехой — единоборством человека, вооруженного «деревянными вилами» (рогатиной), с медведем. Особенно тщательно охраняли в Москве именно польско-литовских и шведских дипломатов, ибо отношения напряженности с Речью Посполитой и Швецией в XVI в. были не исключением, а нормой.

На литовском посольском дворе возле Успенского оврага существовала отлаженная система «береженья». Сам двор был огражден высоким тыном, на ночь входы и выходы замыкались решетками, для чего назначались особые «решеточники». Один из приставов и с ним определенное число людей, приблизительно равное численности посольства, находились на дворе «безотступно». По ночам наряды патрулировали вдоль ограды «обходною улицей», а в Успенском овраге выставлялись дополнительные сторожевые посты. Никто из послов и свиты не имел права выходить со двора, никто, кроме приставов и стражи, — входить туда. Не разрешалось никому из иностранцев и москвичей разговаривать с послами через ограду; сделавших такую попытку предписывалось немедленно арестовывать и доставлять в Посольский приказ для разбирательства. Даже поить лошадей послы могли только из колодцев — на дворе их было несколько. Послы

обычно заявляли, что вода в этих колодцах несвежая, и в случае крайнего недовольства допускалось послабление: раз в день под охраной позволялось водить лошадей на водопой к реке, да и то не всех, а только лучших, принадлежавших самим послам. Зимой на Москве-реке или Неглинке устраивали «прорубь особную», которой пользовались лишь члены посольства. Но иногда, как правило, во время военных действий, послам отказывали и в этом, а воду для лучших лошадей в бочках возили с реки (проточная считалась здоровее). Приставы и находившиеся с ними в карауле дворяне менялись ежесуточно, сторожей и «решеточников» сменяли раз в неделю.

Возможности контакта послов с населением, иностранными купцами и собственным правительством исключались практически полностью. Последнее было особенно важно. Скажем, гонец из Вильно или Стокгольма не имел права без ведома царя передать находившимся в России польско-литовским или шведским послам дополнительные королевские инструкции. Такого гонца размещали отдельно от послов, а встреча их могла произойти лишь под непосредственным наблюдением русских приставов. Делалось это для того, чтобы послы не могли узнать о каких-то изменениях в международной обстановке, выгодных для Речи Посполитой или Швеции, что могло бы повлиять на их позицию в ходе переговоров.

Строгость охраны диктовалась и опасениями шпионажа. Соответственно иностранные послы в Москве получали разрешение передать определенное известие своему правительству только в том случае, если с ним предварительно ознакомится сам царь. Во всех европейских странах сбор информации входил в обязанности посла. В те времена, по замечанию английского историка Г. Никольсона, еще не существовало «ни газет, ни иностранных корреспондентов». В Москве внимательно следили, чтобы за рубежом не просочились какие-либо нежелательные для русского правительства сведения. Любопытный случай произошел в 1528 году, когда на московском подворье заболел и умер турецкий посланник. При описи оставшегося после него имущества приставы случайно обнаружили письмо, в котором покойный извещал султана о том, что Василий III, узнав о поражении турецких войск в Венгрии, на радостях приказал звонить в колокола⁴. Разумеется, такое опасное сообщение, способное повредить русско-турецким отношениям, было тут же изъято.

Понятно, почему в 1607 году посольских дьяков так

встревожило известие, что польский посол С. Витовский привез с собой в Москву клетку с двумя голубями, которые, как приставы узнали у слуг посла, прежде были с Витовским в Стамбуле «на посольстве». Голуби могли быть использованы для передачи секретной информации, и приставам следовало осторожно выяснить, с какой целью посол привез этих птиц — «учены ль они чему или для которого воровства, и во Царегороде те голуби с ним для чего были»⁵, но о результатах этого расследования нам, к сожалению, ничего не известно.

Надо заметить, что дипломатического шпионажа боялись и в Западной Европе. Филипп де Коммин, советник Людовика XI, справедливо полагал, что нет лучшего соглядатая и собирателя слухов, нежели посол. В XVI в. гражданин Республики Святого Марка, осмелившийся говорить с иностранным послом о государственных делах, приговаривался к штрафу в 2000 дукатов или изгнанию, а в Англии и столетием позже даже простой разговор с дипломатом другой страны грозил члену парламента потерей места, хотя в силу ряда причин иностранные послы в Западной Европе пользовались большей свободой, чем в России XVI в.

Однако в полном объеме русская система «береженья» действовала лишь во время войны с тем государством, откуда прибыло посольство. Литовского гонца Б. Довгирда, который приехал в Москву уже после заключения перемирия, велели сторожить не так, «как в розмирицу». В 1536 году к литовскому посольству было приставлено большое число детей боярских; это объяснялось следующим образом: «Ино б их было с кем уберечи, заньже еще государь с королем не в миру»⁶. И не случайно лишь после заключения Столбовского мира в 1617 году шведы просили предоставить их послам в Москве свободу передвижения. Иными словами, «береженье» послов носило не только прагматический, но и символический, церемониальный характер, поскольку попытки диверсий со стороны иностранных дипломатов или их самовольного отъезда из Москвы были маловероятны. Мерой предосторожности против попыток такого рода можно, пожалуй, считать лишь правило, согласно которому у крымских послов отбирались все лошади, если хан в это время совершал набег на русские земли.

Представитель враждебного государства — полупленник, дружественного — гость, но в XVI в. отношения со Швецией и Речью Посполитой дружественными не были.

Послы же других государств пользовались относительной свободой. Английские дипломаты могли беспрепятственно ходить по городу и «в торг», принимать у себя на подворье соотечественников-купцов. Англичанин А. Дженкинсон, например, в 1561 году присутствовал на празднике водосвятия и наблюдал, как крестили в проруби татар и детей, как поили освященной водой лучших лошадей с царских конюшен. На подворье у папского посла А. Посевино «были сторожи для всяких дел, а не для береженья, не по тому, как живет (бывает. — Л. Ю.) у литовских послов»⁷. Правда, гулять по Москве имперским и английским дипломатам разрешалось в сопровождении русского эскорта, но, несмотря на это, имперский посол И. Кобенцель в 1575 году писал, что даже в Риме и Испании ему трудно было бы рассчитывать на лучший прием. Но, замечает он, поляков, татар и турок русские принимают «по заслугам, то есть хуже, чем турки принимают наших послов»⁸. Однако тут Кобенцель явно выдает желаемое за действительное. Хотя ханских дипломатов, и правда, встречали в Москве без особой пышности и торжественности, а подворья их были беднее, чем те, что отводились европейским послам, но никаких указаний относительно их «береженья» в посольских книгах нет. Даже задержанным и сосланным в Ярославль членам крымского посольства Янболдую было разрешено «в город и за город, и в торг ходити»⁹. Шпионажа со стороны ханских посланцев не опасались, а символичность всех вообще элементов русско-крымского посольского обычая была невелика.

Турецким дипломатам также предоставлялась некоторая свобода. Но в 1591 году, когда в Москву прибыло персидское посольство, турок заперли на подворье: русское правительство не хотело, дабы шах и султан, давнишние и непримиримые враги, узнали о том, что Москва поддерживает отношения с обоими. Аналогичные меры предпринимались довольно часто. Г. Штаден точно подметил, что иногда два-три иностранных посла в России, живя в одном городе, ничего не знают друг о друге. Но бывали случаи и прямо противоположные, когда тоже по причинам политического порядка прибытие одного посольства намеренно демонстрировалось другому. Дипломатическим искусством считались и умолчание, и специально подобранная информация, которую отнюдь не всегда выражало слово.

По отношению к представителям дружественных дер-

жав строгости сохранялись лишь до первой аудиенции во дворце. Имперскому посланнику Г. Хойгелю в 1587 году говорили, что «еще он у государя не был, и его людей гулять спускать непригоже, и как у государя он будет, и ему, и его людем тогда поволность будет»¹⁰.

В Москве, конечно, остерегались разглашения послами целей их миссии до того, как об этом узнает правительство. Но важнее было другое. Строгая охрана послов до аудиенции имела прежде всего церемониальное значение: посол прибывал к государю и именно перед ним должен был предстать в первую очередь. Габсбургский посол С. Какаш, которому в 1602 году было сделано такое же заявление, как и Хойгелю, справедливо рассудил, что причиной этого служит опасение «умалить достоинство великого князя, если кто другой станет говорить с посланными к нему»¹¹. В Западной Европе правила дипломатической вежливости также требовали, чтобы посол никому не наносил визитов до первого представления монарху¹². Но в Москве подобные правила проводились в жизнь с той жесткостью, которая была выработана в русско-литовских отношениях. Традиционный для этих отношений суровый режим содержания послов, отчасти распространенный и на представителей других держав, смягчался медленно. Предоставление свободы послам после первой аудиенции у царя стало нормой лишь в XVII в.

«КОРМ» ПОСОЛЬСКИЙ

С момента встречи иностранных дипломатов всех рангов у рубежа России они переходили на полное государственное обеспечение продовольствием. В Москве такой порядок считали единственно правильной формой содержания посольств, и в 1585 году Л. Новосильцев, будучи в Вене, с удивлением отметил, что испанский и папский послы, живущие при дворе императора, «едят свое, а не цесарское»¹³. Голландец И. Масса в своих записках неоднократно сообщает, что тот или иной посол в Москве был освобожден царем от всех издержек — для него это обычай, который заслуживал одобрения и незаслуженно не был принят в Европе.

Возможно, такая традиция сохранилась на Руси еще со времен междукняжеских съездов домонгольского периода, когда их участники содержались за счет того князя, в чьей земле находились. Во всяком случае, не стоит

выводить эту норму целиком из восточных образцов, как делал русский историк Н. И. Веселовский¹⁴.

Действительно, если в России иностранные дипломаты получали съестные припасы с момента вступления на русскую территорию и до пересечения ими границы в обратном направлении, то в Персии, например, русские послы начинали получать «корм» лишь после первой аудиенции у шаха (в России это было принято по отношению к частным лицам, удостоившимся высочайшей аудиенции, — купцам и т. д.). И в Персии, и в Турции выдача продовольствия прекращалась после прощальной аудиенции («отпуска»). В 1570 году русскому посланнику И. П. Новосильцеву говорили в Стамбуле, что у султана «в обычае держит: как которых послов отпустит назад, и по тот день и корм дают». Новосильцев заявил в ответ: «Которых земель послы и посланники у государя царя и великого князя бывают, и тем послом кормы дают, доколе они на Москве пробудут, да и в дороге им кормы дают же и до государевы украины». Для Новосильцева это был вопрос престижа: в Турции к нему должны были относиться так же, как в России относились к турецким послам. В итоге ему посулили продолжать выдачу продовольствия, причем заявили, что тем самым султан его «учинил всех болши послов», ибо остальным «после отпуску корму некоторым не даывал». Однако, несмотря на столь лестное и многообещающее заверение, Новосильцеву, как он отмечает в своем статейном списке, «корму турецкого на путь не дали ничего»¹⁵.

В Крыму русские и польско-литовские дипломаты часто питались за свой счет; припасы на обратную дорогу получали далеко не всегда, и то в небольшом количестве. В 1614 году, например, находясь при дворе ургенчского хана, русское посольство «корму» не получало вовсе¹⁶. Если обычай снабжения послов продовольствием в какой-то степени и был заимствован из восточной дипломатической практики, то в России он приобрел новые черты. Посол был гостем государя, и обращение с ним во многом объяснялось законами гостеприимства, которые были схожи у разных народов.

Прибывая лично к государю, послы получали «корм» непосредственно от его имени. Дополнительно прикупать продовольствие считалось «непригожим» — этим ставилась под сомнение царская щедрость. Датчанин Я. Ульфельдт, бывший в Москве в 1578 году и проезжавший через Псков, рассказывает о наказании некоего псковича,

который продал немного молока посольским слугам. Урон государевой «чести» наносился и в том случае, если послы отвергали присылавшийся «корм»¹⁷.

«Корм» выдавался непременно натурой. Когда в 1599 году грузинским послам были выданы на пропитание деньги, хотя мед и пиво продолжали поставляться, это вызвало недовольство в Москве и даже послужило предлогом для отстранения от дел дьяка В. Я. Щелкалова, который после вступления на престол Бориса Годунова поддерживал связи с боярской оппозицией¹⁸. И повод найден был удачно: лично выдавая послам деньги, а не «корм», направлявшийся от имени самого царя, Щелкалов как бы ставил себя между государем и послами, нарушал их непосредственную связь друг с другом.

Продовольствие выдавалось в достаточном количестве. И. Кобенцель писал, что содержание, которое определили его посольству, «не только для тридцати, но и для трехсот человек» было бы хорошо. Лишь изредка возникали недоразумения из-за качества и ассортимента продуктов. Дж. Боус, например, который вообще вел себя в Москве вызывающе, жаловался, что «дают ему в куров место да в боранов место ветчину, а он к той есье не привык». Иногда имперские дипломаты просили вместо пива и меда «вина ренского», а литовские послы в голодные годы начала XVII в. на переговорах с боярами однажды пригрозили, что на аудиенцию захватят с собой «осетрины штуку» и фляжку меда, дабы показать Василию Шуйскому, какой плохой «корм» им дают.

Европейских послов всегда снабжали лучше, чем крымских и ногайских, у которых при Иване III даже отбирали назад шкуры съеденных баранов (впрочем, в то время и русские послы должны были возвращать в казну шкуры овец, съеденных ими по дороге до границы). Впоследствии такая экономия считалась уже недостойной государя. Однако после смерти Ивана Грозного того же Боуса, лишившегося высочайшего покровительства, упрекнули в том, что, отказываясь от свинины, он хочет нажиться на бараньих шкурах.

«Корм» иностранным дипломатам выдавался в зависимости от их ранга. Здесь, как и во многих других элементах русского посольского обычая, своеобразной единицей измерения служили нормы, принятые в отношении представителей Речи Посполитой. Так, А. Поссевино предписывалось давать продовольствие «в ту версту, как литовским болшим послам». В XVII в., по свидетельству

Г. Котошихина, была принята еще более строгая регламентация: посланник получал такое же количество «корма», как третий член «великого» посольства, гонец — как посольский «секретариус», а свита посланника — «против посольской вполу» (в два раза меньше). Эти сложные подсчеты было удобнее производить, поскольку вместо продовольствия послам уже зачастую выдавались деньги, а припасы они покупали сами.

Кроме «корма поденного», или «рядового», составлявшего обычный ежедневный рацион, выдавался иногда «корм приездной», знаменовавший прибытие посольства в столицу. После заключения дипломатического соглашения или просто после аудиенции мог назначаться «корм почестной» — добавка к поденному. В 1592 году, например, в день аудиенции у Федора Ивановича польский посланник П. Волк, члены его миссии и свита (всего 35 человек) получили следующую «еству»: 3 баранов, «яловицу», 2 тетеревов, 2 утят, 10 кур, калач крупитчатый, калач «смесной», 15 калачей «толченых», по ведру меда вишневого и малинового, по 2 ведра меда «боярского» и «обарного», 3 ведра паточного меда, 15 ведер меда «княжого», ведро вина, ведро сметаны, пуд масла и 300 яиц.

Количество и качество «корма» зависели еще и от почестей, оказывавшихся данному посольству. Эта зависимость четко прослеживается со второй половины XVI в. Если Поссевино получал даже пряности («пряные зелья»), то посольству П. Юстена «корм велели давати менши прежних свейских послов». Это был знак нерасположения государя, как и размещение шведов на Ногайском подворье. Когда в 1563 году литовские послы не выполнили распоряжения приставов и отказались въезжать в Москву в указанное время (вечером, а не утром, поскольку из-за военных действий пышной встречи им не полагалось), то царь приказал выдавать послам съестные припасы в таком количестве, что «толко б мало им мочно сытыми быти». В 1607 году в ответ на угрозу польских послов самовольно уехать из Москвы им было велено «за их дурость корму давати всякого половину»¹⁹.

Подобных примеров много, однако не заслуживают доверия некоторые известия иностранцев о полном лишении послов продовольствия. Так, И. Гофман утверждал, будто за отказ титуловать Грозного царем («императором») ему два дня не давали ни пищи, ни воды²⁰. Но по отношению к представителю Габсбургов это еще тем менее вероятно, что несколько ранее по аналогичному пово-

ду литовскому дипломату А. Станиславичу царь лишь «почестного корму послати не велел, а велел ему дати корм рядовой»²¹. И уж вовсе неправдоподобно сообщение И. Массы: по его словам, в 1601 году Борис Годунов, разгневавшись на Л. Сапегу, посла Сигизмунда III Вазы, вынудил членов посольства по дорогой цене покупать даже воду²². Если Иван Грозный в гневе еще мог допустить такую выходку, то осмотрительный Борис Годунов никогда бы не пошел на подобное нарушение посольского обычая. Скорее всего эту легенду распространяли сами же послы с целью показать жестокость царя и подчеркнуть характер перенесенных ими лишений.

«Убавка корма», а также отказ в отдельных его разновидностях были знаком царского нерасположения, средством воздействия на послов в рамках русского посольского обычая. Но полностью прекратить снабжение продовольствием считалось невозможным, ибо это было уже нарушением самого посольского обычая, многие нормы которого покоились на представлениях о после как госте государя.

ПУТЬ ВО ДВОРЕЦ

ОТ ПОДВОРЬЯ ДО КРЕМЛЯ

В России XVI в. за дипломатами всех стран и всех рангов признавали безусловное право быть принятыми государем, что являлось первым из основных прав посла.

Число аудиенций у царя, которых удостоивался иностранный дипломат, зависело от его ранга, от характера миссии и отношений между двумя странами. Это число могло быть бóльшим или меньшим, но по крайней мере единожды перед царскими очами представляли даже простые гонцы. Послы и посланники бывали на аудиенции не менее двух раз — обязательным считалось представление их государю и прощание с ним («отпуск»). В приеме отказывали в редчайших случаях. Так, в 1577 году Иван Грозный не принял шведского гонца, потому что «он латыш, молодой человек». А через восемь лет другому посланцу Юхана III, привезшему грамоту, где шведский король вспоминал, по-видимому, обиды, нанесенные ему Иваном Грозным, было сказано: «Очей своих государь наш (Федор Иванович. — Л. Ю.) видети тебе не велел для того, что с тобою прислал Яган король грамоту с укорительными словы про отца государя нашего»¹.

Из всех аудиенций, назначавшихся послу, самой торжественной была первая, на которой он представлялся царю, вручал грамоты и подарки.

О времени предстоящей аудиенции послов официально извещали заранее, потом предупреждали накануне и еще раз напоминали в утро назначенного дня. В конце XVI в. послы предварительно получали подробное предписание о правилах придворного этикета и о том, как им следует себя вести по дороге в Кремль и во дворце. Беседу проводили приставы или посольские дьяки. Они же задолго до дня аудиенции начинали просить у прибывших дипломатов привезенные ими грамоты. Иногда с этой целью на подворье к послам «великим» являлись даже специальные де-

легации, состоявшие из бояр и думных людей, чтобы получить посольские документы или хотя бы прочесть их: в зависимости от содержания грамот послам при следовании на аудиенцию и в самом тронном зале оказывалась большая или меньшая «честь». Впрочем, лишь гонцы отдавали свои грамоты до приема у государя, да и то не часто. Как правило, подобные попытки оказывались безуспешными, и церемониал первой аудиенции строился «вслепую», в зависимости от общего состояния двусторонних отношений в данный момент. Но в дальнейшем, если посол еще раз предстал перед государем, церемониал последующих аудиенций корректировался в зависимости от характера его миссии.

Обычно иностранных дипломатов сопровождали на аудиенцию их же приставы. За крымскими и ногайскими послами прибывали толмачи Посольского приказа. Приставы отправлялись из дворца, когда там все уже было готово к приему, и послы к условленному часу тоже должны были приготовиться и ждать, чтобы выехать немедленно по прибытии приставов на подворье. В посольской книге с возмущением описано поведение посольства Ю. Ходкевича в 1566 году, члены которого ввели оскорбительное для русского государя новшество («у тех послов ново учало быти»): как раз в то время, когда им нужно было ехать в Кремль, они решили отстоять обедню в церкви у себя на подворье и не вышли к приставам до ее окончания. Сделано это было с очевидной целью — заставить ждать себя во дворце, чем Ходкевич «с таварыщи» надеялись поднять престиж короля. «А у прежних послов того в обычае не было, чтобы государю послов долго ждати»², — с осуждением говорится в посольской книге. Долгое ожидание было унизительно для царя, и на следующей аудиенции Иван Грозный оплатил представителям Сигизмунда II Августа той же монетой: приставы доставили их в Кремль к положенному сроку и вынудили ждать, пока царь отстоит обедню в Благовещенском соборе.

Приблизившись к подворью, на котором размещались иностранные дипломаты, приставы спешили к воротам, а послы в это время появлялись на крыльце. Затем те и другие медленно сходились посреди двора, причем первые стремились отнести место встречи ближе к воротам, а вторые — ближе к лестнице, чтобы таким образом пройти меньшее расстояние: это было «честнее». Если посольство было размещено на нескольких частных подворьях, оно должно было загодя собраться на одном, куда и приезжа-

ли приставы. Численность отправленного с ними почетного эскорта, который должен был сопровождать иностранных дипломатов на аудиенцию, зависела от ранга и значения данной миссии. Если имперского посла А. Дона эскортировали 120 русских дворян и детей боярских, то прибывшего в том же году от императора гонца Б. Мерле — всего 20.

Следовать на аудиенцию, как и въезжать в город, послы должны были непременно верхом или в санях. Редкие исключения, которые могли быть превратно истолкованы как пример самовольного нарушения обычая в ущерб государевой «чести», старательно объяснялись в посольских книгах, указывались причины, побудившие в данном случае отступить от правила. Когда А. Дон с немалым, надо полагать, трудом добился разрешения следовать на аудиенцию в собственном экипаже («в возку немецком непокрытом»), то посольский подьячий, описавший этот факт, счел необходимым оговориться: имперский посол ехал в экипаже, ибо «у него болезнь в ногах, камчюг («камчужной болезнью» на Руси называли подагру. — Л. Ю.), и он бил государю челом, что верхом ему ехать не мочно»³. Дело происходило в 1597 году, при Федоре Ивановиче, но при его отце такое нарушение принятого порядка вряд ли было возможно даже при «челобитье» посла: Грозный с его подчеркнутой приверженностью к традиции не считал бы эту болезнь уважительной причиной для пренебрежения этикетом.

Обычно время посольских аудиенций назначалось на первую половину дня. Правда, Иван Грозный принимал иногда крымских послов «после вечерни» (по окончании вечерней службы в Благовещенском соборе), а Т. Рэндольф, посол и доверенное лицо английской королевы, однажды был приглашен во дворец даже глубокой ночью, но в этих случаях прием у царя носил подчеркнуто неофициальный, частный характер. Самым удобным и естественным для высочайшей аудиенции в Москве считали время между заутреней и обедней. Это было обусловлено еще и тем, в частности, что после приема во дворце послов могли пригласить на торжественный обед, а обед по русским обычаям устраивался примерно в полдень.

Но были и другие причины, более важные. Когда в 1595 году М. И. Вельяминову в Праге предложили быть на приеме у императора Рудольфа II «после стола, о вечерне», он решительно воспротивился, заявив, что в такое время «на посолство ехать непригоже». И дело тут не

только в щепетильном следовании правилам, принятым в России. Аудиенция — это «честь» для посла и одновременно знак уважения к приславшему его монарху, что должно проявляться всенародно, публично. Значит, «непригоже» послу ехать во дворец по вечерней Праге, когда на улицах малоллюдно. В итоге Вельяминов добился, чтобы аудиенцию перенесли на первую половину дня — «по русскому обычаю»⁴.

В Москве посольское шествие в Кремль обставлялось еще большей пышностью, чем въезд в столицу. По свидетельству иностранцев, толпы москвичей заполняли улицы, если посольство было значительным, на Красной площади прекращалась торговля. С. Герберштейн писал: «Из окрестностей и соседних мест по приказанию князя созывают народ, крепостных людей и воинов всякий раз, как надобно вести во дворец знатных послов от иностранных государей; около этого времени запираются все лавки и мастерские в городе, продавцов и покупателей гонят с площади...»⁵. Хуан Персидский (перс-католик, воспитанник испанских иезуитов), с восточной цветистостью описывая следование шахских послов на прием к Борису Годунову в 1600 году, сообщал, будто в такие дни «указом объявляется, чтобы никто не работал». Он наивно считал это величайшим благом для русских, которые, по его мнению, «в обыкновенные праздники в течение года ничуть не стесняются работать целый день»⁶. Что касается специального царского указа, это известие можно оставить на совести рассказчика, не отличавшегося особой объективностью. Но факт, что первые аудиенции наиболее значительных посольств часто назначались в Москве на воскресные и праздничные дни.

Автор «Казанской истории» писал, что иностранные послы прибывают в Россию «с честью и з дары на большую славу самодержцу нашему»⁷. Да и Герберштейн с присущей ему проницательностью сумел верно оценить смысл этого многолюдства — «толпами подданных показать чужестранцам могущество князя, а такими посольствами от иностранных государей явить всем его величие»⁸. Впрочем, иностранцы сильно преувеличивали элементы государственной регламентации такого обычая, считали его именно «мероприятием», что не совсем так. Сотни и тысячи любопытных москвичей сами, без всякого принуждения, стекались полюбоваться зрелищем посольского шествия, посмотреть на чужестранцев, и не случайно, как замечает тот же Герберштейн, женщины в эти дни

наряжались и румянились, как на праздник, хотя уж их-то никакие указы не обязывали выходить на улицу.

С помощью этой праздничной атмосферы, которая сама по себе питала представление о величии царской власти, решались порой и проблемы внутривосточного порядка. Так, в 1598 году, когда на престол только что вступил Борис Годунов, явившемуся в это время в Москву имперскому гонцу М. Шиле предложили назваться не гонцом, а послом. Сам Шиле впоследствии писал, что такое предложение, нарушавшее общепринятые дипломатические нормы, сделано было «ради большего стечения народа в почет великому князю»⁹. Чем выше ранг представителя иностранной державы, тем торжественнее обставлялось его шествие во дворец. Шиле был первым дипломатом, прибывшим к Годунову-царю, и из этого обстоятельства следовало извлечь все возможные выгоды, ибо новый государь, не вполне законным путем добившийся верховной власти, еще нетвердо чувствовал себя на престоле Рюриковичей.

Поминки, привозившиеся послами, также выставлялись на всеобщее обозрение — их богатство служило царской «чести». Однако у Шиле, претерпевшего в пути множество приключений (при проезде через польские земли его ограбили и едва не убили), не оказалось ничего для подарка царю — все отняли. Чудом сохранились лишь «часы боевые» (с боем). Дьяк В. Я. Щелкалов осмотрел их и нашел, что они годятся в качестве подарка. Но для публичного шествия одних часов явно было недостаточно. Тогда из казны выделили ряд вещей, которые Шиле от своего имени должен был поднести царю. Его свита — свита простого гонца — оставляла, видимо, желать лучшего, поэтому при следовании Шиле на аудиенцию в Кремль эти «дары» несли люди самого Щелкалова, обряженные немцами¹⁰. Для большей торжественности аудиенция была приурочена к празднованию победы над войсками сибирского хана, когда по всем московским церквам три дня звонили в колокола. Богатые поминки, не соответствовавший рангу гонца пышный эскорт, едущий по улицам под победный перезвон, — все это поднимало в глазах народа авторитет нового государя, чему Борис Годунов в первые недели своего царствования придавал немалое значение.

С 70-х годов XVI в. на пути следования посольского поезда начали выстраивать стрельцов. Вначале им надлежало стоять непосредственно у дворца, а с 80-х годов — и вдоль городских улиц. Длина стрелецкого строя могла

быть различной. Для гонцов стрельцы выстраивались только возле дворцовых лестниц, для посланников — по Красной площади, а также внутри кремлевских стен; при проезде послов «великих» стрелецкие шеренги порой тянулись от подворья до царской резиденции. В руках стрельцы держали «ручницы» (пищали), но иногда стояли и без оружия (например, в течение всего 1594 г. во время траура по царевне Федосье, рано умершей дочери Федора Ивановича). Некоторые иностранные дипломаты писали, что стрельцы отдавали им честь оружием. А Т. Смит, английский посол, приехавший в Москву в те дни, когда на столицу наступали войска Лжедмитрия I, утверждал, будто настоящие стрельцы отправились воевать с самозванцем и при проезде английского посольства на улицах стояли обыватели, наряженные в стрелецкое платье.

Курьеры («гончики»), сновавшие между царскими покоем и посольским поездом, который двигался к Кремлю, следили за скоростью движения, приказывали приставам то поторопиться, если во дворце все было готово к началу аудиенции, то ехать потише, если там возникали какие-нибудь непредвиденные осложнения. Но вообще посольское шествие было чрезвычайно медленным. Часто впереди пешком шли свитские дворяне с бархатными подушками — на них были разложены и выставлены на всеобщее обозрение грамоты и подарки. Все это придавало шествию церемонную величавость.

Следование во дворец крымских и ногайских послов обставлялось несравненно проще. Для них не выстраивали стрельцов, русский эскорт был малочисленнее, входили в него лица менее знатные, и зрителей собиралось меньше. В XVII в. ханских посланцев вели во дворец даже пешком, что было обусловлено не только относительно слабой заботой русских государей о своем престиже в Крыму, но и воспоминаниями о послах Золотой и Большой Орды — воспоминаниями, заставлявшими намеренно подчеркивать изменившееся соотношение сил между Русью и Ордой.

У ГОСУДАРЕВА ПОРОГА

Восточная дипломатическая практика знала некоторые унижительные для послов-христиан правила следования на аудиенцию. В Персии, например, в воротах шахского дворца на «гяуров» одевали особые туфли, чтобы те не осквернили землю своей обувью. Их путь по двору иногда

тут же вслед за ними перекапывали, а иногда посыпали песком, и обратно послы должны были идти строго по той же песчаной дорожке, не сходя с нее ни на дюйм¹¹. Ничего подобного в русском посольском обычае не было. При следовании на аудиенцию действовало лишь одно незыблемое правило: послы должны были спешиться в Кремле, не доезжая дворцовых лестниц. Такие же нормы существовали и в частном быту русского общества XVI — XVII вв. — подъехать верхом прямо к крыльцу значило проявить неуважение к хозяину.

Чем больше было расстояние, которое дипломат проезжал в седле или в саях от кремлевских ворот по направлению к царским палатам, тем «честнее» для него. Поэтому гонцы спешивались раньше, чем посланники и послы, а свита — раньше, чем члены посольства. Последним сходил с коня глава миссии. Одновременно с ним спешивался «болший» пристав, а остальные приставы — вместе со свитскими дворянами. С конца XVI в. спешивание в Кремле было принято у здания Казенной палаты. Имперские послы спешивались обычно у ее «среднего быка» (контрфорса), посланники — «у второго окна», гонцы — «у первого быка». Польско-литовские дипломаты пользовались правом более близкого подъезда, чем представители других держав. Они тоже сходили на деревянные мостки, тянувшиеся вдоль здания Казенной палаты к паперти Благовещенского собора, но уже не «у среднего быка», а «у последнего окна»; послам «великим» разрешалось прямо с седла ступать на подъездной помост лестницы, которая вела на паперть Благовещенского собора.

В русско-литовской дипломатической практике значение церемониала было особенно велико, ибо каждая сторона прекрасно знала все представления другой относительно «чести» и «безчестья». И в середине XVI в., когда Сигизмунд I Август не признал царского титула Грозного, королевских посланцев часто заставляли спешиваться дальше от дворца, чем это было принято в первой половине столетия. В отчете литовского посольства 1556 года говорится: «И когда есмо на замок (в Кремль. — Л. Ю.) приехали, не дали конным к столбе (лестнице. — Л. Ю.) приехати, яко бы могло быть о десять сажень до столбы, але почалися мешати и бити служебников некоторых и возниц батогами». Завязалась потасовка, из которой, если верить отчету, послы вышли победителями: их «служебники», оттеснив русских, руками сумели дотянуть сани, где сидели представители короля, до самых ступеней Бла-

говещенской паперти. «Праве (почти. — Л. Ю.) на ступень поставили»¹², — хвалились послы. Бывали и другие случаи, когда литовские дипломаты «сильно» пытались пробиться на конях к дворцовым лестницам.

Более далекое место спешивания могло быть и репрессивной мерой по отношению к послам, которые по той или иной причине вызвали недовольство государя. В 1570 году посольство Я. Скратошина отказалось по приглашению приставов немедленно ехать на аудиенцию, после чего были высланы стрельцы, чтобы не допустить послов к Благовещенской паперти и заставить их спешиться возле Архангельского собора, где в те годы обычно сходили с коней литовские гонцы, а также послы датского и шведского королей, которых Иван Грозный не признавал «братьями». Правда, сами литовские дипломаты, вернувшись на родину, утверждали, что против них были высланы не стрельцы, а царские «опричинцы» с кнутами¹³. Как бы то ни было, но инцидент получил широкую огласку, последовали жалобы, и позднее русские послы в Вильно объясняли нарушение традиции таким образом: «То послом учинилось от своей гордости, не от царского величества»¹⁴.

Во дворец послы входили двумя путями: первый, более длинный, вел по лестнице «у Благовещенья» на соборную паперть и далее — к переходам у Красного крыльца; второй, короткий, — по Средней лестнице сразу на Красное крыльцо. Первым путем шли представители христианских государей, вторым — мусульмане: «бусурманским» дипломатам негоже было проходить соборной папертью. Но правило это окончательно установилось лишь во второй четверти XVI в. При Василии III и крымские, и турецкие посольства часто следовали в великокняжеские палаты по Благовещенской лестнице. Для Ивана Грозного шествие (тем более торжественное) мусульман по паперти «у Благовещенья» было неприемлемо, но в начале столетия отношение к исламу на Руси было существенно иным: в некоторых своих грамотах, отправленных в Крым, Иван III даже дату помечал не от сотворения мира, а по хиджре. Четкое разграничение пути следования во дворец мусульманских и христианских дипломатов (публичного следования!) было вызвано ростом национального самосознания, которое в русском, как и во всяком другом феодальном обществе, принимало религиозные формы. В 1432 году, например, ордынский посол царевич Мансур-Улан «садил на великое княженье у Пречистые (в старом Успенском соборе. — Л. Ю.), у Золотых ворот» московского князя

Василия Васильевича¹⁵. Но иго было сброшено, миновали времена, когда посланцы ордынских владык входили в кремлевские соборы, и показательно, что церемониальными средствами разграничивались не православие и католицизм, а именно христианство и ислам.

Впрочем, были и другие мотивы. Датчанин А. Гильденлеве, побывавший в Москве в середине XVII в., считал, что Благовещенская лестница по иной причине используется для приема христианских послов: они таким образом идут «в обход справа налево, а потом по другой лестнице опять направо для более продолжительной и торжественной пышности». По Средней же лестнице, имевшей всего девять ступеней (возможно, это связано с монголо-тюркской числовой символикой), проводят, как писал Гильденлеве, лишь «язычников и турок», чтобы «показать им, собакам, кратчайший путь»¹⁶. В рассуждениях наблюдательного датчанина, несомненно, есть зерно истины.

Во второй половине XVI в. крымские, ногайские, турецкие и персидские посольства уже никогда не входили во дворец по лестнице «у Благовещенья», зато послов христиан вводили иногда по Средней. В 1566 году, когда посольство Ю. Ходкевича, не вовремя решившее «обедни слушати», сознательно опоздало на аудиенцию, царь «приговорил с бояры», что при повторении подобного литовские послы будут введены во дворец по Средней лестнице, и этим же путем, в нарушение обычая, их заставили идти после аудиенции. Через четыре года бояре грозили Средней лестницей польскому посольству Я. Скратошина, а в 1588 году по ней шел на прием к Федору Ивановичу англичанин Дж. Флетчер — впоследствии автор знаменитого сочинения «О государстве Русском». Незадолго перед тем русский гонец в Англии был «невежливо» принят королевой Елизаветой I, кроме того, против английских купцов интриговали в Москве их голландские конкуренты, которых поддерживал глава Посольского приказа дьяк А. Я. Щелкалов, и все эти обстоятельства, ухудшавшие русско-английские отношения в тот период, отразились на приеме Флетчера. Ему не была организована встреча перед посадом, его заставили спешиться необычайно далеко от дворца, у Архангельского собора, и вхождение во дворец по Средней лестнице — это одно из церемониальных унижений, которым подвергся Флетчер.

Когда послы шли к государю, то во дворе, на паперти, на лестницах и лестничных переходах стояли не только стрельцы, но и множество нарядно одетых «детей бояр-

ских», дворян, подьячих, «жильцов» и т. д. Это многолюдство было продолжением уличного, но несравненно более «устройное» и чинное: все стояли в определенном порядке, наблюдать за которым поручалось дьякам Разрядного приказа. При Борисе Годунове в этой толпе появились делегаты от провинции — «выборные дворяне от городов», символизировавшие единство русских земель, монолитность государства. Иногда здесь же находились татары и люди в западноевропейском платье — не то ливонские немцы, не то обряженные немцами русские дворяне. Они наглядно демонстрировали власть московских государей над различными народами. В конце XVI в., когда на аудиенцию шли английские послы, на паперти стояли даже «гости» и «торговые лутчие люди», но представителей купеческого сословия приглашали в Кремль только для англичан, ибо посланцы королевы Елизаветы I придавали вопросам торговли первостепенное значение, не стесняясь обсуждать их на переговорах.

С крыльца послы попадали в сени, где находились обычно низшие придворные чины — кравчие, стряпчие, стольники, сытники, чашники и пр. Здесь, по свидетельству иностранцев, скапливалось до 300 человек.

В России официальные встречи от имени государя устраивались иностранным дипломатам при вступлении на территорию страны, при въезде в столицу и, наконец, на царском дворе и в самом дворце, то есть всякий раз при перемещении на качественно иную территорию: государство, затем столица, государев двор и дворец.

Встречи устраивались далеко не всегда и не всем послам. В 1557 году Иван Грозный запретил «встречать» шведов, потому что во дворце «наперед того, при великом князе Василе встречи им не бывало, а учинили им встречу после»¹⁷. Апеллируя к традиции, царь восстановил нормы, попранные в годы его малолетства, причем этот запрет соблюдался и позднее, вплоть до смерти Грозного. Не всегда в эти годы «встречали» и датских дипломатов, а во время военных действий между Россией и Речью Посполитой лишались встреч и литовские посланники и гонцы (послам по сравнению с мирным временем сокращали число встреч).

В начале и середине XVI в. придворных встреч обычно бывало три: первая, «меньшая», когда послы сходили с лошадей, — на подъездном помосте; вторая, «средняя», — на крыльце; третья, «большая», — в сенях. После аудиенции «встречники» провожали послов до того места, где

встречали. Соответственно «большая встреча», состоявшая из наиболее родовитых лиц, проходила расстояние меньшее, чем «средняя», и т. д. Сам государь оставался неподвижен.

Число встреч и «встречников» сильно колебалось в зависимости от различных причин. В 1514 году турецкого посла Камал-бека «встречали» десять человек, разбитые на три группы. Но представителям прусского магистрата, который считался не суверенным монархом, а «урядником» императора, при Василии III полагалась всего одна встреча, состоявшая из единственного «встречника». Иван Грозный оказывал Дж. Боусу большую «честь», чем Федор Иванович: при первом английскому послу было организовано две встречи — по четыре человека в каждой, а при втором — одна из трех человек. К концу XVI в. даже «великих» послов редко «встречали» более двух раз; лишь принцу Голштинскому, несчастному жениху царевны Ксении, в 1602 году во дворце было устроено четыре встречи.

Процессия из самих послов, их свиты и «встречников» строилась по определенным правилам. Правая сторона была почетнее, однако по узким дворцовым переходам идти в ряд было невозможно. Тут вступали в силу другие представления, согласно которым находиться в подобной процессии сзади «честнее», чем впереди. Собираясь жениться на сестре Сигизмунда II Августа, Катерине Ягеллон, Иван Грозный обещал королю, что встретит невесту перед посадом и поедет в город впереди нее. Соответственно при следовании в приемную палату процессию возглавляли участники «меньшей» встречи, наименее знатные, а «большая встреча» шла перед послами. Посольская свита замыкала шествие, держась на некотором отдалении. Но в 1600 году польские послы захотели идти вслед за своей свитой. Приставы доложили об этом боярам, и те решительно отказали. Невинное, на первый взгляд, требование поляков служило «чести» их самих, ибо при таком построении «большая встреча», состоявшая из наиболее знатных лиц, шла бы не перед послами, а перед свитскими дворянами — это было совершенно неприемлемо.

В строго установленном порядке процессия подходила к дверям приемной палаты, но ее порога русские участники процессии уже не переступали.

ПРЕД ЦАРСКИМИ ОЧАМИ

ДЕКОРАЦИИ И СТАТИСТЫ

В 1584 году в Лондоне королева Елизавета I вместо аудиенции, которую следовало дать русскому гонцу Р. Бэкману, эстонцу по национальности, побеседовала с ним во время прогулки в дворцовом саду. В Москве это восприняли с негодованием. Королеве пришлось оправдываться тем, что ее сад («огород») — «место честное, прохладное, близко нашей палаты, а там никого много не пускают» и в этом саду «нет ни луку, ни чесноку»¹.

В наказах русским дипломатам, отправлявшимся за границу, строго предписывалось настаивать на том, чтобы даже переговоры с приближенными монарха, к которому было направлено посольство, происходили непременно в его дворце, а не в каком-то другом месте. В 1519 году в Кенигсберге к русскому послу К. Т. Замыцкому явился на подворье сам прусский магистр. Принимая это как «великую честь», оказанную послу «государева для великого имени», Замыцкий тем не менее говорил магистру: «И ты, господине, поиди к себе, и яз тебе у тебя речи своего государя говорю, а здесе мне речей тебе великого государя своего непригожь говорити!»². Дворец — такой же атрибут монаршего «чина», как скипетр или корона. Прием посла в ином месте был знаком неуважения к его повелителю: словам, произносимым от лица государя, неприлично звучать вне дворцовых покоев. И лишь крайне трудное положение государства, стоявшего перед угрозой военной и политической катастрофы в конце Ливонской войны, заставило Ивана Грозного согласиться с оскорбительным требованием польского короля и отправить послов в лагерь Стефана Батория под Великими Луками.

В Москве и в других городах, временно служивших резиденцией русских государей, иностранных дипломатов принимали всегда в царских палатах. Это правило почти не знало исключений. Лишь в 1567 году литовский по-

сланник Ю. Быковский предстал перед Грозным посреди воинского стана.

Внутри дворца место аудиенции не было связано ни с рангом дипломата, ни с отношением к нему и к его государю. Однако в России XVI в., как и в Западной Европе, существовало разделение аудиенций на официальные и частные. Последние не заменяли, но дополняли первые. Частные аудиенции были не обязательны и при Иване Грозном проходили обычно в полудомашней обстановке Постельной палаты.

В 1579 году Стефан Баторий, чья переписка с Грозным изобиловала взаимными ироническими выпадами, упрекнул царя в непонимании смысла слова «маистат» (величество). Через год на переговорах с А. Поссевино бояре, вспоминая этот упрек, объясняли: «А велит у себя государь быти послом, то к его лицу, ино то большая честь послом; пришлет же государь, а велит привести послов к своему маистату, ино то к его государству, а не к его лицу, ино того хуже»³. Впрочем, рассуждения бояр носят отвлеченный, даже, пожалуй, схоластический характер. На практике происходило сращивание понятий «государев» и «государственный», выражавшихся одним словом — «государский». Частная аудиенция у царя, во время которой он лично вел переговоры с послами, хотя и считалась для последних большой «честью», но возможна была лишь после официальной, публичной. Такой же порядок предусматривали и указы послам, выезжавшим из Москвы за границу. Когда один из русских дипломатов, находясь в Вене, не сумел дожидаться приема в тронном зале и посетил тяжело больного императора в его спальне, то, опасаясь наказания за «поруху» государевой «чести», он в секретном списке оправдывал свой поступок тем, что «цесарь вельми хвор» и официальной аудиенции вообще могло не быть.

В середине XVI в. Грановитая палата Кремлевского дворца чаще служила местом не аудиенций, а торжественных обедов, устраивавшихся в честь иностранных дипломатов; посольские аудиенции постоянно начали проходить в ней уже с XVII в., хотя послы бывали здесь и при Годунове, и при Федоре Ивановиче, а изредка — и при Иване Грозном. Но обычно Грозный принимал послов или в «Столовой избе брусяной», или в «Средней подписной» палате, она же — Золотая (своды ее были покрыты росписью по золотому фону, отсюда и название палаты). В последней, как правило, проходили аудиенции в третьей че-

тверти XVI в., а в «Столовой избе» — при Иване III, Василии III и Иване Грозном в начальную пору его правления.

Все возрастающая пышность посольских приемов требовала соответствующих декораций: «брусные» палаты уже не отвечали ни новому положению Русского государства, ни значению и престижу его верховной власти. Вместе с тем место аудиенции внутри дворца не зависело, по видимому, ни от ранга дипломата, ни от характера отношений с приславшим его монархом, и трудно определить, чем руководствовался царь, выбирая одну из трех парадных палат в одном случае и другую — в другом. Возможно, это были соображения самого обыденного свойства, которые тем труднее реконструировать, чем они обыденнее: ремонт сеней или самой палаты, возобновление настенной живописи после пожара, неисправность печей или дымохода, сильный ветер в окна и т. д.

В каждой из трех палат имелось тронное возвышение, на котором располагался престол («царское место»). В «Столовой избе» трон стоял с восточной стороны палаты, ближе к «красному» углу. В отчете литовского посольства 1556 года отмечается, что царь сидел «недалеко от кута (угла. — Л. Ю.) в избе, по левой стороне входячи до избы»⁴. В Золотой палате тронное возвышение находилось в юго-восточном углу, между двумя окнами. Любопытно, что в Магнавре, аудиенц-зале византийских императоров, трон тоже размещался ближе к углу, и аналогичное положение великокняжеского престола могло быть подсказано Ивану III греческими сановниками, приехавшими в Москву вместе с Софьей Палеолог. Эту норму унаследовали от Палеологов и турецкие султаны, которые после падения Константинополя усвоили многие элементы византийского придворного этикета. Как пишет русский посол Г. Нащокин (1592 г.), султан на аудиенции сидел «в угле, к дверем стороною»⁵. В то же время королевский престол в краковском и виленском замках находился у стены посередине палаты. Так же, впрочем, располагалось и «царское место» Ивана Грозного в Александровой слободе, если судить по гравюрам, которыми датский посол Я. Ульфелдт снабдил книгу (1578 г.) о своем путешествии в Россию.

В «Столовой избе» над престолом царя висела икона богородицы, а на противоположной стене — Николая Угодника. Последний был особенно почитаемым на Руси святым, и некоторые иностранные путешественники счи-

тали даже, что у русских есть два бога — Иисус Христос и святой Николай (недаром в 1597 г. имперский посол А. Дон привез в подарок Федору Ивановичу мощи именно Николая Мирликийского). В Золотой палате справа от тронного места на стене был изображен Саваоф с державой, а слева — царевич Иоасаф, беседующий с пустынноиком Варлаамом. Эти изображения представляли собой своего рода аллегория двух сторон царского «чина» — устроительной власти и человеколюбивой мудрости.

Поскольку торжественные аудиенции проходили обычно в первой половине дня, искусственное освещение не требовалось, даже в пасмурную погоду шесть окон палаты пропускали достаточно света. В яркие солнечные дни этот свет бил в лицо послам, а царский престол оставался как бы немного в тени. Никакой мебели в приемных покоях не было, лишь печь и лавки, крытые суконными, а позднее бархатными или камчатными «полавошниками»; на подоконниках лежали расшитые «окошечники». Тронное возвышение покрывал ковер восточной работы, спускавшийся по ступеням до самого пола. Пол тоже часто застилался коврами или ковровыми дорожками.

Лавки тянулись вдоль боковых стен, по правую и левую руку от царя, а также вдоль противоположной трону стены. На них, согласно местническим нормам, строго «по местам» рассаживались бояре, думные дворяне, окольные и дьяки. Наиболее знатные лица сидели «в правой лавке», она же — «болшая». Лавка у противоположной от царя стены («окольные место») считалась наименее почетной, и сажали там не только окольных (на гравюре из книги Я. Ульфельдта кроме этой лавки изображены еще три поперечные скамьи, поставленные параллельно ей друг перед другом).

Часто на аудиенциях присутствовали татарские царевичи, воплощая собой могущество государя, имевшего при своем дворе особ царской крови. Со второй половины XVI в. эти отпрыски ханских родов регулярно появлялись на приемах мусульманских посольств, а также тех европейских миссий, значение которых для русского правительства было особенно велико. В 1586 году, например, когда шла речь об избрании Федора Ивановича на польский престол, на приеме посольства М. Гарабурды, которое вело переговоры по этому вопросу, присутствовали сразу три царевича — крымский (один из ханских родственников, нашедший приют в Москве), касимовский и сибирский. Сидели они не рядом, а соответственно своему

статусу: крымский царевич — «в болшей лавке», касимовский — «в другой лавке», то есть расположенной вдоль левой от царя стены палаты, сибирский — «в околничем месте». В середине XVII в. мусульманские царевичи на аудиенциях, стоя по обе стороны трона, поддерживали царя под локти, как бы наглядно демонстрируя иностранным дипломатам зависимость своих родов и ханств от Москвы. Но в XVI в. это не было принято. В 1590 году на приеме персидского посольства расстояние между Федором Ивановичем и сидевшим справа от него крымским царевичем равнялось сажени — так определяет его посольская книга. Возможно, это расстояние (2,13 м) было величиной постоянной, и наиболее знатные особы располагались именно на таком удалении от царя. А. Дженкинсон, писавший, что князь Юрий Васильевич, брат Ивана Грозного, сидел на аудиенции в ярде от царя, указывает приблизительно ту же величину — 1,80 м.

Пышные одежды всех находившихся на приеме лиц подчеркивали богатство и величие русских государей. В 1514 году для встречи турецкого посла придворным было предписано одеться так, чтобы «видети их цветно». При Василии III бояре на посольских аудиенциях бывали обычно в шубах «саженных», прочие — в «терликах саженных» (род долгополого кафтана. — Л. Ю.), и лишь некоторые, чином поменее, — в простых шубах и «кожусех». На протяжении XVI в. эти одежды, частично выдававшиеся из казны, становились все более роскошными. При Иване Грозном исчезали из приемной палаты люди в «кожусех», наиболее употребительным стало «золотое» платье (расшитое золотом), постепенно вытеснявшее шубы. В случае официального траура одежда была более скромной. После смерти царевны Федосьи бояре являлись на посольские приемы в «смирном платье» — одежде багровых, вишневых, темно-зеленых и темно-синих тонов, причем гладкой, без «саженья». В другое время в одежде преобладали издавна любимые на Руси праздничные красный, желтый и оранжевый цвета.

Возможно, сведения о том, что часть этих парадных одежд специально выдавалась из казны, а также молчаливая величавость лиц, присутствовавших на приеме, в совокупности породили на Западе легенду, будто на аудиенциях перед иностранными дипломатами сидели вовсе не бояре, а люди простого звания, чуть ли не холопы. Шведский историк и географ Олаус Магнус, опираясь на сообщения бывавших при московском дворе соотечественников, в сво-

ей «Истории Северных народов» (1555 г.) писал о советниках Василия III: «Они избирали, как это делается и поныне, из народа значительное число похожих на вельмож мужей, убеленных сединами, с длинными красивыми бородами, достойного вида. Их одевали в пышные княжеские одежды и сажали в благородном собрании государственных мужей. Считалось, что послы при своем вступлении в зал должны быть совершенно ослеплены при виде этих людей, которые молча и торжественно сидят в своих роскошных нарядах». Как полагал Магнус, это делалось для того, чтобы послы, «смущенные таким великолепием», были сговорчивее⁶.

Подобные истории о «северной Сарматии» и ее «тиранах» рассказывались в изобилии, но источники, из которых возникла данная легенда, более или менее понятны: сказочное богатство одежд присутствовавших на аудиенции бояр и прочих думных чинов и одновременно их необычайно чинное поведение, выражавшееся в полном молчании и почти полной неподвижности, как бы вступали в противоречие. Казалось, что знатные вельможи, если они действительно были таковыми, должны и вести себя по-другому, а не как статисты на сцене. Этому противоречию, производившему на послов сильный и, может быть, даже рассчитанный эффект, Магнус дал объяснение вполне фантастическое.

Придворные, сидевшие на лавках в приемной палате, время от времени вставали и снимали шапки — «к царскому имени» и т. д., но в целом до конца аудиенции эта обстановка оставалась неизменной; смена декораций происходила уже при следующих актах церемониального спектакля.

«ГОСУДАРЕЙ ЧИН ДА И ГРОЗА»

На миниатюрах летописей трон («престол») Ивана Грозного, его отца и деда изображается обычно в виде сиденья прямоугольной формы с гладкой поверхностью, без спинки и подлокотников, с основанием-коробом, откуда выступают расширенные книзу концы коротких ножек, и с подставкой для ног. На сиденье справа часто лежит длинная подушка-валик, украшенная драгоценными камнями, на которую царь опирается. В миниатюрах «Жития Сергия Радонежского» (конец XVI в.) престол великих князей московских изображен опирающимся на двух лебедей, по это скорее художественная символика, нежели ре-

альная деталь великокняжеского трона. Во всяком случае, ни одно из подобных изображений ни в коей мере не напоминает очертания сохранившегося до наших дней «косяного стула» Ивана III — древнейшего тронного сиденья русских государей; согласно преданию, его привезла в Москву еще Софья Палеолог. Это кресло западного типа с высокой полукруглой спинкой и прямыми подлокотниками, сплошь облицованное резными пластинами слоновой кости; шесть его ножек покоятся на небольших фигурках львов, что у человека средневековья вызывало, возможно, ассоциации с описанным в Библии тронном царя Соломона, который окружали золотые львы.

Но миниатюры летописей, как отмечалось многими исследователями, обладают высокой степенью исторической достоверности. И можно предположить, что тронов у русских государей было несколько, а при Иване Грозном три как минимум: в «Столовой избе брусяной», в Золотой палате, а также в Александровой слободе. Миниатюристы по устоявшейся традиции изображали не «косяной стул» Ивана III, а престол другого типа, на который более всего похож также сохранившийся до нашего времени трон Бориса Годунова, присланный ему в 1604 году персидским шахом. Его массивность, широкое сиденье, позволявшее класть туда «саженные подушки», отсутствие подлокотников и низкая, почти незаметная спинка — все это может быть соотнесено с рисунком летописей, в частности с миниатюрами знаменитого Лицевого свода.

Совсем иной трон описывают иностранцы, бывшие на приеме у Лжедмитрия I. По свидетельству Г. Паерле, это было высокое кресло из чистого серебра с позолотой, под балдахином. Вокруг него лежали четыре серебряных льва, а по обеим сторонам поставлены два грифона: один — с державой, другой — с мечом. Марина Мнишек утверждала, будто трон ее супруга сделан из чистого золота, что львов не четыре, а два — «величиной с волка»; на них опираются колонны балдахина, увенчанного державой, на которой стоит «орел великой цены»⁷. Трон Лжедмитрия I пропал во время событий Смутного времени — видимо, был разобран на части или целиком вывезен в Польшу. Трудно судить, принадлежал ли он только самозванцу или использовался его предшественниками. Некоторое сходство с этим тронном имеет «царское место» Ивана Грозного в Александровой слободе, изображенное на гравюрах из книги Я. Ульфельдта: это сиденье без подлокотников, которое находится в неглубокой, полуовальной формы нише

под балдахином — по-видимому, каменным, покоящимся на двух колоннах. Его верхняя часть на двух гравюрах выглядит по-разному: на одной она треугольная, напоминающая завершение портала при входе в приемную палату, на другой — виньеточная. Прочие сохранившиеся изображения трона русских государей относятся уже к XVII в.

Само тронное возвышение, приподнятое над полом на одну или несколько ступеней, иногда называли «маистатом» — выраженное латинским словом отвлеченное понятие «величества», в непонимании которого Баторий упрекнул Ивана Грозного, было, таким образом, воплощено в конкретной детали интерьера приемной палаты. Именно поэтому царь так разгневался, когда русские послы в Вильно были призваны не к лицу короля, а к королевскому «маистату» (к подножию трона). Унизительна была сама формулировка приглашения царских представителей на аудиенцию, ставившая их в зависимое от короля положение. «Ино то кабы некоторые незнаемые сироты, а не послы», — с возмущением писал Иван Грозный, обвиняя Батория в том, что последний приравнял русских послов к «данщикам». В то же время шведский король Юхан III, которого царь не признавал «братом», должен был присылать своих представителей не к самому русскому государю, а, как говорил Грозный, к «нашей степени царского величества порогу»⁸.

Уже при Василии III на ступенях «маистата» или на полу возле тронного возвышения стояли рынды — отроки знатных фамилий в белых одеждах и золотых нагрудных цепях. В руках они держали позолоченные топорики-чеканы на длинных обушках, положив их на правое плечо лезвием вперед и немного вверх. Рынды как почетная вооруженная охрана сопровождали русских государей и во время военных походов. Там их назначалось шестеро (при царевичах — четверо): трое — с «саадаками» (луками), по одному — с копьём и сулицей (коротким метательным копьём) и один — с рогатиной. Расположение рынд на посольских приемах — справа или слева от государя, ближе или дальше — определялось степенью их родовитости, местническими нормами. Обычно рынд бывало четверо, а на аудиенциях менее торжественных — двое: справа и слева от царя. Лишь Лжедмитрий I, который утрированно, прежде всего через чисто внешние атрибуты, стремился подчеркнуть законность и величие своей власти, к четырем рындам с традиционными чеканами добавил пятого —

с обнаженным мечом⁹. Это странное для московского двора новшество, ярко характеризующее личность Лжедмитрия I, было, вероятно, продуктом его собственного «творчества», попыткой скрыть неуверенность несколько наивной демонстрацией своего могущества. Нововведение не привилось: после смерти Лжедмитрия I обнаженный меч снова исчез из тронного зала, хотя при первых Романовых число рынд на торжественных аудиенциях увеличилось и доходило до шести, правда, на приемах не всех послов, а лишь представителей Священной Римской империи, Речи Посполитой и Англии.

Присутствие в тронном зале вооруженной охраны не было принято на дипломатических аудиенциях в Западной Европе. Для объяснения этого обычая бояре в беседе с А. Поссевино ссылались на пример «Мануйло, царя греческого» (императора Мануила Палеолога), за которым стража следовала даже в церковь. «Из давних лет во всех государствах ведетца, — утверждали бояре, — оружники около государей стоят, то государей чин да и гроза»¹⁰. Возможно, от византийских императоров эту практику заимствовали и турецкие султаны. В статейном списке И. П. Новосильцева говорится, что Селим II, принимая иностранных послов, «сидит на своем царском месте, а подле него стоят с саадаком, да з саблью, да з будями» (кинжалами)¹¹. Впрочем, самого Новосильцева султан принял без «оружников», чем, как заявили турки, царя «почтил», а «себя не взвысил». Для русских государей рынды на ступенях тронного возвышения также были не охраной, не стражей в собственном смысле слова, но «чином и грозой», знаком сана и могущества, символом действительной власти. Однако посольские книги не упоминают о присутствии рынд на приемах крымских и ногайских дипломатов: демонстрация величия русских государей не могла здесь иметь такого же значения, как в отношениях с другими странами.

Иногда на ступенях «маистата» стояли особо приближенные к государю лица. Борис Годунов у трона Федора Ивановича стоял «выше рынд», а посольские дьяки, ведавшие приемом данного посольства, размещались на одном уровне с рындами по левую руку от царя.

Еще большее значение, чем трон, тронное возвышение и рынды, имели другие символы власти русских государей, их «чина».

Самый ранний из этих символов — длинный пастырский посох-костыль с характерным Т-образным навершь-

ем. На некоторых миниатюрах летописей концы этого навершья, в отличие от архиерейских посохов, немного приподняты вверх и образуют подобие слабо изогнутого серпа, выпуклой стороной обращенного к собственно посоху, который изготавливался из нескольких насаженных на деревянную основу резных коленец моржовой или слоновой кости (первые княжеские посохи были, вероятно, просто деревянными) и заканчивался острием. Костяной посох из Оружейной палаты, по преданию принадлежавший Ивану III, был, по-видимому, изготовлен в конце XV в. новгородскими мастерами. Он сделан из моржовых клыков, ценившихся тогда весьма дорого. В 1476 году во время похода на Новгород Иван III получил в дар от новгородцев «рыбьи зубы», причем счет им велся поштучно, а не на пуды, как было принято позднее. Возможно, из этих «рыбьих зубов» и сделан сохранившийся до нашего времени великокняжеский посох. Его коленца украшены тонкой резьбой, изображающей различных зверей и птиц в растительном декоре, а на рукояти вырезана человеческая голова. Как считает А. В. Чернецов, эта голова выражает представления о властителе, его державных правах на землю (страну) и все ее естественные богатства¹². В какой-то степени и сам посох в руке государя мог ассоциироваться с осью мира — образом «мирового древа», распространенным в мифологии многих народов, в том числе и русского.

Были также великокняжеские посохи из «индейского» черного дерева, богато украшенные драгоценными камнями, но парадный посох Ивана Грозного и русские, и иностранцы считали изготовленным из кости единорога («инрога») — мифического зверя, до XVII в. служившего одной из самых распространенных эмблем русской государственной власти. Изображение «инрога» имеется на «костяном стуле» Ивана III, оно же помещено в центр большой печати его внука. По легенде, широко известной и на Руси, и в Византии, и в Западной Европе, этот зверь отличался силой и необычайным бесстрашием. С африканским посорогом никакого внешнего сходства он не имел. Его представляли в виде белого коня с длинным прямым рогом, вертикально растущим между ушей, со шкурой из меди, что позволяло ему без всякого для себя вреда прыгать в глубочайшие пропасти. «Инрог» — существо бесполое. Срок его жизни — 532 года, после чего он якобы приходит к берегу моря, сбрасывает свой рог и умирает, а сброшенный рог превращается в гигантского червя, из которого появляется новый зверь, подобный прежнему. Сила

и отвага, неуязвимость и способность к возрождению — все эти свойства, приписывавшиеся легендарному «инрогу», обусловили выбор его в качестве одной из основных эмблем великокняжеской и царской власти. Древнерусские книжники сравнивали с единорогом и Ивана III, и Ивана Грозного. Скорее всего обладание посохом, якобы сделанным из рога этого сказочного животного, на Руси было прерогативой государей.

Посох — древнейшая регалия великих князей московских (как, впрочем, и королей Франции и Швеции). При Иване III, Василии III и вплоть до последних лет царствования Ивана Грозного на посольских аудиенциях посох постоянно был при государе. Но со временем его значение изменилось: из основного атрибута государева «чина» он стал второстепенным по сравнению со скипетром и державой. По наблюдению Д. фон Бухау, посетившего Москву в 1575—1576 годах, посох, который раньше царь использовал вместо скипетра, теперь на приеме послов держит царевиц¹³. Свообразную преемственность скипетра по отношению к посоху можно предположить на том основании, что они изготовлялись из одного и того же освященного легендой материала. Как пишет Горсей, у Грозного был жезл из кости единорога; царь приобрел его у купцов немецкого города Аугсбурга (они, надо думать, не случайно привезли его в Москву). Речь здесь идет именно о коротком жезле типа скипетра, а не о посохе, поскольку в длину он имел всего 3 фута¹⁴. Очевидно, под западноевропейским влиянием новая регалия заменила старую. Заменила, но вытесняла постепенно. Если даже наследника престола и не было на аудиенции, иностранные дипломаты по-прежнему могли видеть посох в приемной палате, хотя уже не в правой руке царя, отныне державшей скипетр, а в каком-то футляре — «златом месте». Так, в 1579 году на приеме посланцев Стефана Батория «государь сидел в царском платье, а в руках у государя был скипетр, а с левую руку у государя стоял индрогов посох в златом месте»¹⁵. Однако после смерти Грозного старинный посох-костыль окончательно исчезает с посольских аудиенций.

Восседая на троне, царь в правой руке держал скипетр, а в левой — увенчанную крестом державу. Впрочем, само слово «державка» применительно к этой регалии стало употребляться позднее, а в XVI в. посольские книги сообщают, что в руке у царя было «царского чину яблоко золотое». Если скипетр в течение всей аудиенции находился у государя, то долго удерживать на ладони тяжелое «ябло-

ко» было трудно (держава XVII в., которая хранится в Оружейной палате, весит свыше 3 кг). При Иване Грозном возле трона стоял на подставке драгоценный ларец, куда царь клал державу, — вскоре, по-видимому, после торжественного начала аудиенции. Впоследствии подставка с ларцом была заменена особой пирамидой (она хорошо видна на гравюрах из книги Я. Ульфельдта). При Федоре Ивановиче его всемогущий шурин, всегда стоявший у престола «выше рынд», на посольских приемах иногда собственноручно держал царское «золотое яблоко»¹⁶, что, несомненно, имело и символическое значение. Другие «ближние» люди при других государях подобной чести никогда не удостоивались.

Государь находился на аудиенции в облачении желтого цвета (царевич — красного). Царское платье в XVI в. имело две разновидности — «большее» и «меньшее», в XVII в. — «большого чина» и «малого чина». Строгое функциональное их разграничение происходит лишь в XVII в., хотя уже Иван Грозный изредка принимал дипломатов низшего ранга в «меньшем» платье. Парадное царское одеяние из-за золотого шитья и драгоценных камней было неимоверно тяжелым. Тяжесть его усугублялась висевшим на груди массивным золотым крестом и нагрудными цепями, также золотыми («чепи», «ланцухи»). Дж. Горсей утверждал, будто облачение, в котором Федор Иванович в 1584 году венчался на царство, весило 200 фунтов и подол царского платья несли за государем шестеро бояр¹⁷. Слабый здоровьем Федор Иванович и Борис Годунов в последние годы жизни с трудом выдерживали вес «большого» платья, поэтому послов порой предупреждали, чтобы те говорили свои речи как можно короче и не затягивали аудиенцию: государю трудно долго находиться в своем одеянии. Ганзейские послы, посетившие Москву в 1603 году, полагали даже, что у русских государей длительные аудиенции вообще не допускаются¹⁸. Но заменить облачение царя более легким не позволяли соображения престижа государства. И. Кобенцель и А. Поссевино были в России в разное время и писали свои записки независимо друг от друга, однако им обоим костюм Ивана Грозного напомнил одеяние не кого-нибудь, а самого папы римского¹⁹. Уже по одному этому можно судить об эффекте, который производило на иностранных дипломатов «большее» царское платье.

Василий III в придворном быту вел себя гораздо свободнее и естественнее, чем его преемники. Рамки церемо-

ниала вообще, в том числе и дипломатического, еще не были столь жесткими, и на приеме имперских послов в 1517 году Василий III мог, например, сидеть на троне с непокрытой головой. Позднее это стало совершенно невозможным: государь неизменно присутствовал на аудиенции в «своей царской шапке», которая была знаком его сана. Иногда, как свидетельствуют иностранные дипломаты, рядом с царем находились еще какие-то «короны» или «диадемы»²⁰. Быть может, они имели в виду так называемую Казанскую шапку (знак власти над Казанью) и другие головные уборы, имевшие аналогичный смысл.

Одежда царя поддерживала его «чин», но она же для Ивана Грозного с его пристрастием к театрализации государственного быта могла быть и «грозой». В 1567 году на приеме литовского посланника Ю. Быковского царь сидел на престоле в доспехах («в воинской приправе»). Так же были одеты царевич Иван Иванович и присутствовавшие на аудиенции бояре. В это время опасно обострились отношения с Вильно: Сигизмунд II Август потребовал возвращения Полоцка, и «воинская приправа» царя и придворных наглядно демонстрировала готовность России к войне. «И ты, Юрьи, тому не диви, — заявил Грозный литовскому посланнику, объясняя свой необычный вид. — Пришел еси к нам от брата нашего, от Жигимонта Августа короля, со стрелами, и мы потому так и сидим»²¹. Никаких стрел королевский посланец, разумеется, не привез. Это образное выражение: в монголо-тюркской дипломатической практике присылка стрел издавна означала объявление войны, разрыв отношений (в России такую акцию называли «розметом»), и любопытно, кстати, что царь знал об этом восточном обычае. Но военные действия так и не начались, и на последней аудиенции, данной Быковскому перед его отъездом на родину, сам Грозный, царевич и бояре были уже без доспехов, однако десять стольников и дворян «стояли при государе у государева места в служебном полном наряде, в зеркалах и юшанях» (панцирях и кольчугах), знаменуя собой не «чин и грозу» государя, как рынды, а только «грозу».

При Иване III, когда русский посольский обычай находился еще в стадии формирования, иностранные дипломаты привозили подарки великой княгине и наносили ей официальные визиты, правда, по указанию самого государя. Возможно, это обусловлено тем, что Софья Палеолог, родственница византийских императоров, была особой царской крови. Жены Василия III, Ивана Грозного, Федо-

ра Ивановича и Бориса Годунова были иного, более низкого происхождения, и после смерти Софьи Палеолог великие княгини и царицы никогда не давали аудиенций иностранным послам. Не было отдельных аудиенций и у наследника престола, что практиковалось на Западе, в частности в Священной Римской империи. Но Иван Грозный (у Василия III не было взрослых детей) на посольских приемах иногда сажал рядом с собой старшего сына — царевича Ивана Ивановича.

Впервые он был представлен литовским послам в 1566 году. Послы целовали наследнику руку, окольный «являл» их ему так же, как и самому царю, называя «государем царевичем». Почему именно в это время? Наследнику престола было тогда 13 лет, однако еще пятью годами раньше царь на время своей поездки в Троице-Сергиев монастырь распорядился «царевичу Ивану на Москве быти в свое место». То же повторилось и в мае 1562 года, когда Грозный выехал в Можайск. «Царь, следовательно, — замечает А. А. Зимин, — стремился обеспечить за своими сыновьями династические права»²².

Сам Грозный, будучи еще мальчиком, принимал иностранных дипломатов, и у него, разумеется, и раньше были возможности представить послам наследника престола. Но посольство Ю. Ходкевича в 1566 году было первой значительной миссией после введения опричнины, само существование которой приставы должны были всячески отрицать, ибо предполагалось, что послы будут интересоваться этим вопросом. Отвечать следовало, будто царь «учинил особый двор для своего государского прохладу». И все же нельзя было полностью скрыть от иностранцев такую беспрецедентную по размаху государственную реформу. В этой ситуации разделение страны на опричнину и земщину могло быть подано как факт совместного правления царя и «государя царевича», как то было в Польско-Литовском государстве, где сын Сигизмунда I, будущий король Сигизмунд II Август, еще при жизни отца считался великим князем литовским. Возможно, именно с попыткой внушить послам подобные представления и было связано первое появление наследника престола на официальном дипломатическом приеме.

Как правило, отрок-царевич держал не посох, а позолоченный чекан на длинной рукояти, сходный с чеканами государевых рынд.

При Борисе Годунове царевич Федор Борисович уже регулярно присутствовал на всех посольских аудиенциях,

а порой даже полностью замещал отца. Обусловлено это было, по-видимому, не только болезнью Бориса, но и страстным его желанием обеспечить сыну право на царский титул.

Иван III принимал иностранных послов, сидя рядом со всеми своими сыновьями и даже внуками, однако при Иване Грозном на приеме рядом с царем мог находиться лишь наследник престола. В этом сказались обособление верховной власти от ближайшего родственного окружения. Только наследник, символизируя будущность династии, поддерживал «чин» государя, и царевич Федор — средний сын Грозного — появился на посольских аудиенциях уже после смерти своего старшего брата.

Никто, кроме наследника, не мог находиться на аудиенции непосредственно рядом с царем. Лишь изредка на приемах литовских дипломатов низшего ранга Грозный сажал возле себя своего загадочного заместителя Симеона Бекбулатовича (это был касимовский хан Саин-Булат, которому царь дал титул великого князя всея Руси и сделал номинальным правителем земщины), да в 1589 году отличавшийся вошедшей в легенду религиозностью Федор Иванович также пригласил воссесть рядом с собой константинопольского патриарха Иеремию²³.

У ПОДНОЖИЯ ПРЕСТОЛА

«Видеть очи государевы» — значит, быть на аудиенции. Конечно, это всего лишь условный термин, стереотипная формула, но, как писал В. О. Ключевский, «не следует пренебрегать и терминологией: история политических терминов есть история если не политических форм, то политических представлений»²⁴. А представления, породившие формулу «видеть очи государевы», чрезвычайно любопытны.

«Светилник телу есть око», — гласит евангельское изречение, вошедшее в рукописный сборник русских пословиц XVII в. Сравнение государя с оком мира характерно для древнерусской публицистики. В «Слове похвальном великому князю Василию» (начало XVI в.) читаем: «Око в телеси въдрузися, сице и царь в мир устроися»²⁵. В грамоте, отправленной в 1560 году польскому королю Сигизмунду II Августу от имени Ивана Грозного (написана, возможно, И. М. Висковатым), содержится следующее рассуждение: «Всем государем годится истинно говорить, а не ложно, светилник бо телу есть око; аще око темно бы-

вает, все тело всуе шествует и в стремнинах разбивается, и погибает»²⁶. Иными словами, если монарх не знает действительного положения вещей («око темно»), если ему ложно истолковали политическую обстановку (в данном случае речь идет о причинах Ливонской войны), то это может привести к непоправимым последствиям для всего государства («тела»), ибо государь — «око» своей державы.

Есть небо, а есть, как писали православные богословы, «небес небеси» — средоточие в пространстве божественной сущности. И посол, таким образом, предстает не просто перед самим государем, но именно перед его очами — «оком ока» всего государства.

Аудиенция — кульминационный момент пребывания в России иностранных послов и большая честь для них. «Тот, кто видел государевы очи, не может быть печален в такой день»²⁷, — говорили приставы имперским дипломатам. Поскольку в церемонии аудиенции участвовал сам государь, она даже внешне была похожа на «действие», отчасти подобное церковной службе. Все положения, движения и слова участников этой церемонии подчинялись особенно строгим правилам, чья символика уже далеко не всегда может быть адекватно истолкована человеком другой эпохи.

Дипломаты всех рангов должны были являться на аудиенцию без оружия. Правда, не совсем понятно, в какой именно момент расставались они со своими шпагами: не то оставляли их прямо на подворье и ехали по улицам в Кремль уже безоружными, не то снимали в самом Кремле в тех местах, где сходили с коней, и отдавали приставам, а после аудиенции в том же месте получали обратно. В своих записках западноевропейские дипломаты вообще избегали сообщать об этом факте: по их понятиям, это было своего рода бесчестье. Дж. Боус очень обиделся, когда его не пустили к царю со шпагой. Бояре объясняли: «В обычае держит и ведетца на Руси, что некоторому послу вооруженну, или в кордах (перевязь с ножами. — Л. Ю.) не быти перед государем». Но королева Елизавета I не удовлетворилась этим объяснением и, оправдывая претензии своего представителя, ссылаясь на нормы западноевропейского придворного церемониала: Боус, будучи человеком «рыцарского стану» (дворянином), к иным монархам всегда «хаживал» со шпагой²⁸.

Лишение послов оружия было принято и в Византии, и на мусульманском Востоке, и в Крыму. Итальянец

И. Барбаро (конец XV в.) писал, что при следовании на прием к ногайскому хану оружие надлежало оставлять на расстоянии брошенного копья от входа в шатер²⁹. В Москве это обыкновение, унаследованное, вероятно, из русско-ордынской дипломатической практики, вызывалось отнюдь не соображениями безопасности государя. Сабля не была неотъемлемой принадлежностью парадного костюма русского придворного, какой являлась на Западе шпага, и появление в тронном зале вооруженного посла выглядело бы вызывающе. Единственное оружие, которое допускалось на аудиенции, — это позолоченные топорики царских рынд; им ни в коем случае не должна была противостоять посольская шпага.

В сенях, у самого входа в приемную палату, послов встречал думный окольничий (в XVII в. — дьяк). Он должен был, однако, с послами «видеться не встречаю» (не передавать им церемониального приветствия от лица государя), иначе нарушалось соответствие между числом официальных встреч во дворце и значением посольства. Окольничий вводил прибывших в палату, где царь уже сидел на престоле, и громко объявлял, что послы — при этом назывались их имена, титулы и звания — государю «челом ударили». Послы кланялись. Коленопреклонение не практиковалось. Глава многострадального шведского посольства П. Юстен, которого трудно заподозрить в излишних симпатиях к Ивану Грозному, писал, что, когда шведы, в 1570 году вызванные из 14-месячной муромской ссылки, простерлись на полу перед царским тронном, Грозный велел им подняться и сказал: «Я — владыка христианский и не хочу, чтобы вы падали ниц передо мною!»³⁰.

Если Иван III, принимая, например, имперского посла Г. фон Турна, вставал и приспускался с тронного возвышения ему навстречу, то во второй половине столетия, когда послы входили в приемную палату и кланялись, государь оставался сидеть на троне в полной неподвижности. Правда, Иван Грозный мог встретить посередине палаты низложенного казанского хана Шах-Али («царя Шигалея»), а Борис Годунов — принца Голштинского, но это были не дипломаты, а царственные особы, и им полагались иные формы «честь». То же самое можно сказать и о высших иерархах православной церкви, приезжавших в Россию с Востока: упомянутого выше константинопольского патриарха Федор Иванович встретил даже в дверях палаты.

Согласно правилам этикета, после представления по-

слов следовало спросить их о том, «здорово ли доехали». Этот вопрос государь задавал сидя, не снимая шапки и не притрагиваясь к ней. Каковы бы ни были реальные обстоятельства путешествия, послы всегда должны были отвечать утвердительно, принося за это «благодарение богу и великому государю царю и великому князю».

Неизменно утвердительными бывали ответы и на следующий церемониальный вопрос — о здоровье приславшего послов монарха. Но сам этот вопрос мог быть задан не всегда. В 1526 году на совместном приеме польско-литовских, имперских и папских дипломатов Василий III спросил о здоровье императора и папы, но не справился о здоровье польского короля, поскольку еще не было заключено перемирие. Однако позднее уже невозможно проследить такую прямую зависимость между вопросом о здоровье монарха и характером отношений с ним. Церемониал ужесточается, начинает менее чутко реагировать на сиюминутную политическую ситуацию. В 1608 году, после того как польско-литовские послы провели в Москве почти два года, не поддерживая никаких связей со своим королем (посольство прибыло к Лжедмитрию I и было задержано, когда самозванца свергли), Василий Шуйский на аудиенции тем не менее осведомился о здоровье Сигизмунда III Вазы, что крайне раздражило послов, поскольку охраняли их строго и никакие известия с родины до них не доходили. Но в системе этикета важно было задать вопрос и получить ответ, а правдивость ответа ни имела значения.

Очень важно было и то, в какой позе царь задаст этот вопрос, который требовал произнесения вслух имени приславшего посольство монарха («Брат наш, Жигимонт Август король, поздорову ль?»). «К королевским именам» все присутствовавшие на приеме должны были встать и снять шапки. Бояре снимали свои высокие горлатные шапки из меха («колпаки»), оставаясь в тафьях; обнажали головы и послы, но сам царь лишь слегка прикасался к шапке левой рукой, предварительно положив державу в ларец. Когда в 1584 году Л. Сапега возмутился тем, что царь не обнажил головы при произнесении королевского имени, ему объяснили, что государь при послах «шапки царские не сымает»³¹.

Вставали русские государи, лишь когда спрашивали о здоровье тех монархов, которых они признавали «братьями». Ливонский и прусский магистры, шведский король или грузинский царь на это рассчитывать не могли. Спрашивая о здоровье Стефана Батория в начале его царство-

вания, Иван Грозный также не поднимался с места, ибо, как говорили позднее бояре от имени царя, «его достоинство чести не ведали». Парадоксальное осмысление этого обычая находим у Лжедмитрия I. В 1606 году он спросил о здоровье польского короля сидя. На протесты послов самозванец отвечал, что якобы по русскому «чину» положено вставать не при самом вопросе, а только при ответе, не воздавая тем самым «честь» королю, но «благодаря бога за приятное известие»³².

Такое поведение было типично для Лжедмитрия I. Будучи ставленником польских магнатов и пользуясь их поддержкой, он по заключенному в 1604 году в Кракове тайному договору с Сигизмундом III обязался в случае воцарения пойти на определенные территориальные уступки в пользу Речи Посполитой, разрешить строить в России «костелы», допустить в Москву иезуитов и, наконец, связать оба государства «вечной унией». Но, взойдя на престол и попытавшись выполнить некоторые из этих обещаний, самозванец натолкнулся на мощное сопротивление русского общества, которое и слышать не желало об осуществлении подобных проектов³³. Вынужденный лавировать, он всеми средствами, в том числе и церемониальными (вспомним дополнительного рынду с мечом), стремился создать иллюзию своей независимости и самостоятельности, утвердить пошатнувшийся престиж собственной власти, восстановить доверие соотечественников, недовольных засильем чужеземцев и женитьбой царя на католичке. Именно поэтому Лжедмитрий I и отказался встать с места, задавая вопрос о здоровье Сигизмунда III, которого он заносчиво называл своим «полубратом».

Спросить о здоровье иностранного монарха русские государи могли, поднявшись во весь рост, «приподывся вполну» (в половину роста), «приподывся мало» или вообще не двинувшись с места. Такие способы оказания «чести» тщательно фиксировались посольскими книгами и были не случайны: каждое из этих движений выражало определенное отношение к приславленному посольство монарху — к его происхождению и политике, к положению его государства в системе международных отношений. Но во всех случаях этот вопрос государь должен был задать не через приближенных, а лично, на чем всегда настаивали при иноземных дворах и русские дипломаты.

Никакого неофициального обмена любезностями церемониал аудиенции не предусматривал. Лишь иногда послы поздравляли русских государей с праздниками. Так,

С. Герберштейн, прибыв на аудиенцию 1 сентября 1517 г., поздравил Василия III с Новым годом. А в 1586 году, находясь на приеме у Федора Ивановича в один из дней пасхальной недели, польско-литовские послы, в числе прочего, пожелали царю следующее: «И покори господи все враги твои в подножье ног твоих!» Удивленные бояре попросили разъяснить это странное пожелание. Послы ответили, что «у них так ведетца: на те дни великого праздника, светлово воскресенья, государю здоровают на государствах его подданные»³⁴. Однако польско-литовские дипломаты вовсе не являлись подданными Федора Ивановича. Такая необычная форма праздничного поздравления была вызвана причинами политического порядка. В это время, после смерти Батория, Речь Посполитая переживала очередной период «бескоролья», и влиятельная партия православных магнатов Великого княжества Литовского, стремившихся расторгнуть Люблинскую унию, выдвинула Федора Ивановича кандидатом на литовский престол. Пасхальное приветствие послов, принадлежавших к данной партии, выражало их согласие с этой кандидатурой. Великим князем литовским Федор Иванович так и не стал, но в тот момент послы, как бы предвосхищая возможное будущее, в символической форме объявили себя подданными русского государя. Именно таков был смысл их слов.

Важнейшим элементом церемониала аудиенции было целование послами царской руки. Это разновидность «честь», которая оказывалась не суверену, приславшему посольство, но лишь самим послам. От общей политической ситуации она зависела весьма слабо. Причины, по которым царь «не звал к руце» иностранных дипломатов, были иного рода: одного посчитали не посланником, а гонцом, поскольку с ним была прислана «грамота затворчата», про другого решили, что он «паробок молодой», третий «приехал на двор невежливо», четвертый не привез подарков и т. д. В 1582 году после крайне бурного и резкого диспута о вере, который Иван Грозный вел с папским легатом А. Поссевино и во время которого он в бешенстве назвал папу римского «волком», Поссевино также не был допущен к царской руке. Иногда государь мог не позвать послов «к руце» из опасения заразиться, избегая физического контакта с ними, если становилось известно о страшных эпидемиях чумы, холеры и оспы (в XVI в.) в тех землях, откуда прибыли послы или через которые они

проезжали по дороге в Москву («сказывали, в Вильне поветри»).

Но бывали случаи, когда вопрос о целовании послами царской десницы становился картой в политической игре. Это происходило в том случае, если в Москве были недовольны поведением иностранных послов, их нежеланием идти на уступки. Хотя послы, как правило, вели себя в полном соответствии с указаниями своего правительства, русские государственные деятели, чтобы придать конфликту частный характер, именно на самих послов, а не на приславшего посольство монарха возлагали ответственность за неуспех переговоров. Так случилось в 1553 году, когда литовские дипломаты в Москве отказались признать царский титул Ивана Грозного. Не желая портить отношения с Сигизмундом II Августом, который, разумеется, сам не дал своим послам полномочий именовать русского государя «царем», Грозный обвинил королевских представителей в том, что они по собственной воле не пожелали признать за ним царский титул. Поэтому, вставая, как обычно, «противу королева имяни», то есть оказывая польскому королю установленную этикетом «честь», он в то же время не позвал послов к руке. Тем самым царь предоставил Сигизмунду II Августу возможность принять эту версию и свести конфликт к «самовольству» его представителей. «Ино нашим неfortunством так ссталось, — жаловались послы боярам, — государь жалования своего никоторого нам не учинил, нас обезчестил, к руце нас не позвал»³⁵. Отсутствие приглашения послов к царской руке было «безчестьем» исключительно для них самих. Из-за подобных инцидентов отношения между двумя государствами ничуть не страдали и даже переговоры не прекращались.

В 1593 году в Стамбуле русского посла Г. А. Нащокина для целования руки у султана подвели к трону, «взяв под руки»³⁶. На Востоке именно подводили послов к монарху — как бы насильно, против их воли и по воле султана или шаха. А. Олеарий полагал, будто это делается из соображений безопасности и по тем же соображениям будто бы персидский шах не позволяет никому целовать себе руку, а лишь колено. Возвращаясь к вопросу об исторических терминах, в которых отразилась «история политических представлений», отметим, что посольские книги, рассказывая о высочайших аудиенциях в Стамбуле или Тебризе, обозначают их по-иному, нежели аудиенции при европейских дворах: султан или шах велят посла «взять пе-

ред себя», «поставить перед собою». В Москве иностранные дипломаты к царскому престолу подходили сами.

Послы-мусульмане к целованию руки не допускались. Вместо этого царь возлагал им на голову свою ладонь. Г. Васильчиков (1589 г.) в Персии, отказываясь поцеловать ногу шаха, требовал, чтобы шах почтил его так же, как царь чтит персидских послов. Шахским вельможам Васильчиков неоднократно напоминал, что христианам русский государь дает целовать руку, а «на бусурманских государей послов кладет руку»³⁷. Правило это практически не знало исключений. Лишь турецкий посол Камалбек в 1514 году целовал руку Василию III. Непонятно, то ли тут сказалась недостаточная разработанность церемониальных норм в начале XVI в., то ли нарушение нормы допустили потому, что Камалбек по происхождению был не турок, а грек — «некогда рекомый Феодорит», как он сам сообщал о себе в письме к Юрию Траханиоту, тоже греку, одному из тех сановников, которые прибыли на Русь в свите Софьи Палеолог³⁸.

С мусульманами русские иногда «карашевались». Не совсем ясно реальное содержание этого слова, которое исследователями истолковывалось по-разному: видеться, здороваться, приветствовать, возлагать руку на голову³⁹. Однако скорее всего это слово означает такую форму приветствия, когда при встрече обхватывают друг другу руки у плеч — род полуобъятия. Н. Варкоч писал, что бояре и персидские послы не подали друг другу рук, а «взялись за руки по восточному обычаю»⁴⁰. «Карашевались» обычно лишь равные с равными. Например, послы-мусульмане и бояре или дьяки. Иван Грозный «карашевался» с казанским ханом Шах-Али. Если такая форма приветствия применялась государем по отношению к послу, это было исключительной «честью» для последнего. В. Г. Морозов, бывший в Крыму в 1509 году, особо отметил, что хан его «жаловал и звал карашеватца». Таким же образом в 1514 году Василий III «жаловал» крымского посла Аппака, известного «амията» (приятеля) русских из рода придерживавшихся промосковской ориентации беев Сулешевых, который писал великому князю: «Яз как своему государю холопство чиню, так и тебе холопство чиню, ты ведаешь»⁴¹. Иными словами, он как бы признавал свое двойное подданство. В более поздний период посольские книги о подобных случаях уже не упоминают. Борис Годунов, например, «карашевался» с персидскими послами лишь до своего вступления на престол.

Рукопожатие как форма приветствия и царской милости тоже применялось, но только по отношению к западноевропейским послам. Оно было в употреблении при Иване III и Иване Грозном в годы его малолетства, затем исчезло и вновь появилось уже при Борисе Годунове, чтобы опять исчезнуть до конца XVII в. Обычно русские государи разрешали послам «подержать» свою руку, не сжимая ее. Настоящее рукопожатие широко применялось между равными, но послов заранее предупреждали, чтобы они, когда возьмут царя за руку, сжимали ее слабо, а не «тискали, как это делают немцы»⁴². Смысл такого рукопожатия был различным в разные периоды. В конце XV в. оно отражало слабую разработанность русского посольского обычая, зависимость его от единичных прецедентов и случайных наблюдений: если германский император пожал руку Юрию Траханиоту, что вовсе не было нормой западноевропейского дипломатического церемониала, то так же поступал одно время и Иван III, встречая имперских дипломатов. Василий III неизменно подавал послам руку для поцелуя, но в начале 40-годов XVI в., когда будущий «грозный» царь был мальчиком, разрешение литовским послам «подержать» его руку вместо ее поцелуя означало, по-видимому, временное падение престижа великокняжеской власти: государя послы приветствовали тем же способом, что и представителей боярской олигархии. А при Борисе Годунове, проявлявшем искренний интерес к западноевропейскому обиходу, этим выражалась уже особая милость царя.

Очень важным был вопрос о том, что надлежит сделать раньше — поцеловать руку царя или объявить цель посольства. Русским дипломатам за границей строжайше предписывалось ни в коем случае не «быть у руки» до того, как они произнесут титул царя и скажут свои «речи». В 1595 году в Праге послы Федора Ивановича, когда им предложили обратную последовательность, запротестовали: «Не объявля царского имени, к руце ходити непригоже!» А через 12 лет в Кракове представители Василия Шуйского объясняли королевским вельможам: «Наперед государских имен нам, подданным, к королю к руце итить непригоже»⁴³. Но иностранным дипломатам в Москве обычно предлагали целовать руку государя до начала официальной части посольства. Лишь в редких случаях в качестве особого «жалованья» им самим разрешалось выбирать последовательность этих двух действий, и послы, разумеется, предпочитали вначале «править посолство».

В конце XV в. им иногда позволялось произносить свои «речи», сидя на скамье (так же предписывалось поступать и русским дипломатам при иностранных дворах), но обычай этот, берущий начало в практике междукняжеских сношений, очень скоро видоизменился: от него осталась лишь форма, наполнившаяся новым содержанием. Хотя в XVI в. скамья, покрытая «сукном», ставилась как и прежде, но послы «правили посолство» стоя, а садились на нее только однажды в течение всей аудиенции. Позволение сесть — знак расположения государя к послам, равновидность царского «жалованья». Это было одноразовое действие, как и целование руки царя. В 1604 году Борис Годунов грузинского посла, старца Кирилла, «жаловал» — «велел ему сесть в другоряд», то есть во второй раз. Это случай уникальный, почему он и отмечен посольской книгой. Во время военных действий гонцы враждебного государства и вовсе могли быть лишены этой «честь». В объяснение того факта, что в 1582 году литовский гонец Г. Пелгримовский сидел на аудиенции, хотя мир еще не был заключен, посольская книга указывает: царь велел ему «сесть на скамейке», потому что «опричь грамоты речи от короля говорил» и, значит, фактически обладал посланническими полномочиями⁴⁴.

«Честь», оказанная послу, была тем больше, чем ближе к трону он садился. Когда в 1517 году С. Герберштейн прибыл на аудиенцию вместе с литовскими послами, которых Василий III «жаловал» меньше, чем представителя Максимилиана I, то «скамья им была поставлена одна — того подале, как Максимьянов посол саживался, коли приходил один, а того поближь к великому князю, как литовские послы саживались наперед того»⁴⁵. Эти сложные поиски среднего расстояния наглядно показывают, какое значение придавалось близости скамьи к великокняжескому престолу.

Впрочем, конкретно это расстояние определить трудно. Иногда в посольских книгах сообщается, что царь велел послу сесть «блиско себя» или «блиско себя, у ковра», то есть у края ковра, покрывавшего ступени тронного возвышения. Н. Варкочу, которого в Москве принимали с почестями не самыми большими, скамью ставили в семи шагах от трона. Нормы, принятые в этом отношении для различного ранга дипломатов Речи Посполитой, служили своеобразным эталоном «честь», с ними соразмерялось расстояние от трона, на котором сидели представители иных государств, — «в ту меру, как литовским болшим послам»,

или «подале того, как литовским посланником». На приемах послов крымских и погайских скамья вообще отсутствовала.

Близость посольской скамьи к трону знаменовала «честь», оказывавшуюся именно послу, а не его государю. Поэтому, например, грузинским послам в 1599 году скамья могла быть поставлена «потому жь, как и литовским послам», хотя грузинский царь не был «братом» русскому государю и даже признавал себя «под его высокою рукою». Зато на той же аудиенции Борис Годунов спросил о здоровье грузинского царя сидя, что было бы определенной демонстрацией на приеме представителей Речи Посполитой. Вопрос о здоровье был «честью государственной» по отношению к государю, отправившему посольство, а скамья — «честью посольской».

Когда в 1600 году в Англии королева Елизавета I на тайной аудиенции приказала поставить стул для русского посла Г. И. Микулина возле самого трона, тот «на королевине жалованье челом бил, и блиско королевны не сел и, отдвинув стул от того места в сажень, и сел на стуле»⁴⁶. Почему? Ведь в своем статейном списке он скрупулезно перечисляет все, что служило «чести» его повелителя. Микулин рассказывает, как он решительно отказался вести переговоры с приближенными Елизаветы I где-либо, кроме королевского дворца: «к бояром нам на боярский двор о царском деле ехати не годитца». Он не забывает упомянуть, что приставы шли или ехали слева от него, сообщает, что на аудиенции королева, «слышав царского величества имя и про их государское здоровье, обрадовалась с великою сердечною любовью и учела быти весела», что послание Бориса Годунова она приняла «с великою радостью», и прочее в том же роде. Но стул, придвинутый к самому трону, почетен уже не для царя, а лично для Микулина. Чтобы себя не «взвысить», он этот стул отодвигает, о чем считает необходимым написать в своем отчете.

Постепенно в посольских книгах сложились стереотипные словесные формулы для описания аудиенции у государя. Обычно сообщается, что послы, «посидев мало, да речи говорили». Но при описании аудиенций, дававшихся в Москве представителям крымского хана, применялись другие формулы: тот или иной ханский посланец «посолство правил, сидя на коленках», или «пришед блиско государя, сел на коленки» и т. д.

Исследователи прошлого столетия истолковывали это в

том смысле, что крымские послы попросту становились на колени перед русскими государями. Однако речь здесь идет отнюдь не о коленопреклонении в собственном смысле слова. Имеется в виду восточное обыкновение сидеть на подогнутых под себя ногах. Иначе бы вряд ли, как пишет в своем статейном списке русский посол А. Д. Звенигородский (1595 г.), персидский шах мог спросить «про государево здоровье, сидя на коленках»⁴⁷. Несомненно, в данном случае это выражение имеет лишь вышеуказанный смысл, что подтверждается и другими примерами. Скажем, в 1611 году посланник Боярской думы П. Вражский, представ перед ногайским Иштерек-ханом, требовал, чтобы тот слушал посольские «речи» непременно стоя, а не «сидя на коленках»⁴⁸.

Во время аудиенций в Москве крымские дипломаты опускались, видимо, на коврик, расстеленный посреди приемной палаты. Представители Персии и Османской империи подчинялись тем же правилам, что и послы христианских держав, но в отношениях с Крымом допускались отклонения в сторону восточных норм придворного этикета. Недаром всегда подчеркивалось, что это делается «по их вере», «по их бусурманскому закону, а в нашем хрестьянском обычае того не ведетца». Сидение ханских посланцев «на коленках» скорее всего было пережитком русско-ордынской дипломатической практики, как и некоторые другие элементы русско-крымского посольского обычая. К концу XVI в. эта традиция, уже не имевшая опоры в реальной политической обстановке, постепенно отмирает. Крымские послы постепенно перестали «садиться на коленки» перед царем, однако и отдельной скамьи им не ставили. Сидели они, если следовало разрешение, «в лавке околичного места» (гораздо дальше от царя, чем представители других держав) — на противоположном от престола краю приемной палаты⁴⁹.

Речи послов обычно переводил присутствовавший на аудиенции толмач из состава посольства. При послах крымских и ногайских были толмачи русские, из крещеных татар, а на приемах польско-литовских дипломатов обходились, как правило, без переводчиков. Сам Иван Грозный, по-видимому, владел польским языком. В 1566 году на личных переговорах с литовскими послами он сказал Ю. Ходкевичу: «А которые будет речи полским языком молвишь, и мы то уразумеем»⁵⁰. Интересно, что в 1573 году в Стокгольме по-польски «правил посолство»

русский гонец В. Чихачев: ему заявили, что шведский король «по полски сам горазд»⁵¹.

Слова царя переводили толмачи московские. Однако государь лично задавал послам лишь церемониальные вопросы, а более пространные речи от его имени произносили посольские дьяки или другие доверенные лица, которые в этот момент идентифицировались с самим царем. В 1608 году дьяк В. Телепнев требовал, чтобы польские послы без шапок выслушали переданную через него царскую «речь», но сам при этом оставался в шапке. Бояре следующим образом объясняли законность этого требования: «Послы слушают без шапок, потому что он, государь, посольского дьяка позовет к себе и велит ему молить свою государскую речь, что было ему, государю, своими царскими усты послом говорить, и дьяк говорит речь от царского лица». Далее следовал риторический вопрос: «И государь подданному повинен (должен. — Л. Ю.) ли шапку сымати?» Иными словами, Телепнев прямо объявлялся ипостасью государя в минуту произнесения им царских «речей», обращенных к «подданным» (к послам). «А коли посольский дьяк говорит послом и посланником речь при государе же не от царьского лица, — продолжали бояре, — тогда он сперва к царьскому имени шапку сымает»⁵².

Аналогично обстояло дело и при передаче посольских грамот. Принимая их, посольский дьяк идентифицировался с государем, передавая грамоты в руки царя — уже нет. Поэтому в 1554 году И. М. Висковатый, будучи в шапке, взял у Р. Ченслера королевские грамоты, но, когда вручал их Ивану Грозному, шапку снял⁵³. Посольский дьяк на аудиенции то олицетворял своего государя, то вновь являлся в обычном своем качестве государева слуги, и превращения эти последовательно разграничивались этикетом.

Дипломатические документы, привезенные посольством, царь чаще всего принимал из рук своего доверенного лица, дабы не вступать в непосредственную связь с подданным другого монарха: такая связь, почетная для посла, не служила царской «чести». Собственноручное принятие грамот государем практиковалось редко, в виде особой милости. Когда М. Шиле предложили назваться не гонцом, кем он был в действительности, а послом, ему пообещали, что Борис Годунов сам примет у него императорские грамоты — это было своеобразной компенсацией за «подлог».

Символом дружеского расположения к монарху, при-

славшему грамоту, было ее целование. Царские грамоты целовали иногда и восточные, и западные суверены; Хуан Персидский писал, что Борис Годунов, принимая послание шаха, приложился к нему губами⁵⁴. Но это, пожалуй, единственное свидетельство такого рода. В русских посольских книгах нет абсолютно никаких упоминаний о том, что на аудиенциях в Кремле государи целовали грамоты иностранных монархов.

На протяжении всего XVI в. церемониал аудиенции становится все более пышным, а поведение государя — все менее свободным. Каждое его действие и слово все более приобретали символическую нагрузку, отражая тем самым неизмеримо возросший престиж верховной власти, укрепление русского «самодержавства».

Иван III, принимая в 1483 году имперского посла Н. Поппеля, «поговорил с ним в Набережной горнице, потступив от бояр». Через 12 лет он говорил с литовскими послами в Успенском соборе, «у сторонних дверей у правых», а на аудиенции, данной итальянцу А. Контарини, великий князь беседовал с ним, прогуливаясь по тронному залу⁵⁵. Василий III обсуждал с Герберштейном политические проблемы, брал его с собой на охоту и т.д. Но позднее такое вольное поведение государя при общении с иностранными дипломатами становится уже невозможным: они видели его лишь на троне или за столом во время торжественного обеда. В сложившемся, «зрелом» придворном церемониале царь — это олицетворение государства, и этикет аудиенции позволял ему проявить себя именно в этом качестве. И хотя бурный темперамент Ивана Грозного порой прорывался сквозь церемониальные каноны, но сами каноны отнюдь не утрачивали своей обязательности и значимости; исключения истолковывались как следствие чрезвычайных обстоятельств.

Р. Ченслеру было сказано, что сам он обращаться к царю не может, а может лишь отвечать на его вопросы — это обычное правило вежливости в отношениях между младшим и старшим. Но впоследствии бояре от лица Ивана Грозного говорили Дж. Боусу: «У нас издавна того не ведетца, что нам, великим государем, самим с послы говорить!»⁵⁶. Впрочем, на частных, а иногда и на публичных аудиенциях Грозный беседовал с английскими, имперскими и папскими дипломатами, не говоря уже о послах перекопских владык, в отношении которых этот запрет вообще не действовал вплоть до конца XVI в., ибо русско-крымские дипломатические отношения носили гораздо ме-

нее ритуальный характер. Но в случае такой беседы с дипломатами шведскими или польско-литовскими, которые были прекрасно осведомлены о нормах московского придворного церемониала, это нарушение обычая декларировалось уже как подвиг христианского смирения. «Яз, государь хрестьянской, презрев свою царскую честь, с вами, брата моего слугами, изустане говорю!» — так в 1568 году Иван Грозный начал переговоры с послами Сигизмунда II Августа. Через два года, напоминая литовским «панам радным» об этом уникальном случае, бояре писали, что царь, «для покою хрестьянского свою честь государскую презирая, сам с послы государя вашего говорил»⁵⁷.

Царь мог говорить лишь с собственными подданными. В грамоте Грозного Польской раде (1573 г.), где речь идет о посольстве М. Гарабурды, пригласившем царя на освободившийся после смерти Сигизмунда II Августа престол Великого княжества Литовского, претендент писал о себе: «Всю свою волю и хотение изъявили и приказали с Михаилом Гарабурдою, о всем переговоря сами из своих царских уст, как с своими прирожонными людьми»⁵⁸. Личные переговоры царя с Гарабурдой уже сами по себе, независимо от их содержания, выражали согласие Грозного занять предложенный ему престол. Ведь он разговаривал с послом, как со своим подданным — «прирожонным» человеком! Поэтому здесь ни слова нет о «презрении государственной чести».

Переговоры царя с подданными другого монарха нарушали принцип иерархии отношений. Кроме того, при этом могла возникнуть совершенно неприемлемая ситуация, когда послы начали бы возражать коронованному собеседнику. «То необыкновенное и неслыханное дело, чтобы монархи, восседая на троне, спорили с послами!»⁵⁹ — возмущался Лжедмитрий I (так передает его слова секретарь при польском посольстве Н. Олесницкого). Любопытно, что самозванец, намереваясь вступить в личные переговоры с представителями Сигизмунда III, прежде всего снял с себя царскую шапку — знак сана. Лжедмитрий I вообще с преувеличенным вниманием относился к символам верховной власти, и без шапки, как ему, видимо, казалось, он уже мог беседовать с послами, не роняя своего царского «чина». Это вполне логично для системы взглядов беглого монаха Григория Отрепьева, волей случая вознесенного на российский престол, но для Ивана Грозного подобная постановка вопроса была бы лишена всякого смысла.

Правило, запрещавшее или по крайней мере не реко-

мендовавшее монарху вести личные переговоры с иностранными дипломатами, действовало и в Византии, и в Турции, и в Польско-Литовском государстве. В менее жесткой форме оно было принято и в странах Западной Европы. Но постепенность становления этой нормы в русском посольском обычае свидетельствует о том, что истоки ее нужно искать не в чужеземных влияниях, а в социально-психологической атмосфере московского двора, в особенностях внешней политики Русского государства XVI в. В связи с укреплением центральной власти и ростом ее авторитета «изустнее» царское слово стало обладать такой значимостью, что могло звучать лишь при определенных условиях. Но, с другой стороны, этикет, откликаясь на потребности времени, как бы освятил собой новый этап развития русской дипломатии: с началом Ливонской войны внешняя политика России чрезвычайно усложнилась, и переговоры по конкретным вопросам должны были вести подготовленные люди, обладавшие специальными знаниями, владевшие приемами дипломатического искусства, способные, если нужно, применить различные уловки и хитрости, чего сам царь, естественно, сделать не мог без урона для «государской чести». Но человек средневековья свои прагматические соображения всегда облачал покровом традиции, сам твердо веруя в ее древность и незыблемость. В данном случае эта традиция, имевшая недавнее происхождение, как нельзя лучше отвечала новому положению русских государей, новому значению их власти.

Переговоры велись в особой «ответной» палате, куда послы переходили сразу же после аудиенции в те дни, когда их не приглашали на торжественный обед.

Все последующие аудиенции в значительной степени были похожи на первую, хотя царская милость по отношению к послам могла возрастать или уменьшаться в зависимости от их поведения в ходе переговоров. Но свои отличительные черты имела прощальная аудиенция — «отпуск» (в русско-крымской дипломатической практике она обозначалась тюркским словом «хаер» от слова «хай» — ступай, иди).

«Отпуск» посла должен был производиться самим государем — этим поддерживалась иерархия отношений на уровне монархов, подчеркивался их личный контакт между собой. Когда русский гонец Р. Бэкман в Лондоне был на прощальной аудиенции не у королевы, а у канцлера Ф. Уолсингема, это восприняли в Москве как оскорбление, нанесенное самому царю. «И то где слышно, — говорится

в грамоте Федора Ивановича к королеве Елизавете I, — что гонцов ко государем отпускати и поклон к нам, великим государем, приказывати писарем, а не государю к государю приказывати?»⁶⁰.

На «отпуске» государь передавал с послами поклон или челобитье приславшему их монарху: поклон — равному или младшему, челобитье — старшему. В интерпретации русских толмачей и посольских дьяков приветствие, присылавшееся Ивану Грозному датским королем Христианом III, истолковывалось как челобитье. Иван III, Василий III и даже Иван Грозный передавали челобитье крымским ханам, а царевичам-«калгам» — поклон, что, очевидно, принято было и в русско-ордынской дипломатической практике предшествовавшего периода. Но в конце XVI в. эта унижительная для русских государей норма уже отмирает, и в 1593 году, например, крымские послы от имени хана Казы-Гирея передали поклон даже посольскому дьяку А. Я. Щелкалову⁶¹.

В отношениях с Польско-Литовским государством царь посылал королю поклон, а королевичу ничего не посылал — тот получал поклон от наследника престола. Королевич посылал царю челобитье, как и царевич — королю. Но когда Федор Годунов в отсутствие отца сам принимал польских послов, он передал королю уже не челобитье, а поклон. Нарушение этих правил вежливости одной стороной влекло за собой аналогичное нарушение их стороной противной. В 1492 году Иван III передавал королю Казимиру поклон от своих детей и внуков «того дея, что королев посол правил великому князю от королевича поклон»⁶².

С крымскими послами русские государи передавали не только церемониальное приветствие хану, но и собственные «речи», что было совершенно неприемлемо в отношениях с другими государствами. Кроме того, «на отпуске» им часто представляли русского посла, который должен был отправиться в Крым вместе с ними.

Наконец, что было особенно важно, на прощальной аудиенции государь подтверждал устно истинность всего, что на переговорах говорилось боярами и дьяками от его имени: «то есть наши речи».

Иногда государь на прощанье из своих рук подавал отбывавшим на родину дипломатам чашу с медом или вином. Но для этого требовались определенные условия. В 1501 году Иван III подносил вино послу чешского и венгерского короля Владислава, но из-за нараставшей напря-

женности в отношениях с Вильно литовским послам вина не подал. Чаша в руке государя означала его расположение к послам, и удостоивались этой милости лишь представители дружественных держав. В 1517 году, до заключения мира с Великим княжеством Литовским, Василий III подавал мед Герберштейну, но не угощал присутствовавших тут же на приеме литовских послов. А когда переговоры зашли в тупик, великий князь, разгневавшись на имперского посредника, не подал меду и ему. В начале XVI в. питье подносилось послам практически на каждой аудиенции в течение всего времени пребывания в Москве данного посольства (разумеется, при условии мира между двумя странами или хотя бы нормального хода переговоров о его заключении). Позднее это стало действием однообразным. Царь угощал послов только на последней аудиенции: чаша с медом или вином как бы скрепляла достигнутую договоренность. Если стороны не приходили к соглашению, питье не подносилось, и в 1559 году Иван Грозный на прощальной аудиенции литовским послам меду «не подавал того деля, что дело некоторое не зделалось»⁶³.

Иван III и Василий III собственноручно угощали всех лиц из состава посольства, которые находились в приемной палате, но Иван Грозный уже подавал питье только самим послам. Членов посольской свиты потчевали царские чашники.

Любопытное осмысление этого обычая находим у Бориса Годунова. Отпуская имперского посланника Н. Варкоча, он поднес ему ковш с медом, сказав: «Ты поедешь на корабле, и потому из корабля я пью твое здоровье и прошу бога даровать тебе счастливое странствие»⁶⁴. Ковш по форме напоминает ладью. Слова Годунова — это истолкование прощального питья в духе гомеопатической магии, которая предполагает воздействие на объект через его подобие.

По свидетельству Г. Котошихина, в середине XVII в. царь подавал крымским послам по кубку «романей» — сладкого итальянского вина — и по ковшу меда вишневого. Выпив мед и вино, иные из ханских посланцев драгоценные кубки и ковши брали себе и прятали за пазуху. Как пишет Котошихин, «у них тех судов (сосудов. — Л. Ю.) царь отнимати не велит» и «для таких безстыдных послов деланы нарочно в Аглинской земле суды медные, посеребряны и позолочены»⁶⁵. Возможно, нечто похожее случилось и в XVI в., с той лишь разницей, что

вряд ли крымских послов угощали редкой в то время «романеей», поберегавшейся для западных дипломатов.

Еще у монголов существовал обычай пить кумыс на дипломатических приемах. В Крыму на аудиенции у хана русским послам подносили чашу с каким-то напитком (в своих отчетах послы не сообщают, что именно они пили — вино или тот же кумыс). Но в Крыму это угощение подносилось перед началом аудиенции, что должно было, по-видимому, создать атмосферу дружелюбия и взаимного доверия: из чаши, поданной ханом послу, поочередно отпивали все присутствовавшие в зале царевичи и мурзы — пригубливали и передавали дальше. В 1509 году русский посол В. Г. Морозов нарушил заведенный порядок, наотрез отказавшись передать чашу оскорбившему его накануне мурзе Кудояру. Благодаря этому инциденту, описанному в отчете Морозова о его пребывании в Крыму, мы можем судить о правилах этикета, принятого при дворе перекопских владык.

В Турции угощение также предшествовало собственно аудиенции. По мнению польского посла Е. Отвиновского, посетившего Стамбул в 1557 году, турки не случайно придерживались именно такой последовательности: человек, отведавший угощение султана, уже не мог причинить ему зла⁶⁶. Но в Москве роль подобного угощения была иной: питье завершало пребывание послов при дворе государя, и норма эта восходит, очевидно, к народным обычаям гостеприимства.

В начале XVI в. не только мусульманским, но и западноевропейским дипломатам на прощальной аудиенции от имени государя «жаловали» шубы, которые тут же на них и одевались. Еще Иван Грозный в 1558 году «велел класти» шубы на литовских послов в его присутствии. Но впоследствии этот обычай сохранился лишь по отношению к представителям исламских государств, поскольку на Западе и даже в Речи Посполитой русских послов платьем не одаривали. В то же время это издавна было принято на мусульманском Востоке, где «жалованье» одеждой считалось более почетным, чем всякое другое. В 1590 году астраханский дьяк Дербенев-«меньшой» писал в Москву Федору Ивановичу, что вместо денег «черкасам» было выдано от царского имени платье, ибо «по здешнему делу то твое государское жалованье им честнее»⁶⁷.

При дворе персидского шаха и турецкого султана послы в пожалованном им платье должны были являться на последнюю аудиенцию. Отвиновский, человек наблюда-

тельный и склонный делать выводы из своих наблюдений, считал, что причиной этого служит следующее поверье: тот, кто ходит в платье султана, не может его бранить. Вот почему, как полагал Отвиновский, это практиковалось турками именно «на отпуске» послов.

В XVII в. крымские дипломаты в Москве удостоивались, как правило, единственной аудиенции, на которую прибывали не на конях, а пешком, с ног до головы одетые в пожалованное им платье. На них были русские однорядки, кафтаны, шапки и сапоги. В приемной палате однорядки с послов снимали и отсылали на подворье, а взамен царь приказывал «взложить на них золотные шубы при себе».

Подробный сценарий, учитывавший все обстоятельства политического момента, в XVI в. разрабатывался для каждой аудиенции в отдельности, но общие нормы, которым подчинялся распорядок посольских приемов независимо от сиюминутной обстановки, складывались постепенно, на протяжении нескольких десятилетий, отражая изменения в идеологии и в самой жизни русского феодального общества.

Все возроставший престиж верховной власти сказался, например, в том, что с третьей четверти XVI в. придворный посольский церемониал стал включать новую форму демонстрации царского величия и могущества — ожидание послами «государева выхода». Такая форма приема иностранных дипломатов ставила их в положение просителей, подчеркивала тот факт, что не царь, а приславший посольство монарх прежде всего заинтересован в предстоящем дипломатическом контакте. Правда, в большинстве случаев это применялось по отношению к дипломатам низшего ранга и тем, что прибывали от монархов, не считавшихся «братьями» русских государей. Будучи введены в приемную палату, послы в течение некоторого времени «ждали» появления царя. Он входил, окруженный рындами и свитой, садился на престол, после чего аудиенция начиналась.

ХЛЕБ ДА СОЛЬ

Торжественный обед, устраивавшийся государем для иностранных дипломатов, издавна был на Руси столь же обязателен, как и пир в честь гостя, принятый в частном быту. «Ради посла было пированье почестное», — говорится в былинах. В 1566 году, договариваясь о встрече на гра-

нице Ивана Грозного и Сигизмунда II Августа (это свидание так и не состоялось), бояре сообщили, что когда король прибудет в царский шатер, то «государь ему почесть учнет держати, как кто у себя гостя подчивает»⁶⁸.

Приглашение посла к монаршему столу было «честью» для него (в посольских книгах встречается сочетание «честь и подчиванье»), отсутствие такого приглашения — «безчестьем», что часто влекло за собой обиды и иностранных дипломатов в России, и русских — за границей. Последние неизменно требовали, чтобы при чужеземных дворах соблюдались нормы, принятые при дворе московском, хотя в Турции, например, по установившемуся обычаю султан не присутствовал на подобных угощениях, а в Западной Европе к столу монарха приглашали только дипломатов высокого ранга, да и то не всегда. При дворе Габсбургов царским представителям неоднократно заявляли, будто «у римских цесарей изначала того в обычае не ведетца, что послов звати ести». Обычай пышных дипломатических обедов с непременно участием государя выработался прежде всего в отношениях с Великим княжеством Литовским — церемониал виленского двора во многом был схож с московским. Поэтому именно литовские дипломаты особенно болезненно воспринимали те редкие случаи, когда их не приглашали к царскому столу. В 1584 году гонец Л. Сапега «в хоромех заперся» и отказался даже выйти к приставам «за то, што государь ево не звал ести»⁶⁹.

При Иване III, Василии III и Иване Грозном к столу приглашали даже простых гонцов, не говоря уж о дипломатах высших рангов. Если по каким-либо причинам обед не устраивался, это обязательно объяснялось. В годы малолетства Ивана Грозного, вступившего на престол в трехлетнем возрасте, посольских угощений не было, поскольку сам государь присутствовать на них еще не мог (русским послам за границей строжайше запрещалось быть у стола, если сам монарх не принимал участия в обеде). Поэтому, в частности, бояре от лица шестилетнего великого князя в 1536 году говорили литовским послам: «Есме еще леты несовершенны, за столом нам сидети истомно»⁷⁰. А, например, летом 1560 года посольских обедов в Кремле не бывало по другой причине: «в те поры был на Москве пожар великой».

До середины XVI в. прибывшего дипломата после первой аудиенции, как правило, приглашали к столу, но число повторных приглашений на последующих аудиенциях

могло быть большим или меньшим в зависимости от политической ситуации, успеха или неуспеха переговоров и т. д. Относительно литовского гонца, прибывшего в Москву в 1576 году, посольский подьячий, который сделал запись о его аудиенции у Ивана Грозного, замечает: «А столу быть у государя по грамоте смотря на отпуске»⁷¹. То есть гонец после прощальной аудиенции будет приглашен на обед лишь в том случае, если царь благожелательно отнесется к содержанию привезенной им королевской грамоты.

Но уже при Федоре Ивановиче приглашения к царскому столу становятся все более редкими. Взамен дипломатам низшего ранга посылались на подворье блюда с дворцовой кухни. Это было связано не только с тем, что богомольный Федор Иванович тщательно соблюдал все постные дни, или с длительным трауром по дочери, царевне Федосье. Быт русских государей все отчетливее начинает делиться на официальный и частный, домашний; трапеза принадлежит к последнему. Позднее, при первых Романовых, эта тенденция укрепилась, и А. Олеарий, посетивший Москву в 1634 году, писал, что если раньше иностранные послы обедали у царя, то теперь большей частью угощение присылается им на подворье⁷².

Представления о том, что государь как хозяин лично должен угощать посла-гостя в своем доме-дворце, постепенно уходили в прошлое. Послы по-прежнему получали угощение от имени царя, но сам он при этой церемонии мог и не присутствовать; совместная трапеза, устанавливавшая непосредственную, ритуальную связь между монархом и послами, уже не считалась необходимым условием успеха дипломатического контакта. В XVII в. на подворье к гонцам блюда иногда посылались даже не с царской кухни, а «с яму» (из трактира), хотя и от имени царя, как в былые времена. На смену патриархальным декларациям близости, посольским обидам и государевым на послов «опалам», выразившимся в том, что их не приглашали к царскому столу, приходит деловая отчужденность, лишь маскируемая видимостью старинных обычаев.

Но к середине XVI в. столовый церемониал московского двора достиг своего расцвета. В конце аудиенции государь сам приглашал послов на обед («звал хлеба ести»), после чего послы, покинув тронный зал, «ждали стола» в одном из дворцовых помещений, обычно — в так называемой Набережной горнице. В это время царь и придворные переодевались. Шитые золотом одежды думных

бояр и дворян сменялись меховыми шубами, а стольники и чашники, которые на аудиенции не присутствовали, являлись в столовую палату «в золотном платье и в чепях золотых». Сам царь вместо «саженной» шубы надевал более легкую, а иногда выходил и в одном кафтане с накинутым поверх него «распашным» платьем из шелка. При переходе из приемной палаты в столовую царь заменял и головной убор. Р. Ченслер заметил, что перед обедом Иван Грозный надел другую «корону», а у стола «менял короны еще два раза». Последнее, вероятно, делалось с целью продемонстрировать разнообразную роскошь царского наряда. На обеде, данном в честь имперского посольства в 1576 году, «корона» царя лежала возле него на лавке, а вместо нее Грозный попеременно надевал две меховые шапки, увенчанные большими рубинами. «Камни сии, когда начало смеркаться, — восхищенно пишет И. Кобенцель, — засияли подобно двум свечам горящим»⁷³.

Послов вводили в столовую палату, когда царь и придворные уже сидели на местах. Начало такому порядку было положено, по-видимому, после принятия Грозным царского титула: прежде государь мог войти в обеденный зал и одновременно с послами. Но в 1549 году на обеде в честь литовского посольства «царь и великий князь сел за столом и изсадил в большом столе бояр и дворян, и на окольном изсадил дворян, и послал послов звать ко столу»⁷⁴.

Государь сидел за отдельным столом. «По русским обычаям никто, кроме царских сыновей, не может сидеть за столом государя»⁷⁵, — писал в начале XVII в. француз Маржерет. Однако эта норма установилась не сразу. Василий III сидел за одним столом не только с братьями, но и с боярами, которые, правда, находились от него на расстоянии вытянутой руки. Но Иван Грозный и его преемники неизменно восседали за отдельным столом, который на ступень возвышался над остальными. К царскому столу допускались лишь коронованные особы (например, в 1602 г. — принц Голштинский).

Лжедмитрий I решительно отказался сесть за одним столом с послами Сигизмунда III. Послы говорили, будто тем самым будет оказана «честь» королю, но самозванец не без остроумия возразил, что он короля на обед не звал и, следовательно, почтить его не может. Лжедмитрий I устраивал танцы в кремлевских палатах и не ходил, как того требовал обычай, в баню с молодой женой, но при всем том он оказался чрезвычайно неуступчив в вопросах придворного церемониала — послы за один с ним стол до-

пущены так и не были: в сложившихся условиях отступление от принятых норм в какой-то степени означало бы признание зависимости от Речи Посполитой.

Столовый церемониал мог выражать определенные политические идеи. В 1581 году на обеде в честь А. Поссевино произошел небывалый случай: Грозный сел за один стол с несколькими боярами. Возможно, этим царь пытался продемонстрировать монолитность высшего русского общества в минуту опасности — Ливонская война завершалась неудачно для России. Подобная демонстрация была связана, как можно предположить, с тем, что в это время в Польско-Литовском государстве не без основания поговаривали о разброде и «шатости» в Москве.

Расположение столов, за которыми сидели обедающие, напоминало положение лавок в приемной палате, но здесь точкой отсчета был не трон, а царский стол. Справа от него находился наиболее почетный «болший» стол. Договариваясь о встрече на границе Ивана Грозного и Сигизмунда II Августа, бояре выдвигали следующее условие: при визите короля в царский шатер русские будут сидеть «в большом столе», а польские и литовские «паны радные» — «в кривом». Последний ставился слева от царя и имел форму «глаголя». Та его часть, что находилась против царского стола, носила название «окольного места» и считалась наименее почетной. Русский гонец Ф. Вокшеринов в 1554 году сообщал, что дворяне его свиты на обеде в Вильно сидели «против короля, стол поставлен у другие стены, кабы по нашему окольному». Иногда, если на торжественных обедах в Москве гостей было особенно много, к «кривому» столу придвигалась «приставка».

Важен был не только тот или иной стол, но и его стороны. Более «честным» было размещение «в лавке», то есть у стены, лицом к залу. «В лавке» обычно сидели послы, а их приставы рассаживались «в скамье» — лицом к стене. На предполагавшемся съезде монархов, переговоры о котором вело литовское посольство, членам Литовской рады предназначалось место «в лавке», а Польской — «в скамье».

Обедавшие рассаживались за столами согласно местническим принципам под наблюдением разрядных дьяков, хотя, разумеется, дело не обходилось без «спорований». Послы сидели не все вместе, а по отдельности, в окружении тех лиц, которые по своему официальному статусу были равны тому или иному члену посольства: иначе бы-

ли бы «обесчещены» либо сами послы, либо их русские сотрапезники.

В соответствии с размещением за столами обедавшие подходили к царской «чаше» и получали от государя «подачи» вина и еды. Эти виды «чести» как бы дополняли и уравнивали друг друга: тот из двух равных лиц, кто занимал место ниже, в качестве компенсации получал «подачу» в первую очередь и наоборот. Теми же правилами регулировалось поддержание «чести» русских дипломатов при иностранных дворах. Члены посольства должны были «итти к руце и за стол сести, и к чаше итти, перемениаясь: пойдет которой наперед к королю к руце, и из тех двух которой сядет выше, а третьему наперед к чаше итти». На обедах в Москве «подача» главе посольства следовала обычно после бояр, «меншим» послам — после окольных, посланникам — после «болших дворян», гонцам — с «детьми боярскими».

«Подача» — отправление обедавшему еды и питья от имени царя. Это наглядно демонстрировало определенную степень близости к государю и тем самым определенное место в придворной иерархии. Н. Варкоч писал, что у русских «подача» из рук великого князя считалась высочайшей милостью⁷⁶. «Подача» была торжественным актом — название блюда объявлялось вслух, и все присутствовавшие должны были при этом встать. Самым почетным было получение «останков» (пригубленных царем кубков и отведенных блюд), в этом случае через еду и питье как бы происходило непосредственное прикосновение к государю.

Перед началом обеда наиболее знатным гостям царь рассылал хлеб, что символизировало гостеприимство. Характерна сама формула приглашения послов к столу: их звали «хлеба ести». «А первое за столом подал царь и великий князь бояром корки»⁷⁷, — говорится в посольской книге. На частных пирах в Москве то же самое делал хозяин дома. В том случае, когда угощение отправлялось послам на подворье, приставам предписывалось «наперед подати от государя хлебец». Этот хлебец торжественно несли по улицам впереди процессии с царским угощением. Хлеб был первой по времени и главной «подачей», но отнюдь не весь он рассылался обедавшим от царского имени, а лишь какие-то особые хлебцы ритуальной круглой формы.

Соль посылалась далеко не всем. Герберштейн писал, что получить от государя солонку — это самая великая милость, ибо солью он выказывает не просто расположе-

ние, но любовь. Может быть, именно поэтому, как свидетельствует Р. Барберини, соль не стояла ни на одном столе, кроме царского. Заметим, кстати, что соль играла немалую роль и в западноевропейском столовом церемониале. В Англии, например, в XVI в. поставленная на столе солонка была своеобразным ориентиром: наиболее знатные лица рассаживались «выше соли», прочие — «ниже соли».

Важнейшее значение на обедах в Кремле имело и лебединое мясо. Вначале стольники вносили в столовую палату целиком изжаренных лебедей на больших блюдах, с которыми торжественно обходили ряды обедавших, затем уносили и через некоторое время подавали к столу уже разрезанными на куски; царь рассылал их присутствующим. Этот сложный церемониал, равно как и то, что лебеди подавались сразу же после хлеба и вина, раньше других мясных блюд, показывает ритуальное значение лебединого мяса и на посольских угощениях, и на московских официальных обедах вообще. Хотя трудно с определенностью сказать, какое именно значение. На Руси лебедь всегда считался птицей особой, приносящей счастье. Не зря в 1577 году во время победоносного похода русских войск в Ливонию Иван Грозный, угощая в своем шатре пленного литовского воеводу Александра Полубенского, говорил ему о том, что встретил в Ливонии лебедей⁷⁸. Вероятно, царь воспринял это как счастливое предзнаменование грядущих военных успехов. В противном случае нелегко объяснить, почему Полубенский обратил внимание на слова царя и позднее упомянул о такой несущественной, казалось бы, подробности в своем весьма кратком донесении королю.

И еще один вид царской «подачи» неизменно интересовал иностранцев. Одни писали, что в конце обеда царь лично раздавал подходившим к нему придворным соленые сливы, которые подаются к жареному мясу. «Как у нас лимоны», — добавляет Д. фон Бухау. Другие сообщают о сушеных сливах (черносливе); третьи — о конфетах. Во всяком случае, речь идет о каких-то мелких съедобных предметах. Но в чем смысл этого странного обычая?

К концу XVI в. столовый церемониал московского двора окончательно формализовался. В отличие от норм, принятых на частных обедах, где число обедавших было не столь велико, царь лишь изредка передавал еду и питье из рук в руки, да и то самым знатным гостям. Гораздо чаще

от его лица это делали стольники и чашники, специально для того главным образом и стоявшие подле царского стола. При царе их находилось обычно 8—10 человек, при царевиче — 4. Будучи в этот момент своего рода устами и руками государя, они вначале отпивали из чаши, кубка или ковша, а затем передавали тому, кого «жаловал» царь. А заключительная раздача слив или конфет, о чем источники упоминают с третьей четверти XVI в., была как раз личной, выражала не только церемониальную, но и реальную человеческую близость. Борис Годунов после обеда раздавал конфеты десяткам людей, а когда он уставал, его сменял царевич Федор. Заключительная «подача» выражала собой ту непосредственную связь между государем и подданными, которую прежде знаменовали собой все разновидности «государева жалованья» за столом. Не случайно, как подметил датчанин А. Гюльденстиерне, Годунов раздавал конфеты лишь тем, кому он во время обеда пожаловал блюда.

Посольские обеды в Москве продолжались по пять-шесть часов. Начинаясь днем, они заканчивались при свецах, иногда затягивались до глубокой ночи, и приставы провожали послов на подворье с факелами или фонарями. В течение всего этого времени нельзя было уходить из-за стола. Поведение турецкого посла в 1514 году, который раньше времени покинул столовую палату, посольская книга считает необходимым объяснить: «Стола не досидел того деля, что у него ноги были большы»⁷⁹.

Необыкновенная длительность обедов была вызвана непрерывным потоком церемоний — «подач», здравец, «подчиваний» и пр. Барберини писал: «Время от времени царь пил за здоровье кого-либо. Тот вставал. За ним и все прочие. Поклонившись, опять садились. И это происходило так часто, что от движений у меня... час от часу все еще усиливался аппетит» (итальянский купец и дипломат в своих крайне тенденциозных записках даже собственный аппетит ухитрился поставить в вину московским «варварам») ⁸⁰. Но присутствовавшим на обеде и в самом деле постоянно приходилось вставать из-за стола. Я. Ульфелдт вынужден был подняться с места 65 раз. Поссевино за время обеда насчитал 60 здравец. Герберштейн, дабы всякий раз не вставать, со свойственной ему ловкостью делал вид, будто увлечен беседой и не замечает происходящего вокруг. Однако все эти церемонии, их последовательность и сопутствовавшие им словесные формулы имели чрезвычайно важное значение: с их помощью практи-

чески для каждого из участников обеда определялось или подтверждалось место, занимаемое им не только в местнической иерархии, но и в реальной общественной жизни за пределами столовой палаты, что совместная трапеза в присутствии государя закрепляла и освящала. Случайностей здесь не было, ход обеденных церемоний контролировал сам царь. Иван Грозный, обладавший отличной памятью, помнил имена и звания всех сидевших за столами (а их могло быть 200 человек и больше) и называл их вслух, чем поражал и восхищал иностранцев.

При Иване III послы обедали порой на дворах у «ближних» бояр, но уже при Василии III посольское угощение становится прерогативой государя. Даже всесильный фаворит Годунов дипломатических обедов не устраивал, хотя и принимал у себя на дворе послов, прибывших к Федору Ивановичу. И поведение государя за столом приобретает все менее свободный характер. Иван III еще позволял себе шутить с гостями, но его внук вел себя гораздо сдержаннее, лишь произносил здравицы и изредка, что было особой милостью, «подчивал» обедавших. Так, в 1566 году царь литовских послов «жаловал, им говорил, чтоб ели и пили». Еще реже он разговаривал с послами. Вообще Грозный, ужесточая придворный церемониал, возводя в закон то, что при его предшественниках было обычаем, одновременно сам же и тяготился этими нормами, чересчур подчас тесными для его неукротимой натуры. В 1574 году, испытывая, видимо, вполне понятное злорадство при известии о бегстве во Францию Генриха Анжуйского, чья кандидатура на польский престол годом раньше была предпочтена кандидатуре самого Грозного, царь об этом живо интересовавшем его событии беседовал на обеде с литовскими послами⁸¹.

На посольских обедах столовую палату украшали поставцы (разновидность шкафа, буфета) с золотой и серебряной посудой. По словам И. Кобенцеля, ее с трудом могли бы вместить 30 венских повозок. Обилие драгоценной посуды произвело впечатление даже на Р. Ченслера, который в целом довольно презрительно отнесся к попыткам поразить его богатством царя. Вся посуда была, по-видимому, сгруппирована в несколько наборов, и наборы эти постоянно содержались в том или ином поставце. В свою очередь, поставцы были приписаны к определенному помещению. Например, при угощении послов в «Средней палате» Кремлевского дворца часто выставлялся поставец под названием «Орлонос». Кроме него в посольских кни-

гах XVI в. упоминаются еще шесть поставцов: «Соловец», «Колодезь», «Судно», «Писарь», «Христофор» и «Божница» (последний находился в Александровой слободе и скорее всего назывался так не случайно — разгульные пиры в столице опричнины были своего рода «службой», в которой чаши и кубки заменяли собой иконостас). Свои названия поставцы могли получить от изображений на них или от наиболее примечательных предметов их набора. Существовал также особый «Кормовой» поставец, содержащий посуду для угощения послов на подворье.

Количество и качество посуды зависело от политической обстановки и отношения к данному посольству. В 1549 году на угощении литовских послов, отказавшихся признать царский титул Грозного, использовался поставец «Орлонос», содержащий «суды средние» (посуду среднего качества). Но когда в 1557 году шведское посольство в Москве подписало договор о мире, на обеде «наряд был платью и судом болшой». В особо торжественных случаях выставлялся «болшой» поставец, то есть какой-нибудь один с дополнительной посудой из всех остальных. На обеде в честь литовских послов в 1586 году «поставец был болшой — Христофор и из всех поставцов выбор». Персидскому посольству в 1598 году «поставец был болшой — Соловец и прибавочные суды со всех поставцов», причем сообщается, что посуда была выставлена «потому жь, как при прежних послех кизилбаских»⁸². Вероятно, существовали наборы, по традиции использовавшиеся при угощении дипломатов той или иной страны, и в зависимости от оказываемой им «честь» менялся ассортимент посуды. Литовскому посольству в 1576 году, с прибытием которого у Ивана Грозного вновь появилась надежда занять престол Великого княжества Литовского, «поставец был выбран изо всех поставцов, перед прежним с прибавкою»⁸³.

Порой в столовую палату собирали почти всю имеющуюся во дворце драгоценную посуду. На угощении А. Дона в 1597 году «поставцы были в полате у столба все» — находились они вокруг опорной колонны Грановитой палаты, в центре зала. Кроме того, золотая и серебряная посуда стояла у дверей и даже в сенях, где разместили бочонки, ведра и большие ковши. Различные раритеты ставились и на специальных столах — например, немецкие часы «на слонех». Подобные диковинки нарочно ставили так, чтобы послы могли их разглядеть: «против посольского стола поставлены были суды — инроги и барсы,

и лвы, и олени»⁸⁴. О кубках или кувшинах, сделанных в виде единорога, часто упоминают в своих записках и иностранные дипломаты. Возможно, все это располагалось не беспорядочно, а подбирались определенные композиции из драгоценной посуды. Например, среди кубков-животных и кубков-птиц находились и сосуды, изготовленные в виде охотников.

Но все эти сокровища не предназначались для использования во время обеда. Драгоценная посуда, как отмечал еще русский историк и археолог И. Е. Забелин, «составляла после икон едва ли не первую статью комнатного убранства, заменяя для того времени произведения изящных искусств»⁸⁵. Собственно на обеденных столах посуды было немного: большие блюда с мясом или рыбой и чаши для меда (виноградное вино в середине XVI в. было еще редкостью, и даже те послы, которых принимали в Москве с немалыми почестями, могли получить в течение обеда лишь один кубок вина, чаще всего мальвазии). Тарелок не было. Их отсутствие Д. фон Бухау, знавший русский язык и читавший, как можно предположить, летописи, просто-душно объяснял традицией, идущей от Владимира Мономаха: тот запрещал брать с собой в походы «какую-либо кухонную посуду кроме одних вертелов»⁸⁶.

Фон Бухау писал о Грозном, что он «грубых нравов», но вместе с тем внешность и манеры царя произвели на имперского дипломата сильное впечатление. «Величие его наружности и движений, — замечает фон Бухау, — таково, что если его одеть, как крестьянина, и поставить в толпу ста крестьян, то и тут его тотчас можно признать за человека высокого происхождения»⁸⁷.

Важным моментом столового церемониала было отправление еды и питья послам на подворье. Если угощение заменяло собой обед в царском дворце, то оно посылалось «столом полным», который был как бы единой «подачей» от государя. В этих случаях количество провизии и напитков бывало огромным. Порой до 400 человек торжественно несли по московским улицам блюда и бочки, и тысячи москвичей собирались полюбоваться их пышным шествием. В 1602 году на подворье к имперским послам С. Какашу и К. Тександеру прибыло около 200 человек, и доставили они исключительно рыбные блюда — день был постный (дело происходило во время небывалого неурожая первых лет XVII в., и можно себе представить, с какими чувствами взирали на эту процессию голодные москвичи).

Но само «жалованье столом полным» входит в обыкно-

вание лишь к концу XVI в., когда все более редкими становятся приглашения послов к царскому столу. Как и во дворце, посуда употреблялась только золотая и серебряная — ее приносили на подворье из дворцовых кладовых. Перед началом обеда старший стольник от имени государя подавал послам хлеб, в определенном порядке следовали здравицы и царские «подачи», с той лишь разницей, что сам государь на обеде не присутствовал.

Другую роль играло отправление на подворье блюд непосредственно от стола во дворце. «А что послом и дворяном в столе было государево жалованье подачи, — свидетельствует посольская книга, — и те все ества посыланы к послом на подворье»⁸⁸. В этом случае отправлялись те блюда, которые были пожалованы царем во время обеда. Съесть их все послы, разумеется, не могли, а оставить на столе значило нанести оскорбление государю. Так же поступали и русские участники официальных обедов во дворце, что иные из иностранных дипломатов, не разбираясь в чуждых им обычаях, принимали за проявление обычной скупости.

Но «жалованье» послам меда или вина после торжественного обеда было самостоятельным видом «чести». «Почестливость чинится за столом и после стола», — говорили послам русские пристава. В обязанности последних входило отвозить на подворье послам мед и вино от государя. Иногда таких поездок бывало и несколько — в тех случаях, когда послы по каким-либо причинам рано покидали столовую палату. Но посол вовсе мог быть лишен этой «почестливости», если вел себя в Москве неподобающим образом или вызвал недовольство самим характером своей миссии. В 1562 году Иван Грозный не велел приставу после обеда ехать с медом к литовскому посланнику Б. Корсаку, ибо «король прислал грамоту недобру»⁸⁹.

Забота о международном престиже Русского государства выражалась, в частности, и в том, что упорядоченный церемониал дипломатических обедов («стол») все сильнее начал отличаться от обычаев, принятых на неофициальных дворцовых трапезах — пирах. Впрочем, «стол» мог переходить в «пир». В 1558 году бывший казанский хан Шах-Али «у государя ел, а стол был в Столовой избе, а после стола царь Шиг-Алей у государя пировал долго вечера». В 1564 году после обеда в честь крымских послов, что уже в середине XVI в. было большой редкостью, «царь и великий князь пировал»⁹⁰. Из иностранцев на пирах допускалось присутствие лишь татарских дипломатов, кото-

рых в Москве если и угощали, то в более свободной обстановке, с меньшей пышностью. Для них, например, никогда не выставлялись поставцы с драгоценной посудой.

Начиная с середины XVI в. «стол» и «пир» в посольских книгах фиксируются отдельно, следовательно, разница между ними ясно сознавалась современниками. «Стол» отличался чинностью и пышной церемонностью. На пирах царь и его сотрапезники, само собой, вели себя гораздо проще. В пиршественном зале присутствовали музыканты, певцы, даже скоморохи, появление которых на дипломатическом обеде было невозможно. Порой пировавшие надевали маски («машкары»).

Строгий, до мелочей продуманный «чин» посольских угощений нес определенную функциональную нагрузку, которая становилась все значительнее и в итоге резко отделила их от карнавальной обстановки царских пиров.

Церемониальные нормы московских официальных обедов во многом опирались на традиции национальные. Однако обряды, взятые из народной жизни, но проникшие в придворный быт, несравненно более подвижный и гибкий, нежели стихия, их породившая, существенно видоизменились, приобрели новые черты; старинные нормы были приспособлены для выражения политических идей. Эти обряды, став частью государственного этикета, подверглись постепенной формализации, утратили свое ритуальное значение, как это всегда бывает, когда обычай превращается в этикет.

А. С. Пушкин писал: «Неспешно предки наши ели...» Эта торжественная неспешность, призванная выразить великое в малом и бывшая характерной чертой всех русских посольских обычаев, особенно ярко проявилась именно в столовом церемониале московского двора.

В «ОТВЕТНОЙ» ПАЛАТЕ

ПОИСКИ «ПОСРЕДСТВИЯ»

Собственно переговоры с иностранными послами также проходили в Кремлевском дворце, в «Набережной палате, где бояре судят» (там в отсутствие государя Боярская дума разбирала текущие дела). Но посольские книги чаще называют эту палату просто «ответной». В ней, а не в приемных покоях, послам давался «ответ» на привезенные ими грамоты и обсуждались все политические проблемы, для разрешения которых прибыло данное посольство. В относительно свободной обстановке «ответной» палаты, где обе стороны не были стеснены присутствием государя, бушевали страсти, сталкивались аргументы и контраргументы, цитаты из Священного писания перемежались клятвами, взаимными обвинениями, даже перебранками и недвусмысленные угрозы вплетались в тонкую вязь дипломатической риторики.

В день первой аудиенции, которая фактически была представлением послов государю, переговоры не велись, поскольку требовалось время для того, чтобы перевести полученные грамоты, прочитать их царю и составить «ответ». Но в дальнейшем переговоры без предварительной аудиенции у государя считались «безчестьем» для послов, и по традиции каждому их туру предшествовала высочайшая аудиенция. Когда в 1554 году русские послы в Вильно отказались вторично идти на переговоры с литовскими «панами радными», лишь однажды побывав на приеме у короля, им напомнили, что незадолго перед тем и литовские послы, увидев «государские очи» один раз, «по двукрот (дважды. — Л. Ю.) на обмове сидели»¹. Однако по отношению к европейским дипломатам такая практика — скорее исключение, чем правило: инцидент был вызван спорами по поводу царского титула Грозного. Лишь ханские посланцы зачастую отправлялись на переговоры без предварявшей их аудиенции, что ни к каким недоразуме-

ниям не приводило. Аудиенция символизировала то обстоятельство, что переговоры будут вестись от лица самого государя, но в русско-крымском посольском обычае, который отличался меньшей этикетностью, подобная условность не была обязательной. Позднее, в XVII в., даже сами переговоры с крымскими послами велись не в царских палатах, а в помещении Посольского приказа.

В «ответную» палату вначале входили послы с приставами, а затем появлялись бояре и дьяки, которым царь «указал быти у послов в ответе». Такой порядок был «честнее» для русских, ибо послы, дожидаясь их, оказывались в положении просителей. Послы встречали бояр посередине палаты и здоровались с ними за руки («руки подавали»). С мусульманами русские «карашевались». Потом все рассаживались по лавкам друг против друга, а приставы и свита послов покидали помещение. Оставались только толмачи. В Москве по возможности старались использовать своих толмачей, состоявших при Посольском приказе, — крещеных татар, ливонских немцев. Толмачам, которые приезжали с послами, не доверяли. В особенности это касалось польских и литовских переводчиков при западноевропейских миссиях. Услуги этих лиц отмечались заранее, ибо в них не без основания подозревали шпионов.

Стол для переговоров появился в «ответной» палате уже в XVII в., а до этого были только лавки, крытые «полавошниками суконными и камчатными». Бояре, «посидев мало», вставали и «говорили ответ», текст которого предварительно распространялся среди думных людей по отдельным пунктам («статьям»), и каждый в свою очередь произносил свою часть. Иногда «ответ говорили наизусть по статьям», но чаще — «по письму по статьям» (зачитывали с листа). К середине XVI в. «ответы» разрастаются настолько, что выучивать их наизусть становилось трудно. Послы слушали стоя, а при произнесении «царского имени», с чего начинался каждый пункт «ответа», должны были снимать шляпы. Затем все вновь садились на лавки и начинались собственно переговоры (в дипломатической терминологии того времени — «розговор», «обмова»).

Царь контролировал ход переговоров, поскольку ему подробно докладывали о каждом их этапе, а порой представляли списки посольских «речей». В начале XVII в. в «ответной» палате был устроен специальный тайник («смотрильная решетка»), через которую царь мог сам

следить за ведением переговоров (еще позднее и за стенами Грановитой палаты появился подобный тайник, откуда члены царской семьи любовались зрелищем посольских аудиенций).

В день прочтения царского «ответа» сами переговоры велись редко: послам нужно было время, чтобы подготовиться к полемике. Они отправлялись на подворье, куда им впоследствии присылался список «ответа».

Между очередными турами переговоров проходило несколько дней, а то и недель. Это было обусловлено необходимостью консультаций с государем и подготовки к следующему «розговору», где каждая сторона должна была представить противной письменное изложение своей позиции по всем обсуждавшимся вопросам. Случалось, что эту подготовку намеренно старались затруднить. В 1549 году после долгих споров о царском титуле Грозного литовские послы попросили дать им «выпись о царском поставлении, которым обычаем государь на царство венчался, и как предки его то царское имя взяли». Но послам отказали в этой просьбе. «Толко им писмо дати, — приговорил царь с боярами, — ино вперед о том ответы умыслят, и тогды будет в речех говорити о том тяжеле, коли о том ответы составят»².

К. Варшевицкий, польский дипломат и мыслитель конца XVI в., в своем сочинении «О после и посольствах» разработал принцип строгого соответствия между личными качествами посла и страной, куда тот должен был быть отправлен с наибольшей пользой для Речи Посполитой. В Турцию Варшевицкий советовал посылать людей отважных, которых нельзя было запугать, и не скупых, которые не жалели бы денег на подкуп приближенных султана. В Рим, к папе, лучше всего направить человека набожного, однако предпочтительно светского, чем духовного, иначе курия легко подчинит его своему влиянию. Послы в Италию непременно должны были обладать хорошими манерами, во Францию — быстрым умом, в Англию — достоинством в Испанию — скромностью, а переговоры при дворе Габсбургов с успехом смогут вести лишь послы, отличающиеся упорством и твердостью характера. В Москву, как считал Варшевицкий, который сам принимал участие в русско-польских переговорах в 1582 году, следует посылать людей предусмотрительных, осторожных, способных терпеливо вести на переговорах долгие «торги»³.

Разумеется, советы Варшевицкого носят достаточно

умозрительный характер. Во все времена и у всех народов опытный дипломат должен был обладать «терпением часовщика», как говорил Ф. де Кольер, один из руководителей внешней политики Франции при Людовике XIV. Однако многое Варшевицкий подметил точно и сформулировал остроумно: переговоры в Москве с польско-литовскими послами и в самом деле напоминали «торг».

Вначале русские обычно требовали возвращения Киева, Витебска, Полоцка и т. д. Послы, в свою очередь, претендовали на Новгород, Псков, даже на Тверь. Ни та, ни другая сторона всерьез к этим требованиям не относилась. «Где Новгород? — возмущенно восклицали бояре в 1536 году в ответ на подобные претензии литовских дипломатов. — Где Псков? И творца тому нет, отколе те ваши речи!»⁴. Это так называемые высокие речи, то есть требования взаимоневыполнимые. Они должны были продемонстрировать уровень идеальных запросов и знаменовали собой начальный этап переговоров.

Постепенно обе стороны «спускали в речех». Этот процесс сопровождался ожесточенными «спорованиями» и растягивался на несколько туров. «И поехали послы с двора кручиноваты, — описывает посольская книга завершение очередного тура переговоров, — потому что бояре им в речех не спустили»⁵.

«Высокие речи» звучали при обсуждении каждого пункта повестки переговоров. Существовал специальный термин — «посредствие», обозначавший нечто среднее между требованиями обеих сторон, итог желаемого и реально возможного. Упорные «торги» возникали, например, при определении сроков мирного договора. В 1522 году литовские послы в Москве предложили заключить перемирие на 10 лет. Бояре в ответ высказались за срок в два-три года. Послы назвали новые цифры — от восьми до шести лет, бояре — четыре года. Тем самым последние демонстрировали готовность вскоре вновь начать военные действия. В результате было найдено «посредствие»: перемирие заключили на пять лет, к чему примерно и стремились обе стороны. Краткосрочные перемирия русские дипломаты старались заключить с таким расчетом, чтобы срок их истекал осенью. В этом случае полевые работы не могли помешать сбору ополчения, что для Польско-Литовского государства, где значительная часть войск была наемной, имело меньшее значение. В 1586 году перемирие заключили, вернее, продлили до ноября «для того, толко с Литвою доконченье не зделаетца (мирный договор не бу-

дет заключен. — Л. Ю.), ино к зиме промышляти войною, а не в лето»⁶.

Обычай долгих «торгов» выработался именно в русско-литовской дипломатической практике. Это было обусловлено постоянной напряженностью отношений между двумя странами, обилием горячих точек. Но постепенно этот способ ведения переговоров в Москве стали воспринимать как традиционный и единственно правильный. Когда Стефан Баторий презрительно назвал его «торговлей», Иван Грозный в послании польскому королю возразил: «А то не торговля — розговор!»⁷. По словам царя, Баторий на переговорах все «делает одним словом, с бесерменского обычая, а розмовы некоторые не делает»⁸. Заявление это адресовалось А. Поссевино, и оно содержит скрытую издевку: в Москве и в Вене Стефана Батория, который до 1576 года занимал престол вассального от Турции княжества Трансильванского («Седмиградцкого»), считали ставленником султана и обвиняли в союзнических отношениях со Стамбулом. И Грозный, говоря о «бесерменском обычае», напомнил папскому легату это щекотливое обстоятельство.

Возможно, именно подобные обвинения послужили причиной того, что в 1582 году на переговорах с русской делегацией в Ям-Запольском литовские послы решительно отвергли предложение Поссевино подписать мирный договор сроком на девять лет. «Тое слово деветь, — возмутились представители короля, — меж великими господары и в письме непригожо: але нехай будет на осмь, на семь, на пять лет, а толко не на деветь»⁹. В данном случае литовских дипломатов насторожила, очевидно, мусульманская символика числа 9 (вспомним «девятные» поминки), с которой папский посредник мог быть и не знаком. Заключение мира сроком на девять лет давало бы Грозному повод истолковать это как склонность Батория все делать «с бесерменского обычая».

Надо сказать, что и король не упускал случая упрекнуть царя в близких отношениях с «неверными». «Ты словом неприятельми зовешь, — писал он, обвиняя Грозного в связях с татарами, — и гнушаешься ими, а речью (польск. *gzesz* — дело) набольшую крепкость покладаешь и с ними ся сватишь»¹⁰. Последнее — намек на свадьбу царя с Марией Темрюковной.

Постоянные антимусульманские декларации были неизменным элементом всех русско-литовских переговоров. Например, формула «кровь христианская льется, а бесер-

менская рука высится» встречается в посольских книгах несколько десятков раз на протяжении всего XVI в. Такие заявления сущностного значения не имели, реальная политика никак с ними не соотносилась, но сами они были обязательным элементом практически всех переговоров, которые велись между русскими и польско-литовскими дипломатами. Каждая из сторон стремилась обвинить противную, что та «накупает бесерменство на христьянство».

Идея славянской общности возникла еще в польской литературе XV в. Она была широко распространена среди высших слоев западнорусского общества (Ивана Грозного, например, приглашали на престол Речи Посполитой как «человека роду славянского») и нашла отражение в дипломатических документах, в протоколах переговоров. В 1601 году, выдвигая проект русско-польско-литовской федерации, Л. Сапега говорил в Москве, что народы, управлявшиеся Борисом Годуновым и Сигизмундом III, «происходят от единого народа славянского» и «суть одной веры и одного языка»¹¹. Действительно, подавляющее большинство населения Великого княжества Литовского составляли православные. И постоянные войны между двумя сильнейшими государствами Восточной Европы, чьи народы были этнически родственными, говорили на близких языках и исповедовали одну религию, требовали декларации сакрально-этических целей дипломатии и политики. Политический противник должен был быть и религиозным противником.

И русские, и литовские дипломаты всегда старались подчеркнуть, что их требования продиктованы не прагматическими соображениями, а христианской этикой. Причем это было не только хитростью, но отчасти и действительным взглядом на вещи, который в русско-литовских отношениях выражался свободнее и естественнее. Так, в 1537 году в Вильно, добиваясь освобождения пленных, вернее, обмена русских «великих людей» на «молодых людей» короля, послы говорили: «Ино великий человек христьянин, и молодые люди христьяне же, душа одна!»¹². Даже инициатива начала мирных переговоров, что демонстрировало слабость одной из сторон, объяснялась исполнением божественной заповеди смирения: «Яко же и мы оставляем должником нашим». Победитель — это должник, которому следует простить, «оставить».

В 1566 году бояре от имени царя требовали у послов возвращения Подолья, мотивируя это следующим образом: «И брат бы наш (Сигизмунд II Август. — Л. Ю.) то с

души предков своих свел, того б нам поступился, штоб то на душе предков его не лежало»¹³. Согласно логике этих «высоких речей», король, вернув Подолье, мог отчасти искупить грехи своих предшественников на престоле, захвативших эти земли у предшественников Грозного. Однако, когда послы в своих «высоких речах» требовали возвращения Смоленска, бояре отвечали, что предки царя и предки короля, завоевав различные земли, «на суд божей отошли» и живым не следует судить мертвых: «Какое то христьянство, что божей суд восхищати?»¹⁴, то есть предвосхищать Страшный Суд. Эти два высказывания противоречат друг другу. В первом утверждается правомочность оценки деяний мертвых, во втором — отрицается, правда, тенденция в обоих одна: объяснить свою позицию требованиями христианской этики.

Но иногда на дипломатических партнеров пытались воздействовать не только словами. В 1608 году во время переговоров, которые вело в Кракове русское посольство, на королевском дворе вдруг начали стрелять из пищалей. Послы не без юмора заметили: «Для чего та стрельба? Будет король тешитца, и то в его воле, а будет нас для, и нам то не диво, мы в ратех бывали и стрельбу знаем»¹⁵. После этого ружейную пальбу, призванную продемонстрировать воинственные намерения польского двора, велено было «унять».

На переговорах с польско-литовскими дипломатами в Москве применялись различные приемы с целью вынудить послов к уступкам. Важно было понять, действительно ли выставленные послами требования являются пределом их полномочий или между этими требованиями и королевским наказом имеется некий «зазор», который послы хотят сохранить в собственных интересах. Чтобы выяснить этот вопрос, польско-литовских дипломатов часто задерживали в Москве, под любыми предлогами оттягивая очередной тур переговоров. Если они продолжали настаивать на окончательном характере своих условий, переговоры не возобновлялись и послы начинали демонстративно готовиться к отъезду. В таких случаях истинность их намерений должны были проверить посольские приставы. Им предписывалось осторожно «задрать» послов (вызвать на откровенный разговор), чтобы те «еще захотели на двор ехати и дело делати». Это была задача сложная, тонкая, требовавшая немало искусства. В 1537 году приставу при литовском посольстве Я. Глебовича было велено «жалобно молвити» послам следующее: «Толко, панове,

по грехом христьянским не станетца mezi государей доброе дело, и у нас толко были кони розседланы, а ныне нам опять кони седлати»¹⁶. Этой жалобой, которая показывала искреннее стремление русских к миру, пристав, как надеялись посольские дьяки, мог вызвать послов на ответные откровения.

Иногда, для того чтобы испытать твердость послов, не желавших отступать от своих условий, государь давал им прощальную аудиенцию и назначал день отъезда. Послы на подворье укладывали вещи, садились в седла или в сани, и лишь тогда приставы, проверив таким образом границы посольских полномочий, задерживали готовых к отъезду литовских дипломатов в самый последний момент и вновь приглашали на переговоры во дворец.

С послами других государств переговоры велись проще, хотя поведение их в «ответной» палате подчинялось тем же нормам, что и поведение представителей Речи Посполитой. С послами ногайскими и крымскими все политические проблемы обсуждались в обстановке более обыденной (с конца XVI в. все чаще не в царском дворце, а в помещении Посольского приказа), без особых этикетных установлений. Их выспрашивали о намерениях хана, о причинах его действий и т. д. Например, в 1591 году дьяк А. Я. Щелкалов, даже не «карашевавшись» с посланцами Кази-Гирея, учинил им строгий допрос по следующим пунктам.

1. До сих пор хан не присылал в Москву послов для заключения мира по собственной воле или под давлением турецкого султана?

2. Нынешнее посольство прибыло не «обманом» ли? Не для того ли, чтобы скрыть истинные намерения хана, замышляющего набег на русские земли?

3. В недавнем походе на литовские «украины» имел ли хан в своем войске «вогненный бой» (артиллерию)?

4. Каковы ныне взаимоотношения между ханом и султаном, с одной стороны, и польским королем — с другой?

5. Существуют ли дипломатические связи между Крымом и Швецией? (На последний вопрос был получен ответ, что Юхан III прислал Кази-Гирею деньги с просьбой «воевать Москву».)¹⁷

На вопросы посольских дьяков крымские дипломаты отвечали довольно откровенно, хотя откровенность эта, надо полагать, добывалась с помощью богатых поминков, а иногда и прямого подкупа. В 1593 году для получения по-

добных сведений В. Я. Щелкалов одному из крымских гонцов дал «втай» (тайно) пять рублей, а другому — десять¹⁸, что, по-видимому, было делом довольно обыкновенным, если посольская книга даже не считает нужным об этом умолчать.

Впрочем, для получения секретной информации политического характера Посольский приказ применял и иные, более сложные и дорогостоящие способы, не довольствуясь теми сведениями, которые сообщали иностранные дипломаты или привозили из-за рубежа послы русские. Еще в 1499 году дьяк Ф. В. Курицын послал в Вильно тайную грамоту своему «приятелю», некоему «пану Федку Шестакову», предлагая тому передавать в Москву все, что может представлять интерес для русского правительства, — «каково будет слово или речь, или дело которое». А Михалон Литвин (псевдоним литовского автора середины XVI в.) рассказывал о каком-то священнике, который добывал в королевской канцелярии в Вильно копии договоров, решений и протоколов совещаний и пересылал их в Москву¹⁹. И не случайно Г. Штаден, передавая свое сочинение о России Максимилиану II, «покорнейше» просил императора, чтобы сочинение это «не переписывалось и не стало общеизвестным». Штаден опасался мести со стороны Ивана Грозного, ибо тот «не жалеет денег, дабы узнавать, что творится в иных королевствах и землях». Сочинение немца-опричника могло стать известно царю, имевшему «связи при императорском, королевском и княжеских дворах через купцов, которые туда приезжают; он хорошо снабжает их деньгами для подкупа, чтобы предвидеть все обстоятельства и предотвратить опасность»²⁰. Скорее всего Штаден с целью привлечь к себе внимание императора, подчеркнуть значение собственной персоны преувеличивал риск, которому он подвергался за пределами России, и грозившие ему со стороны агентов Грозного опасности, но, несомненно, русские и немецкие купцы выполняли за границей поручения такого рода. То же самое можно сказать об иностранных купцах в России. В течение многих лет действовал в Москве агент Габсбургов — голландский купец Ян де Валле, которого русские называли Иваном Белобородом. Постоянным источником информации для своих правительств служили жившие в Москве купцы английские, в Новгороде — шведские и ливонские.

Лучше всего русская разведывательная служба была поставлена в литовских землях, где она опиралась на сочувствие православного населения. Грозный не раз выка-

зывал поразительную осведомленность по многим вопросам не только внешней, но и внутренней политики Польско-Литовского государства. За рубежом собирали даже слухи («что в людех носитца»), которые сами по себе, независимо от их истинности, были показателем общественных настроений и умело использовались русскими дипломатами в ходе переговоров. Как считает В. И. Савва, на протяжении всего XVI в. тайные связи с зарубежными агентами находились в ведении посольских дьяков²¹.

Взаимное недоверие — характерная черта дипломатии феодального общества. «Они лгут вам? Ладно. Лгите им еще больше!» — наставлял своих послов Людовик XI. «Муж добрый, отправленный на чужбину, дабы там лгать на пользу отечеству», — так определял назначение посла английский дипломат XVI в. Г. Уоттон. В Москве даже бытовало мнение, будто все литовские посольства «делаются неправдою», чтобы «которое время чем попроизволочити». Не доверяли и другому ближайшему соседу — Швеции. В 1568 году, когда король Эрик XIV, заключивший союз с Россией, был свергнут с престола герцогом Юханом Финляндским (будущим королем Юханом III), русский гонец в Стокгольме А. Шерефетдинов заподозрил, что этот почти бескровный переворот — всего лишь комедия, фарс, нарочно разыгранный шведами с единственной целью — ввести в заблуждение русское посольство И. М. Воронцова и не выполнить взятых на себя по договору обязательств о совместных действиях против Речи Посполитой. Шерефетдинов сообщал: «То дело меж ими (герцогом Юханом и Эриком XIV. — *Л. Ю.*) было обманкою, что по Иванову (Воронцова. — *Л. Ю.*) посольству дела не хотели делати; стрельбою стреляли ухищрением на обе стороны, людем изрону не было»²². Эту же трактовку переворота 1568 года повторил сам Грозный, некоторое время считавший нового шведского короля подставным лицом. Царь писал ему: «И то уже ваше воровство все наруже — опрометаетесь, как бы гад, розными видами»²³. На самом деле переворот произошел настоящий: Эрик XIV был заключен в тюрьму, где и умер. Но Грозный полагал, что его обманывают, что король лишь переменял обличье подобно сказочному змею («гаду»). И это совершенно фантастическое, казалось бы, предположение вытекало не из одной гипертрофированной подозрительности Грозного, но и из самого духа тогдашней дипломатии, причем отнюдь не только шведской, русской или польско-литовской.

Иногда, для того чтобы ввести партнера в заблуждение

и добиться своих целей, применялась откровенная дезинформация. В 1591 году, вскоре после того как кахетинский царь Александр признал свой вассалитет по отношению к России, Борис Годунов заверял грузинских дипломатов: «Все великие государи христьянские — цесарь римской и король ишпанской, и король францовской, и литовской король, и иные великие государи, все учинились в государя нашего воле, и что государь наш ни прикажет, и они так и учинят»²⁴. Заверение это служило вполне понятной цели — убедить царя Александра в правильности его решения. А годом позже на переговорах с крымскими послами, пытаясь разрушить складывавшийся союз хана Кази-Гирея со шведским королем, чрезвычайно опасный для России, посольские дьяки утверждали, что Юхан III поддерживает дипломатические отношения только с новгородскими наместниками, а «до государя нашего ему дела нет»; следовательно, союз хана со Швецией, направленный против России, не имеет смысла. Кроме того, Кази-Гирей, мол, не приобретет ни малейших выгод от связей с Юханом III, ибо «взяти у него нечего ж: сам беден и голоден, и с таким наперед для чего ссылаться?»²⁵. С подобными же целями имперские дипломаты в Москве настаивали на действительном, а не номинальном вассалитете Пруссии и Ливонии по отношению к Габсбургам, а польско-литовские послы могли сослаться на несуществовавшие договоры между королем и крымским ханом.

Исследователи прошлого столетия считали, что различным уловкам и хитростям при ведении переговоров русские дипломаты научились у греков, которые прибыли в Москву в свите Софьи Палеолог и позднее в течение многих лет выполняли ответственные дипломатические поручения Ивана III за границей и при московском дворе. Действительно, среди них были образованные люди, знатоки византийских традиций, продолжавшие честно служить своей новой родине еще при Василии III: например, Юрий Траханиот и его племянник Юрий Малый, Дмитрий и Мануил Ралева и некоторые другие. Вероятно, они помогли становлению следующего поколения русских дипломатов, активно выступившего уже к началу XVI в., а заявившего о себе еще раньше. Однако не следует забывать, что не менее прилежными учениками византийцев были и дипломаты республики Святого Марка. Именно венецианцы сначала в Италии, а затем и в других странах Южной Европы распространили многие приемы византий-

ского дипломатического искусства. И в России, и в Западной Европе средства применялись одни и те же, во всяком случае весьма схожие, хотя, конечно, существовали и различия, обусловленные особенностями исторического развития Русского государства, национальными обычаями и характером международных отношений внутри восточно-европейского региона.

Жан де Лабрюйер (1645—1686 гг.) писал о дипломате своего времени: «Вся его деятельность направляется двором, все его шаги заранее предуказаны, даже самое незначительное его предложение предписано ему свыше; тем не менее в каждом трудном случае, в каждом спорном вопросе он действует так, словно только что принял решение сам и руководствовался при этом лишь мирными намерениями». Лабрюйер говорит о дипломатах западноевропейских, но как тут не вспомнить исключительно подробные «наказы», которые получали русские послы, отправляясь за границу, и которыми предусматривались буквально каждый их шаг и каждое слово. А пышные декларации мирных намерений, без чего не обходились ни одни переговоры между Россией и Речью Посполитой, Россией и Швецией?

«Он распускает ложный слух об ограниченном характере своей миссии, — продолжает Лабрюйер, — хотя облечен чрезвычайными полномочиями, к которым прибегает лишь в крайности, в минуты, когда не пустить их в ход было бы опасно... Он хладнокровен, вооружен смелостью и терпением, не знает усталости сам, но умеет доводить других до изнеможения и отчаяния. Готовый ко всему, он не страшится медлительности, проводочек, упреков, подозрений, недоверия, трудностей и преград, ибо убежден, что только время и стечение обстоятельств могут повернуть ход событий и направить умы в желательную для него сторону. Порою он даже прикидывается, будто склонен прервать переговоры, хотя как раз в это время больше всего хочет их продолжать; если же, напротив, ему дано точное указание употребить все усилия, чтобы прервать их, он с этой целью всемерно настаивает на их продолжении и окончании».

Не так ли вели себя польско-литовские и шведские послы в Москве, а русские — в Вильно, Кракове и Стокгольме? Бесконечные «торги» и сокрытие истинных полномочий, мнимое желание вернуться на родину и мнимая же готовность продолжать переговоры, когда получен-

ные предписания требуют обратного, — все это знакомо, все это было.

«Он принимает в расчет все, — завершает Лабрюйер свое эссе о дипломате, — время, место, собственную силу или слабость, особенности тех наций, с которыми ведет переговоры, нрав и характер лиц, с которыми общается. Все его замыслы, нравственные правила, политические хитрости служат одной задаче — не дать себя в обман самому и обмануть других»²⁶.

Эту характеристику можно с равным успехом применить и к французским дипломатам эпохи Людовика XIV, и к русским дипломатам времен Ивана Грозного, Бориса Годунова или первых Романовых.

СЛОВО «ИЗУСТНЕЕ»

В дипломатической полемике часто использовались примеры из истории — русской, всемирной и священной, — различные документы царского архива, свидетельства летописей, цитаты из библейских и святоотеческих текстов или аллюзии на них. Последнее было особенно распространено в тот период, когда во главе Посольского приказа стоял дьяк И. М. Висковатый, один из образованнейших людей России того времени. Он был настолько «навычен» слогу церковно-учительской литературы, что ему даже поручали писать грамоты от имени самого митрополита Макария. Висковатый создал при Посольском приказе небольшую библиотеку, которая использовалась для дипломатических нужд. Состав ее определить трудно, но мы знаем, что среди книг этой библиотеки были какая-то «датская космография» (сочинение по географии), мусульманский Коран, русские «летописцы», польские и литовские хроники, сочинения Иоанна Дамаскина и Иоанна Златоуста. Были, вероятно, и другие книги, нам неизвестные. Эта библиотека могла быть слита с царским книгохранилищем после казни Висковатого в 1570 году, когда на смену ему пришли гораздо менее образованные братья В. Я. и А. Я. Щелкаловы. Но при Висковатом цитаты из Библии и «отеческих» писаний постоянно употреблялись не только в дипломатических документах, но и во время устных переговоров, что требовало свободного владения цитируемым текстом.

Обычным приемом полемики было проведение аналогии между конкретной политической ситуацией и ее библейским архетипом. Объясняя в 1559 году литовским по-

слам причины Ливонской войны, бояре вспоминали Евангелие от Матфея: «Аще в котором дому не примут вас, прах от ног ваших отрясете во свидетелство их». И далее: «Целихом Вавилона и не исцеле, и несть ему откуда помощи». Известно, что в качестве одной из причин Ливонской войны было распространение в Прибалтике лютеранства. «Вавилон» — это впадшая в ересь лютеранская Ливония. А поскольку учение Лютера и в Литве находило все больше сторонников, то даже взятие Изборска отрядом литовского воеводы Полубенского декларировалось как «плен Сиона от Вавилона». Царь наказывал Ливонию за «вины», совершенные по отношению не только к нему самому, но и к богу. Недаром бояре обещали, что царь простит «вифлянтов», если они «вразумеют будет к богу исправиться». В борьбе столкнулись не Ливонский орден и Москва, а новый Вавилон и «разумный Иерусалим». Поход в Прибалтику был предпринят во исполнение божественной заповеди: как говорили бояре, «по божию слову, всяк пастырь душу свою полагает об овцах и иных в паству привести желает, и яже не суть от двора его, да глас его слышат, и будет едино стадо, и един пастырь!»²⁷.

Любопытна часто применявшаяся при Иване Грозном формула «а ныне тот же бог». Настаивая на том, чтобы литовские послы признали царский титул Грозного, бояре вспоминали: «Александр король деда государя нашего не учал был писати «всеа Руси», и бог на чем поставил? Еще к тому Александр король и многое свое придал, а ныне тот же бог!»²⁸. В другой раз после рассказа о походе русских войск из Киева на Царьград, который должен был показать могущество родоначальников династии русских государей, последовало заключение: «А ныне тот же бог и государя нашего правда». Правильность конкретной позиции зиждлась на представлениях о неизменности миропорядка. Ироническая формула выражала уверенность в будущей поддержке царя высшими силами по аналогии с помощью, уже оказанной этими силами его предшественникам на престоле.

В 1568 году, когда на переговорах в Москве литовские послы потребовали возвращения Полоцка, за пять лет перед тем взятого русскими войсками, бояре в ответ рассказали следующую историю. Некий «философ Иустин», вознамерившийся «поискати премудрости свыше всех философ», ехал берегом моря и увидел отрока, копавшего в песке яму. На вопрос философа отрок отвечал, что хочет голыми руками наполнить эту яму морской водой. Философ

усмехнулся: «Младенчески еси начал, младенческое и совершаешь!» На это отрок возразил, что «младенчески» рассуждает сам Иустин, задумавший стать мудрее всех философов. Затем загадочный отрок исчез — «и невидимо бысть отроча», а Иустин «то в себе узнал, что выше меры учал дело замышляти»²⁹. По мысли бояр, литовские дипломаты могли сопоставить собственные претензии на возвращение Полоцка с претензиями незадачливого «философа Иустина».

Но иногда в дипломатической полемике использовались и просто бытовые анекдоты — «притчи». В 1559 году литовский посол В. Тышкевич, добываясь заключения перемирия, вспоминал такой случай: «Приехал князь великий Василей (имеется в виду Василий III. — Л. Ю.) в село да молвил попу, чтоб готовился ранее к обедне. А поп отвечать не смел, что не готов. А князь великий стоит в церкви. И поп, модчав много (помедлив. — Л. Ю.), да молвил: „Да добрые, государь, часы о чем не обедня?“». И князь Василей догадался, что он не готов и «велеле часы говорить». Затем следовала мысль, подкреплением которой служил этот рассказ: «А наше дело потому ли: чем бы то перемирье не мир?»³⁰.

Тот же Тышкевич, не соглашаясь с русскими условиями перемирия и апеллируя к Иоанну Златоусту, выбрал из него чисто житейскую притчу: «У некоего в подворье была змея, да съела у него дети и жену, да еще захотела с тем человеком вместе жити. И тот нынешний мир кому жь подобен? Съедчи змее жену и дети, съесть и его самого!»³¹. Под «неким» человеком Тышкевич подразумевал Польско-Литовское государство, а под женой и детьми — гибнущий Ливонский орден.

Иногда применялись даже притчеобразные действия: они должны были сделать высказанную мысль более яркой и образной. В 1575 году на русско-шведских переговорах князь В. И. Сицкий-Ярославский бросил наземь свой посох, заявив, что так же не может что-либо изменить в царском наказе, как этот посох не способен по собственной воле подняться с земли.

Часто на переговорах звучали пословицы, поговорки, емкие афористические формулы. «Гнилыми семяны хто ни сеет, толко труд полагает, — говорил А. Ф. Адашев литовским послам. — Как тому взойти, что гнило всеяно?» И. М. Висковатый сетовал: «А непожитьем меж государей всем их подданным лиха ся достанет, кабы и Адамова греха». Были в ходу следующие афоризмы: «по

грехом малым делом гнев воздвигнетца, ино и великими дела устати его скращати»; «всякой слуга службу свою доводит, должное свое сводит»; «источники от болших кладезей, так же и дела: первое, болшее дело уговорив, да меньшее починати» и др. «Любовь к афоризмам типична для средневековья, — пишет академик Д. С. Лихачев. — Она была тесно связана с интересом ко всякого рода эмблемам, символам, девизам, геральдическим знакам — к тому особого рода многозначительному лаконизму, которыми были пронизаны эстетика и мировоззрение эпохи феодализма»³².

Посольские книги донесли до нас живое устное слово людей XVI в. В. Я. Щелкалов говорит о Стефане Батории: «Несетца о всем к небу, как сокол!» Русский посланник А. Резанов, вернувшись из Вены, передает мнение одного из тамошних вельмож о финансовых затруднениях польского короля при выплате денег наемникам: «Угорскими вшами не заплатити найму!» — что было намеком на венгерское происхождение Батория. «Ни одное драницы государь наш от Смоленска не поступитца!» — восклицают бояре. В ответ на угрозу русских дипломатов не писать Батория «королем» в грамотах, поскольку тот Ивана Грозного не пишет «царем», следует незамедлительный ответ: «Ино вам с кем миритися?» Шведские послы замечают: «И то где слыхано, чтобы города отдавати даром? Отдают даром яблока да груши, а не города!»

Не важна историческая значимость этих слов, безразлично, где они звучат — в Москве, Вильно, Вене, в королевском дворце или в «съезжем» шатре над рекой Сестрой, но за ними — жизнь. Посольское слово «изустнее» воссоздает ту неподдельную атмосферу разговора, человеческого общения, которая позволяет нам ощутить прошлое не только через факт, но и через мгновенную эмоцию, вызванную этим фактом. И дипломат предстает перед нами не просто как производное своей миссии, а как живой человек, обуреваемый страстями, способный шутить и негодовать, торжествовать и печалиться.

ИТОГИ И ГАРАНТИИ

«ВОЛЯ НАША ТА...»

Результатом переговоров, которые вело в Москве то или иное посольство, были дипломатические документы трех типов: «ответные листы», письма государя к снарядившему посольство монарху («посыльные грамоты») и, если стороны приходили к какому-то соглашению, собственно договоры («договорные» или «перемирные грамоты»), подлежавшие ратификации обоими монархами.

«Ответные листы» излагали позицию русской стороны по обсуждавшимся вопросам; они составлялись в Посольском приказе и даже не всегда, по-видимому, прочитывались перед царем и думными людьми. Иностранные дипломаты получали их на руки и увозили с собой. При этом перевод, сделанный посольскими толмачами, тщательно проверялся толмачами московскими и сличался с оригиналом. Аналогичные правила существовали и при западноевропейских дворах. Русские дипломаты за границей внимательнейшим образом просматривали «ответные списки», следя за соблюдением всех формальностей. В 1576 году послы в Вене, «ответу смотрив», обнаружили, что хотя в нем и написан царский титул Ивана Грозного, за чем предписывалось наблюдать в первую очередь, зато пропущен великокняжеский. «Не ведают, што пишут, пьяни!» — оправдывался имперский пристав, обещая вернуть список в канцелярию для исправления. На следующий день он привез тот же самый список, где слова «великий князь» были попросту вставлены между строк. Но послов не удовлетворило такое половинчатое решение проблемы. «Государя нашего имени вчерне быти невзгоже!»¹ — говорили они, настаивая, чтобы документ был переписан полностью.

Если «ответные листы» увозили сами послы, то «посыльные грамоты», написанные не «повелением» государя, а непосредственно от его лица, могли быть посланы

лишь с подданными этого же государя. Едва посольство отбывало из Москвы, как вслед за ним отправлялся гонец с царским посланием. Этот принцип наиболее строго выдерживался в отношениях с соседними Польско-Литовским государством и Швецией, менее строго — в связях с другими странами и совсем не выдерживался в русско-крымской дипломатической практике, где часто грамоты царя к хану доверялись для перевозки крымским дипломатам. Представителей третьих стран в двусторонних отношениях московская дипломатия использовала в редчайших случаях. (Например, в 1561 году англичанину А. Дженкинсону было поручено передать какие-то грамоты Ивана Грозного эмиру бухарскому.)

Иные из посланий к иностранным монархам, написанных от царского имени, диктовал сам царь (многие письма Грозного к Стефану Баторию и Юхану III носят яркую печать его неповторимого и трудно имитируемого стиля), но в большинстве случаев он лишь выслушивал уже готовый текст и вносил коррективы. А порой и эта функция передоверялась Боярской думе. По словам Д. Горсея, дума «решает, каково должно быть содержание грамоты», после чего посольскому дьяку «поручается сочинить и набросать ее»; тот представлял черновик, но окончательный вариант дума уже не рассматривала. Как свидетельствует Г. Котошихин, посольский дьяк грамоты к иностранным монархам сам не писал, поручая это подьячим, и только исправлял текст — «чернит и прибавляет что надобно и что не надобно». Этот вариант утверждался сначала Боярской думой, затем думой в присутствии царя². Именно тем обстоятельством, что итоговый текст правительством не контролировался, Горсей объяснял грубые выражения, которые А. Я. Щелкалов, известный враг англичан, самовольно вставлял в грамоты Федора Ивановича к Елизавете I.

Царским грамотам предпосылалась обширная преамбула богословского характера, призванная указать на божественное происхождение власти русских государей. В отдельных частях она была заимствована из сочинений популярного на Руси византийского богослова псевдо-Дионисия Ареопагита. Эта преамбула, бывшая при Иване III и Василии III еще относительно краткой, после венчания Ивана Грозного на царство в 1547 году расширилась и усложнилась: в нее было введено перечисление атрибутов божества. Еще более развернутыми преамбулы царских посланий стали к концу XVI в. В 1594 году «начало гра-

моте» Федора Ивановича к персидскому шаху было «писано по новому государскому указу с прибавкою, для того, что шах к нему, ко государю, пишет со многою похвалою и высокословно». Вот преамбула этой грамоты: «Бога единого, безначального и безконечного, невидимого, страшного и неприступного, превыше небес пребывающего, владающего силами небесными и единым бессмертным словом премудрости своя видимая и невидимая вся сотворшаго, и самодержавным божественным духом вся оживляющего, и недреманным оком на землю призирающего, всяческая на ней устрояющего и утешения благая всем человеком подавающего, его же в трех именах трепещут и боятся небесная и земная, и преисподняя, и трисятельного его всемогущего божества стоим и движимся, и пребываем мы, великий государь...»³. Правда, преамбулы грамот к западноевропейским монархам были много короче и составлялись не столь «высокословно», хотя титул всегда писался полностью, без сокращений.

Иногда преамбула, имя государя и его титул «по Владимирского» писались золотом и обводились золотыми кругами. Скорее всего последнее было заимствовано из практики восточных канцелярий. Но в сознании русских людей XVI в. эти золотые круги вызвали, по-видимому, определенные ассоциации, связанные с представлениями о божественной природе царской власти. Как писал Иосиф Волоцкий, русский богослов и публицист конца XV — начала XVI в., круг «образ носит всех виновного бога — яко же круг ни начала, ни конца не имат, сице и бог безначален и безконечен»⁴.

По замечанию С. Герберштейна, бояре называли Василия III «божиим ключником и постельничим». Имперский дипломат середины XVI в. И. Пернштейн писал о России: «Подданные смотрят на своего государя, как на лицо, приближенное к богу, и как на исполнителя божественной воли». Стефан Баторий упрекал Грозного в том, что бояре величают его «богом»⁵. Мнение иностранцев подтверждается и русскими источниками. «Суд царев — суд божий», «сердце царево в руке божией», — гласят русские пословицы того времени. «Тебе, моему государю, яко богу и царю, рабское многое поклонение до лица матери всех (до земли. — Л. Ю.)»⁶, — так обращался к Василию III М. И. Алексеев, в 1514 году отправленный посланником в Стамбул. Возможно, эти представления, типичные для восприятия императорской власти в Византии, появились на Руси вместе с греческими сановниками

из окружения Софьи Палеолог (очевидно, Алексеев был греком по происхождению). Правда, были тенденции и прямо противоположного порядка, иностранцами не замеченные. Не случайно, разумеется, именно в годы правления Ивана Грозного широкое распространение получило «Слово о Дариане-царе, како повелел ся звати богом». И все-таки к середине XVI в. «обожествление» русских государей становится фактом, характеризующим социальную психологию московского двора. В миниатюрах «Жития Сергия Радонежского», например, даже те великие князья, которые не были канонизированы, изображаются в золотых нимбах. И золотые круги на царской грамоте, включающие в себя имя и титул государя, невольно должны были соотноситься с подобными представлениями, пусть и неосознанно.

Позднее имена и титулы не только русских государей, но и иностранных монархов, которым адресовались царские послания, стали выводить золотом. Хотя тоже не целиком: шведского короля писали золотом «по Свейского», польского — «по Полского» и т. д. Со временем начала разниться и бумага. Для царских посланий к наиболее значительным государям обычно использовалась бумага «большая александрийская» (наивысшего качества), к менее значительным — «средняя», а грамоты к германским князьям, например, к ганзейским городам или крымскому хану писали на «меньшей александрийской» бумаге. На посланиях, направлявшихся турецкому султану, фон у верхнего обреза дополнительно декорировался «травами» (рисованными узорами). Но вся эта сложная система канцелярского этикета в законченном виде сложилась уже к середине XVII в.

При Иване Грозном имя и титул русского государя в его грамоте всегда ставились на первом месте, а имя и титул коронованного адресата — на втором. Но в начале столетия в этом отношении пытались соблюдать очередность. В наказе А. М. Кутузову, который в 1503 году был отправлен послом в Стамбул, был предусмотрен вопрос турецкой стороны о том, почему в великокняжеской грамоте первыми написаны имя и титул Ивана III. Кутузову предписывалось отвечать: «Наперед того государь наш писал свою грамоту к Баазит-салтану, и государь наш его почтил, написал в своей грамоте Баазит-салтаново имя наперед своего имени. И Баазит-салтан писал ко государю к нашему свою грамоту, и где было ему государя нашего противу почтити, написати имя государя нашего на-

перед своего имени. А он писал свое имя наперед государя нашего имени. И государю нашему чего доля писати его имя наперед своего имени?»⁷.

В конце XV — начале XVI в. турецкая дипломатия предпринимала отдельные попытки подчеркнуть неравноправие Москвы по отношению к Порте. Не случайно М. А. Плещееву, русскому послу в Турции (1496 г.), строго наказывалось «поклон правити стоя», а не на коленях. И не случайно, конечно же, в 1514 году Камал-бек, находясь в Москве и составляя список своих «речей», пропустил в нем «о братстве межи государями». «Невежливая» грамота Баязида II к Ивану III — одна из таких попыток, встретившая, как и все остальные, решительное противодействие. Хотя турецкий султан и считался сюзереном крымского хана, однако нормы русско-крымской дипломатической практики, согласно которым великокняжеское «имя» всегда писалось в грамотах на втором месте, ни в коем случае не могли быть перенесены на отношения с Портой: отмиравшие традиции, унаследованные от прежних связей русских княжеств с Золотой и Большой Ордой, здесь были невозможны.

Грамоты русских государей, отправлявшиеся иностранным монархам, особенно польским королям, вначале обычно излагали ход переговоров, которые предшествовали данным. В 1579 году Стефан Баторий, незнакомый с такой манерой дипломатической переписки, был удивлен размерами послания Ивана Грозного, иронически заметив: «Должно быть, начинается с Адама!»⁸.

Русские послы или гонцы везли к иностранному монарху одну-единственную грамоту царя. Лишь в 1588 году посланник А. Резанов получил в Москве две грамоты от Федора Ивановича к германскому императору Рудольфу II. Обе грамоты были составлены с учетом всех требований, предъявлявшихся к подобного рода документам. Однако содержание их было совершенно различным. В первой сообщалось о прибытии в Москву персидских послов и в радужных тонах рисовались перспективы соединения против турок империи Габсбургов, Персии и России. Вторая грамота содержала просьбу о пропуске в Россию военных товаров и излагала позицию русской стороны по вопросу о выборах нового польского короля — именно эта грамота была настоящей. Первая же была написана для других целей. Резанову было велено ее «везти явно, для литовского проходу, а цесарю не отдавати»⁹. При следовании через территорию Речи Посполитой рус-

ское посольство могло подвергнуться нападению или провокации, и в этом случае добычей польско-литовских разведчиков стала бы первая грамота, которая, по сути дела, являлась средством дезинформации противника.

В то же время дипломатическая переписка русских государей с Крымом строилась по татарским образцам: часто к одному и тому же адресату, прежде всего к самому хану, посылались несколько грамот, каждая из которых была посвящена какому-то одному вопросу.

В Посольском приказе неизменно проявляли заботу о сохранности в пути дипломатических документов. Они перевозились в особых берестяных или деревянных «коробьях» и ящичках, а царские грамоты посылались в отдельных мешочках — по-видимому, кожаных, чтобы предохранить бумагу от сырости. В 1604 году М. И. Татищеву, отъезжавшему в Грузию, наказывалось ни в коем случае «посольских дел и посылки не подмочити», для чего посол должен был «через большие грязи и через недомостки коробья велети провожати и переносити на себе, чтоб однолично в тех коробьях ничего не подмочити»¹⁰. Крымские послы на аудиенции в Москве подавали грамоты хану «в мешке золотном». Возможно, специальные мешочки из шитой золотом парчовой ткани применялись и русскими дипломатами при передаче ими царских посланий иностранным монархам.

«Ответные листы» и царские грамоты составлялись в одностороннем порядке, но грамоты «договорные» закрепляли достигнутые на переговорах двусторонние соглашения и оформлялись по иным стереотипам.

Русско-литовские договоры писались в двух экземплярах. Если переговоры проходили в Москве, то экземпляр, написанный от имени короля, увозили с собой послы, а царский экземпляр доставляло королю уже русское посольство — монарх должен был присягнуть на обеих грамотах. Затем происходил обмен экземпляров: каждая сторона оставляла у себя на хранение экземпляр другой стороны. Когда литовские дипломаты отказались в своем экземпляре написать царский титул Грозного, соглашение тем не менее было заключено: бояре рассудили, что русский экземпляр с полным титулом будет храниться у короля, а королевский, без титула, останется в Москве и его никто не увидит.

С другими государствами договоры составлялись на двух языках: (еще первые договоры киевских князей с Византией писались «на двою харатьи»). Договоры, со-

ставленные в двух экземплярах, назывались «противни» или «дефтери» (греч. «девторос» — второй). Последний термин чаще употреблялся в отношениях с ханскими «юртами», и то лишь до конца XV в. Начиная с середины следующего столетия обычно составлялось уже не два, а четыре экземпляра дипломатического договора: текст от имени каждого из монархов параллельно писался на двух языках, и обе грамоты, вкупе составлявшие экземпляр той или иной стороны, попарно сшивались золотым шнуром по нижнему, чистому краю листа. В царской «паре» сверху клался русский текст и наоборот — в двойном экземпляре императора Священной Римской империи, например, немецкий или латинский текст покрывал собой русский. Однако при заключении договоров с теми монархами, которых русские государи не признавали «братьями» — с датским королем или магистром Пруссии, — московские дипломаты настаивали на том, чтобы в обеих «парах» экземпляр, написанный по-русски, лежал сверху.

Практически идентичные по содержанию грамоты на разных языках, писавшиеся русскими и иностранными писцами, различались канцелярским оформлением, внешним рисунком. Так, в шведском экземпляре Тявзинского мирного договора (1595 г.), чтобы умалить значение противной стороны и «взвысить королево имя», слова «Русь» и «Федор Иванович» написаны более мелкими буквами, чем «Швеция» и «Сигизмунд». Кроме того, имя шведского короля неизменно выделено еще и правым наклоном почерка вместо левого, принятого во всем остальном тексте, в том числе и при написании имени русского государя¹¹.

Вопросом первоочередной важности был вопрос о размещении на листе с текстом договора «государских имен». В русско-крымских договорах на первом месте стояли имя и титул хана, чем подчеркивалось его первенствующее значение, и правило это соблюдалось вплоть до конца XVI в. В договорах с Пруссией при Василии III и с Данией при Иване Грозном всегда находилось выше «государское имя». В царском экземпляре русско-датского договора 1562 года заключение соглашения формулируется следующим образом: «И мы, великий государь Иван Васильевич., Фредерика, короля датского и норвейского, учинили есмя в приятелстве и в суседстве, и в единачестве». В датском экземпляре читаем: «Ты, великий государь Иван Васильевич., учинил меня, Фредерика Второго, короля датского и норвейского, в приятелстве и в су-

седстве, и в единачестве»¹². По сути дела, договор Ивана Грозного с Фредериком II был составлен по образцу жалованной грамоты и декларировал свободную волю лишь одной стороны — русской. Такой договор считался милостью царя, его «жалованьем» датскому королю. Эта формула применялась в русской дипломатической терминологии еще в начале XVI в. Юрий Малый Траханиот в 1518 году говорил прусским послам, что магистр Альбрехт просил Василия III «его пожаловати, в завещанье с собою учинити». Речь здесь идет о договоре («завещаньи»), заключенном с Пруссией в 1517 году. «И мы его пожаловали, — от лица великого князя продолжал Траханиот, — в завещанье с собою учинили»¹³. Заметим, кстати, что Византия любой договор с любым правителем, даже невыгодный для нее, вынужденный, рассматривала как акт милости, облакая его в форму, аналогичную форме русско-датских или русско-пруссских соглашений. При заключении договоров с другими государствами, в том числе и с Польско-Литовским, московская дипломатия применяла систему альтерната — имя монарха занимало первое место в тексте его экземпляра.

«Враг наш и супостат диавол наводит человеком в мыслях рати и нестроения!» — неоднократно заявляли русские, польско-литовские и шведские дипломаты. Тем не менее при заключении мирного договора каждая из сторон не желала показать себя его инициатором, так как это считалось проявлением слабости, знаком поражения. В этой связи русская дипломатия выработала такую оригинальную форму заключения мирного договора, как «перемирие по печалованью». Скорее всего этот остроумный и тонкий прием впервые был подсказан царю И. М. Висковатым в 1553 году во время русско-литовских переговоров в Москве. Именно по его предложению в обоих экземплярах «перемирных» грамот было записано, что царь согласился на перемирие лишь «по печалованью» своих бояр, которые просили его «учинить» Сигизмунда II Августа «в мире». Впоследствии литовские дипломаты очень сожалели, что опрометчиво допустили внесение в текст договора столь двусмысленной формулировки. С их стороны это была серьезная оплошность. Недаром же через 17 лет, вскоре после того, как сам Висковатый принял мученическую смерть на рыночной площади в Москве, гордо отказавшись просить о помиловании, давняя удачная находка казненного посольского дьяка была использована царем в его дипломатической переписке. Грозный не без злорадст-

ва напомнил Сигизмунду II Августу, который отказывался признавать за ним царский титул, об унижительной для короля формулировке договора 1553 года: «И то ли брату нашему честнее, что нас писати царем, или что нам за него печалуютца наши бояре?»¹⁴.

Позднее форма перемирия «по печалованью» бояр или царских сыновей применялась и в отношениях со Швецией, причем факт «печалованья» обязательно фиксировался в самом тексте договора. Это принижало короля, поскольку за него просили подданные русского государя. Эмоционально окрашенное «печалованье», выражающее сожаление по поводу распри между христианскими государями, в отношениях с Крымом заменялось попросту «челобитьем» думных людей. Так, в 1591 году, после нашествия Кази-Гирея на русские земли, крымским послам было объявлено, что царь якобы принимает их в Москве лишь ради челобитья Бориса Годунова и бояр.

Современного читателя дипломатических договоров XV — XVI вв. могут поразить их многословие, обилие ненужных, казалось бы, подробностей, нагромождение сходных синтаксических конструкций, дословное повторение обязательств, принимавшихся обеими сторонами, для каждой из них в отдельности и т. д. Например, в направленном против Большой Орды знаменитом союзническом договоре Ивана III с крымским ханом Менгли-Гиреем (1479 г.), который сам по себе был выдающимся успехом русской дипломатии и ускорил окончательное свержение ордынского ига, обязательства сторон формулируются следующим образом: «...Другу другом быти, а недругу недругом быти: кто будет друг мне, Менли-Гирею царю, тот и тебе друг, великому князю Ивану, а кто будет мне, Менли-Гирею царю, недруг, тот и тебе, великому князю Ивану, недруг, а кто будет друг тебе, великому князю Ивану, тот и мне друг, а кто будет тебе недруг, тот и мне недруг»¹⁵. По этому типу составлены почти все международные договоры Восточной Европы XV — XVI вв. Для них характерно стремление сделать текст как можно определеннее, свести к минимуму возможность каких бы то ни было двусмысленностей и разночтений. В средние века «юридическая мысль имела дело не с общими понятиями, а с конкретными явлениями, отсюда эти бесконечные перечисления, которыми древние юристы думали исчерпать свой предмет»¹⁶. Эти слова принадлежат историку прошлого столетия В. И. Сергеевичу. И хотя они характеризуют международное право более древнего периода, их

вполне можно применить и в отношении эпохи Ивана III, Василия III и Ивана Грозного. Правда, при последнем государственные договоры России с другими странами составлялись уже несколько по-иному; с течением времени их форма все дальше уходит от архаических стереотипов.

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ

Никакие документы, в том числе и дипломатические договоры, русские государи не подписывали. Исключением был, правда, Лжедмитрий I, который и в Польше, и в Москве ставил свою подпись на отдельных грамотах, но это уже отражает влияние Западной Европы.

По представлениям русских людей XVI в., документ должна была атрибутировать прежде всего печать. При оформлении «договорных» грамот за рубежом или на посольских съездах русским дипломатам предписывался следующий порядок: свои печати к грамоте должны были приложить или привесить все члены посольства, облеченные соответствующими полномочиями, но поставить подпись должен только дьяк, то есть человек, под чьим непосредственным наблюдением вырабатывалось не содержание договора, а собственно письменный текст. Подпись как бы закрепляла ответственность лица, «давшего руку», за словесную форму документа, за его «букву». Об ответственности за содержание договора свидетельствовала печать. Не случайно само выражение «руку дать» означало не только поставить подпись, но и написать весь текст.

Схожие нормы существовали и в юридическом быту Древней Руси. Бояре, к примеру, которые вели судебные процессы, никогда не подписывали приговоров — «правых грамот», а лишь прикладывали печати. Подписывали грамоты дьяки, выполнявшие при этом функции секретаря. А когда дело вел дьяк, он, в свою очередь, также прикладывал печать, подпись же ставил подьячий.

В документах Великого княжества Литовского эпохи последних Ягеллонов подпись по сравнению с печатью тоже играла второстепенную роль. Часто она и вовсе отсутствовала. Иногда под актом вместо имени писались слова «рука власная» (собственная) и ставилась печать, удостоверявшая имя¹⁷.

Но на Западе собственноручная подпись имела несравненно большее и иное значение. В 1506 году послы Максимилиана I привезли в Москву грамоту, на которой подпись императора стояла в двух местах. Послы объяснили

это тем, что бывали случаи подделки императорской печати. Подписи, следовательно, ее заменяли. Королева Елизавета I в 1583 году писала Ивану Грозному: «И мы того в сердце свое мысли и в послушанье сего дела приложили есми свою руку»¹⁸. Здесь подписание грамоты было объявлено фактом, подтверждавшим и свидетельствовавшим об истинности ее содержания, гарантировавшим исполнение обещанного. По сути дела, подпись стала выполнять уже те функции, которые отводятся ей в новое время.

Разумеется, государи и вообще русские «великие люди» избегали ставить свою подпись под документами отнюдь не по причине неграмотности (скажем, бытующее мнение о неграмотности Бориса Годунова скорее всего является легендой — в посольских книгах упоминается о том, что царь «чел» привезенные литовскими дипломатами грамоты). Еще наблюдательный Д. фон Бухау заметил, что Иван Грозный свое имя на документах «обыкновенно никогда не подписывает, но писец предпосылает началу целый титул. Даже и простые люди обыкновенно предпосылают имена своим письмам, а подписываться считают для себя позорным»¹⁹. Но народная традиция, отразившаяся еще в новгородских берестяных грамотах, согласно которой имя отправителя ставилось в начале письма, в придворном быту XVI в. была переосмыслена в духе представлений о «чести» и «безчестье». Подпись не служила «чести» поставившего ее лица, поскольку располагалась в конце документа, после других упоминавшихся в тексте имен («ниже» их).

Теми же принципами регулировалось и место печати на дипломатическом документе. Царская печать была символом верховной власти, и повредить ее значило нанести оскорбление государю. В 1580 году дьяк Д. Петелин с возмущением напоминал послам Батория, что двумя годами раньше грамота, на которой целовал крест Иван Грозный и которую сам король крестным целованием утвердить отказался, была доставлена в Москву со сломанной печатью царя. В условиях начавшихся вслед за тем военных действий это воспринималось как намеренно враждебная акция, а не как простая случайность.

Русские дипломаты внимательно следили за тем, чтобы печати иностранных монархов на их грамотах находились ниже имени и титула царя. В 1595 и 1600 годах русским послам в Персии предписывалось всемерно настаивать, дабы «нишан свой» шах приложил к грамоте внизу, а не вверху. Лишь в самом крайнем случае послы могли

позволить персам приложить печать шаха «в стороне, осередине грамоты»²⁰. В Западной Европе, пока не вошло в употребление правило альтерната, подобные же споры вызывал вопрос об очередности подписей каждого из участников соглашения, поэтому иногда, чтобы выйти из такого затруднительного положения, подписи располагались по окружности, как на монетах.

На одном документе печать государя могла находиться рядом лишь с печатью другого монарха. В 1532 году Василий III не разрешил литовским послам приложить свои печати на грамоте о продлении перемирия по той причине, «что у великого князя грамоты — печать его, а против великого князя печати их печатем быти непригоже»²¹. С середины XVI в. при оформлении договора в Москве иностранные послы прикладывали или привешивали свои печати не к основному тексту, а к специальной «приписи». По сходным причинам столь решительное сопротивление встречали и попытки папских и имперских дипломатов, выступавших посредниками в мирных переговорах между Россией и Польско-Литовским государством, которые стремились приложить к составленным при их участии «докончальным» грамотам свои печати. В 1526 году в этом отказали С. Герберштейну, в 1582-м — А. Поссевино. Печать посредника, причем собственная, а не императора или папы, никак не могла соседствовать с печатями самих монархов, и тут требования русских дипломатов находили, по-видимому, сочувствие и поддержку представителей польского короля.

Немалое значение имел цвет воска на печатях, чему Иван Грозный со свойственным ему интересом к вопросам этикета, в том числе и канцелярского, уделял особое внимание. В 1564 году царь предложил митрополиту Макарию на его печатях заменить черный воск красным, ибо именно красный цвет считался более приличествующим высшей власти, все равно — светской или духовной, что отражало влияние византийских традиций. Если при Иване III и Василии III оттиски великокняжеской печати делались равно на красном, черном и зеленом воске и трудно найти в этом какую-то строгую систему, то Иван Грозный явно отдавал предпочтение красному цвету. Когда в 1568 году литовские послы в Москве хотели привесить к «приписи» договора красновосковые печати, бояре им этого не позволили, и в итоге были привешены посольские печати на зеленом воске.

Форма скрепления дипломатического документа и тип

печати зависели от типа самого документа. К «ответным листам», царским посланиям и «порубежным» грамотам, определявшим очертания государственной границы, печати обычно прикладывались, к более важным грамотам — «докончальным» — привешивались. На том экземпляре договора, который отправлялся за границу, печать оформлялась богаче, нежели на оставшемся в царском архиве, где его никто не мог видеть, кроме посольских дьяков и подьячих. К хранящемуся ныне в Копенгагене экземпляру договора 1562 года между Иваном Грозным и Фредериком II была привешена массивная золотая печать царя (булла) около фунта весом на сплетенном из золотых нитей шнуре с двумя большими шелковыми кистями, украшенными жемчугом. Но на русском «противне» того же договора печать была не из золота, а восковая; к 1626 году она уже «растопилась», как свидетельствует составленная в том году опись архива Посольского приказа.

Правая сторона во всех случаях считалась наиболее почетной, поскольку Иисус Христос изображался на десной стороне Троицы. На договорах с Польско-Литовским государством царская печать привешивалась справа в русском экземпляре и слева — в королевском, но на «докончальных» грамотах с теми государями, которых царь не признавал «братьями», его печать, по-видимому, привешивалась в обоих экземплярах с правой стороны.

Большая государственная печать для висячих слепков состояла из двух половин, соединенных между собой и складывавшихся наподобие футляра. По сути дела, это была своеобразная литейная форма. Она заполнялась теплым воском, и готовый слепок имел оттиски обеих половин — лицевой и оборотной. Подобная печать, принадлежавшая, очевидно, еще Василию III, в 1549 году была привешена к договору с Сигизмундом II Августом — «обе половины, человек на коне и орел». В феврале 1561 года Иван Грозный «печать старую меньшую, что была при отце его, великом князе Василие Ивановиче, переменял, а учинил печать новую складную: орел двоеглавной, а среди его человек на коне, а с другие стороны орел двоеглавной, а среди его инрог»²². Последний вариант большой государственной печати Ивана Грозного датируется приблизительно 1577—1578 годами. Она имела те же изображения, окруженные эмблемами подвластных царю земель — воплощением его титула, которые были дополнены гербами недавно завоеванных ливонских городов. Известен также прикладной вариант этой печати с одной

лицевой стороны. В 1626 году в Посольском приказе еще сохранялся опытный образец печати Бориса Годунова — «половина медные печати большой царственной, делана была на образец при царе Борисе»²³.

В 1570 году, упрекая королеву Елизавету I в том, что у нее «у всех грамот печати розные», Иван Грозный писал: «И то не государским обычаем, а таким грамотам во всех государствах не верят. У государей в государстве живет печат одна»²⁴. Хотя царь и выговаривал по этому поводу своей коронованной «сестре», тем не менее и в России середины XVI в. для международной переписки и оформления дипломатических договоров использовалось несколько государственных печатей: разные в отношениях с разными государствами. В русско-крымских связях большая государственная печать вообще не применялась; к грамотам, адресованным хану, прикладывалась та же печать, что и к царским указам на «кормление», а позднее, в XVII в., — печать, употреблявшаяся для грамот «на поместья и вотчины» (жалованных). После первых побед русских войск в Ливонии к грамотам Ивана Грозного как напоминание об этих победах прикладывалась дополнительно печать царского наместника Ливонии с изображением двуглавого орла, попирающего лапами гербы магистра ордена и дерптского епископа. В 1565 году по распоряжению царя была изготовлена новая печать Новгорода — «место (престол. — Л. Ю.), а на месте посох, а у места в сторону медведь, а з другую сторону рысь, а под местом рыба»²⁵. Эта печать применялась исключительно в связях со Швецией, поскольку они осуществлялись через новгородских наместников. Ранее, при Василии III, когда подобным образом связи с Ливонией осуществлялись через Новгород и Псков, на русско-ливонских договорах помимо великокняжеской были и печати наместников этих городов.

Иногда для сохранности вислые восковые печати на наиболее важных дипломатических документах забирались в маленькие деревянные ящички. А на экземпляре Тязвинского русско-шведского мирного договора это были уже не ящички, а серебряные с позолотой «ковчежцы». Тем не менее первыми жертвами московских пожаров становились именно печати. Бумага и «харатья» (пергамент) еще выдерживали жар, а воск уже плавился внутри ящичков и «ковчежцев».

Взятие заложников («аманатов») как гарантия соблюдения условий дипломатического договора в XVI в. уже не практиковалось даже в отношениях с Крымом и Ногайской Ордой. Ушли в прошлое и династические браки («любвекровные связания»), скреплявшие союзнические обязательства сторон, характерные для Киевской Руси, но распространенные и в междукняжеской дипломатии XII — XIV вв. Правда, Иван III с присущим ему последовательным и упорным стремлением вывести Россию из международной изоляции, вызванной ордынским владычеством, использовал для этой цели все средства, в том числе и династические браки. Своего старшего сына Ивана Ивановича он женил на дочери волошского господаря Стефана Великого, а дочь Елену Ивановну выдал замуж за великого князя литовского Александра Казимировича (сватами жениха от его имени дано было клятвенное обещание «не нудить» Елену Ивановну к переходу в католичество, которое позже тем не менее было нарушено, что лишь ухудшило отношения между Москвой и Вильно). Однако это последние примеры такого рода. Хотя Иван Грозный сватался и к Катерине Ягеллон, сестре Сигизмунда II Августа, и к Мэри Гастингс, родственнице королевы Елизаветы I, но эти попытки оказались безуспешными. В 1570 году русские послы, желая, видимо, утешить уязвленное самолюбие царя, доносили из Польши, что, по слухам, Катерина Ягеллон, ставшая женой шведского короля Юхана III, «свейского не любит», ибо тот изменяет ей; как сообщали послы, она прислала Сигизмунду II Августу письмо, в котором сожалеет, что в свое время не вышла замуж за Ивана Грозного: «Хотя б, деи, яз у московского избу имела, ино б мне лутче шветцкого королевства!»²⁶. Брак Ивана Грозного с кабардинской княжной Марией Темрюковной династическим можно назвать лишь с большой натяжкой.

В начале XVII в. Борису Годунову удалось сосватать свою дочь, царевну Ксению Борисовну, за датского принца Иоганна Голштинского, причем с условием, что супруги останутся жить в России. Это был крупный успех русской дипломатии. Такой брак мог бы скрепить давние дружественные отношения с Данией, но все предприятие закончилось трагически — жених заболел и умер в Москве еще до венчания.

Впрочем, «любвекровные связания» были залогом дру-

жественных отношений. Как правило, они не приурочивались к какому-то конкретному двустороннему соглашению и не служили (по крайней мере формально) гарантией соблюдения его условий. Единственной дипломатической гарантией, носившей обрядовый характер, а в XVI в. и вообще единственной, было крестное целование, совершавшееся на тексте договора лично государем. В переводе на современный язык этот акт означал торжественную ратификацию монархом соглашения, заключенного его полномочными представителями.

Ратификация считалась обязательной. Случаев, когда государь отказывался утвердить крестным целованием договор, заключенный от его лица, практически не было. Лишь в 1577 году Стефан Баторий, уже задумав свой первый поход на Восток, не ратифицировал договор, подписанный в Москве посольством С. Кривого, на тексте которого уже целовал крест сам Иван Грозный. Царь воспринял это с негодованием, которое было вызвано не только агрессивными планами польского короля, но и вопиющим нарушением старинного обычая. «Хоти послы что и не гораздо зделают, — писал Грозный, — а то не рушитца, терпят то до урочных лет (до сроков, определенных условиями договора. — Л. Ю.); послы проделаютца (ошибутся. — Л. Ю.), ино на них за то опалу кладут, а что зделают, тово никак не переделывают, а крестного целования не переступают!»²⁷.

С. Герберштейн, наблюдавший процедуру крестного целования при ратификации Василием III русско-литовского договора 1526 года, описывает ее следующим образом: «Великий князь взглянул на крест и трижды перекрестился, наклоня столько же раз голову и опуская руку почти до земли, подошел ближе, шевеля губами — как бы молился; отер уста полотенцем, отплюнул на землю, наконец поцеловал крест и сперва коснулся им лба, потом обоих глаз; отступив назад, он снова перекрестился и сделал поклон»²⁸.

Крестное целование, издавна известное на Руси, рассматривалось как гарантия достаточно надежная. В широком смысле этот обряд для человека средневековья гарантировал истинность какого-то сообщения, будь то рассказ о прошлом или декларация будущих намерений. Не случайно присяга, скреплявшаяся крестным целованием, обозначалась на Руси термином «правда».

Обряды, связанные с целованием священных предметов, играли важную роль в жизни русских людей

XV — XVII вв. Но эти обряды, установленные и совершаемые самой церковью, в светской жизни часто подвергались переосмыслению, которое церковь уже осуждала. Митрополит Фотий в 1427 году писал, например, что «христьянину православну не дан честный крест в роту» (клятву), но затем, что человек, целующий крест, «освящает себе и от болезни и от недуг всяческих исцелевает»²⁹. Духовенству присяга вообще была запрещена. На постановлении Земского собора 1566 года целовали крест все участники, за исключением лиц духовного звания. Вплоть до 1917 года православные священники, выступая на судебном процессе в качестве свидетелей, были избавлены от присяги.

В определенные сезоны, связанные с исполнением религиозных заповедей, русские государи XVI в. избегали совершать обряд крестного целования даже при ратификации дипломатических договоров. Когда в 1519 году крымский посол просил Василия III немедленно скрепить «правдой» заключенное соглашение, великий князь отвечал: «Ныне у нас говенье, и мы в свое говенье правды никому не даем!»³⁰. Конечно, промедление могло быть вызвано и причинами политического порядка, но показательна сама мотивировка отказа.

В XVI в. крестное целование государя на «договорных» грамотах было обрядом, который церковь практически не контролировала. Протопоп Благовещенского собора — по традиции он одновременно являлся духовником царя — вносил в приемную палату крест, предназначенный для присяги, но этим его участие в церемонии и ограничивалось. При самом обряде он даже не присутствовал, поскольку перед тем высылался из палаты вместе с дворянами и прочими лицами, которые «в думе не живут», — этим подчеркивалось государственное значение всей процедуры, совершавшейся лишь в присутствии послов и думных людей. Все русские государи от Ивана III до Бориса Годунова всегда целовали крест без священника. Иногда царский духовник и вовсе не появлялся при послахе, а принесенный им крест заранее вешали на стене или клали на окно в приемной палате. Процедура крестного целования претерпела существенные изменения при первых Романовых. Тогда возле трона ставился аналой, на который возлагались договорные грамоты, крест, а также и Евангелие, чего прежде не было. Перед аналоем горела свеча. Царский духовник в полном облачении начинал петь псалмы, затем «говорил о вере закликательное

письмо», после чего государь прикладывался к кресту и Евангелию. Но в XVI в. в обряде крестного целования явственнее проступала его магическая природа, скрытая позднее под церковно-этикетными наслоениями.

Именно поэтому неперенным условием его действительности был чисто физический контакт между текстом договора (обещанием), священным символом и лицом, дающим «правду». При совершении крестного целования в Москве оба экземпляра договора складывались вместе, но сверху обязательно должна была лежать грамота, составленная от имени русского государя. Напротив, при совершении этой процедуры за границей иностранный монарх клал «свое слово наверх, а государево — на низ». Такой порядок был вызван заботой о том, чтобы крест непосредственно соприкасался с тем текстом, который составлен от имени приносящего присягу государя. Хотя во всех прочих ситуациях русские дипломаты неизменно стремились поместить царский экземпляр договора поверх экземпляра противной стороны, но здесь даже вопросы государственного престижа отступали на второй план. И когда литовские послы в Москве целовали крест на «приписи» к королевскому экземпляру «перемирной» грамоты, царь давал распоряжение «королево слово положить сверху своего слова».

В 1571 году посольству И. М. Канбарова, отъезжавшему в Краков, наказывалось: «А как учнет король крест на грамотах целовати, послом того беречи накрепко, чтобы король на обеих грамотах крест целовал, в самой крест прямо губами, а не в подножье и не мимо креста, да и не носом»³¹. Такое подчеркнутое внимание к правильному исполнению обряда крестного целования говорит о понимании его как обряда ритуально-магического: правильное исполнение гарантирует и ожидаемый результат. Если Сигизмунд II Август будет целовать крест «носом», он легко может нарушить свое обещание, гарантия утратит действительность, а сам договор — силу. В более раннее время отдельный пункт о том, чтобы целовать крест «безо всякие хитрости», включался в основной текст междукняжеских договоров и был, по-видимому, прелиминарным условием их ратификации. Нагляднее всего магическая природа крестного целования проявилась в том факте, что к нему можно было привести насильно, и это отнюдь не лишало его действительности — таких примеров множество. И не случайно в XVI в. «договорные» грамоты в Москве клались не на аналой, а на блюдо — оно всегда было ат-

рибутом различных народных обрядовых действий, гаданий, магических процедур.

И тем тверже и незыблее были гарантии, чем в большей степени священный символ воплощал в себе божество для того человека, который присягал на этом символе. Русские государи чаще всего целовали «воздвизальный» крест, то есть деревянный, использовавшийся на торжественном богослужении в праздник воздвижения (Я. Ульфельдту он показался каменным). «Воздвизальный» крест — воплощение «древа животворящего», подлинного креста, на котором был распят Иисус, и наиболее почитаемые «воздвизальные» кресты считались изготовленными из обломков распятия, стоявшего на Голгофе. Возможно, подобная легенда существовала и о «воздвизальном» кресте кремлевского Благовещенского собора. В таком случае «правда» на нем была особенно действенной. Но иногда дополнительно использовались и другие предметы. В 1559 году, когда Иван Грозный утверждал договор с Данией, крест лежал на золотой «мисе, а под крестом застенок от образа, жемчуги сажен, з дробницами»³².

В то же время русские дипломаты знали, что для протестантов действеннее присяга на Евангелии. Иван Грозный спрашивал польско-литовских послов, на чем они присягают королю — на кресте или на Евангелии. Выяснив, что на Евангелии (очевидно, это были шляхтички-кальвинисты), царь потребовал и перед ним дать «правду» таким же образом. В наказе русской делегации, в 1581 году отправлявшейся на посольский съезд в Ям-Запольском, говорится: «А будут литовские послы люторского закону, и для того взяти у архиепископа евангилье келейное, толко б было нарядно, да на евангилье бы послы целовали; а будут послы римского закону старого, и они б крест целовали»³³. Крайне важно было, чтобы иностранные дипломаты совершали присягу «по их вере», «по их закону» — это давало более прочные гарантии соблюдения условий договора.

В Западной Европе была принята другая форма присяги. Дающий клятвенное обещание возлагал левую руку на первую страницу Евангелия от Иоанна и поднимал вверх три пальца правой руки. Но когда Я. Ульфельдт в Москве присягнул таким способом, царя это не удовлетворило и он просил датского посла вдобавок еще и поцеловать текст Евангелия. Русские послы, прибывшие в Копенгаген с ответной миссией, потребовали, чтобы король,

присягая на договоре, целовал Евангелие на той странице, где изображен крест.

Клятва («рота») и «правда» схожи, но не идентичны. А. М. Курбский называл крестоцеловальные записи, которые брал у бояр Иван Грозный, «проклятыми грамотами». Это выражение встречается и в летописях и обозначает такой вариант крестоцеловальной записи (а дипломатический договор — также особая ее разновидность), при котором указания на последствия невыполнения взятых на себя обязательств вводятся в сам текст записи. В XV в. и даже в начале XVI в. изредка встречаются дипломатические договоры, составленные по такому стереотипу. Например, в договоре Дерпта с Псковом (1509 г.) читаем: «А с которой стороны не учнут правити крестное целование, ино на того бог и крестное целование, и мор, и голод, и огонь, и меч». Но в Москве подобную форму считали «непригожей».

«Бог, праведный судья, преступникам честного креста и зачинающим брани мститель и противник есть!» — говорили русские дипломаты. Государь, предпринявший какое-то действие вопреки условиям соглашения, «через крестное целование», становится «крестопреступником» (любимая инвектива Грозного), «невинные крови взыщутся» от его рук, «глад и меч» обрушатся на его державу, ибо «за государское прегрешение бог всю землю казнит». Впрочем, верили и в обратную зависимость: в 1582 году русский посланник Я. Молвьянинов должен был говорить за границей, что царевич Иван — наследник престола, убитый Грозным в приступе гнева, — умер «за грех всех земель государя нашего»³⁴. Последствия нарушения присяги всем известны, упоминание о них в тексте договора совершенно излишне. Когда в 1480 году Менгли-Гирей в «перемирную» грамоту вставил слова о том, что в случае нарушения договора Иваном III последнему «уби-ту быти», великий князь наотрез отказался целовать крест на таком тексте. «Тех слов по христьянскому закону не можно молвити!»³⁵ — так русский посол в Крыму объяснял отказ своего государя. Действительно, в этом случае крестное целование («правда») окончательно приобрело бы форму осуждавшейся церковью клятвы — «роты».

По словам имперского посланника И. Гофмана, Иван Грозный, целуя крест перед ливонским посольством, говорил, что если он нарушит постановление, то «да поглотят его четыре стихии»³⁶. Эта еретическая клятва царя обу-

словлена, возможно, рудиментами языческого мировоззрения: вместо бога свидетелями и вероятными мстителями выступают «четыре стихии» — земля, вода, огонь и воздух. Но даже если признать сообщение Гофмана правдивым, в XVI в. клятвы на высшем уровне все же редкость. Посольские книги молчат об устных клятвенных заверениях русских государей перед иностранными дипломатами. Именно молчат, а не умалчивают, поскольку в большинстве сочинений западноевропейских авторов XVI — XVII вв. об этом не упоминается. Во время торжественных актов клятвы вообще были не приняты, хотя литовские послы, например, часто прибегали к ним в «ответной» палате, когда обстановка накалялась. «И послы учали бояром клятися богом и господарем своим Жигимонтом-королем, и женами своими, и детьми», — свидетельствует посольская книга о поведении на переговорах членов посольства Я. Глебовича в 1537 году. По всей видимости, таким же образом вели себя порой и русские дипломаты.

Однако крымские послы при совершении присяги («шерти») говорили: «И естли справедливе присягаю, боже, помози, а естли несправедливе, бо вышний забий на душе и на теле»³⁷. С подобными декларациями был связан сам обряд «шерти», реконструированный А. В. Арциховским на основании летописных миниатюр. Для его совершения требовались Коран (кстати, экземпляр «курана» специально для этой цели хранился в Посольском приказе) и две обнаженные сабли, которые возлагались на «договорные» грамоты³⁸.

Для людей XV — XVII вв. целование креста на определенном письменном тексте означало признание его истинности. Поэтому в то время, когда в Польско-Литовском государстве не признавали царский титул Грозного, Сигизмунд II Август прибегал ко всяческим уловкам, стремясь целовать крест лишь на своем экземпляре договора, где было пропущено слово «царь», а не на обоих, как издавна было принято в русско-литовской дипломатической практике. Целование креста на обоих экземплярах означало бы невольное признание королем царского титула Грозного.

В 1554 году посольству В. М. Юрьева в Люблине было заявлено: «Исстари того не бывало, что на обеих грамотах королю целовати!»³⁹. Это утверждение заведомо не подкреплялось традицией, и после долгих споров (при этом поляки говорили, будто царский экземпляр договора на-

ходится в Вильно, а не в Люблине, хотя позднее экземпляр этот мгновенно появился в приемной палате) король, как донесли в Москве русские послы, «целовал на обеих грамотах». Однако в своем отчете Юрьев не упомянул об одной существенной детали. Как говорится в Польской книге Литовской Метрики, Сигизмунд II Август целовал распятие, положенное поверх Евангелия, но между распятием и Евангелием находился лишь его собственный экземпляр; царский же «лист» лежал «з другое стороны евангелия» и с крестом не соприкасался⁴⁰. В 1566 году в аналогичной ситуации русский экземпляр «договорной» грамоты лежал на столе, а Евангелие с крестом и со своим экземпляром король держал в руках. Тем не менее по возвращении в Москву русские послы сообщили, будто король присягнул на обоих списках. И это не удивительно: рассказ о подлинном положении вещей грозил бы послам опалой. Как столетием позднее заметил Г. Котошихин, царские послы в статейных списках часто изображают свое поведение при иностранных дворах в выгодном для себя свете — пишут «прекрасно и разумно, выставляючи свой разум на обманство, чрез что б доставить у царя себе честь и жалованье большее».

В Литовской Метрике говорится, что в 1554 году при совершении Сигизмундом II Августом крестного целования перед посольством Юрьева русский экземпляр договора «толко для того лежал, абы они (послы. — Л. Ю.) видели, але не припоминал ничим его милость»⁴¹. Но можно было и заранее оговорить, что присягой утверждается не весь текст соглашения, а с некоторыми купюрами. В 1582 году Стефан Баторий, скрепляя мирный договор с Россией, заключенный его представителями в Ям-Запольском, согласился, как того требовали русские послы, положить царский экземпляр под свой собственный, но особо подчеркнул при этом, что присягает лишь на перемирии, а отнюдь не на титуле царя и титулах «Смоленский» и «Северский», написанных в экземпляре Грозного.

Магический по своей природе обряд крестного целования требовал соответствующего ритуала. И не случайно Василий III перед тем, как поцеловать крест, «отплюнул на землю»: по народным поверьям, так отгоняли «нечистого». Русские государи целовали крест в присутствии лишь узкого круга лиц, как бы посвященных в таинства церемонии. Блюдо с «договорными» грамотами всегда держал дьяк, а крест — боярин. Царь целовал крест стоя, сняв царскую шапку. Ее брал один из бояр и поднимал

вверх на вытянутых руках. Когда царь, в знак смирения обнажив голову, прикладывался к кресту, все присутствовавшие в приемной палате думные люди вставали и тоже снимали шапки.

Советский историк С. Б. Веселовский заметил: «Нам, людям двадцатого века, трудно представить себе, какое огромное значение в жизни людей XIV — XVI вв. имело крестное целование»⁴². Вера в его скрепляющую силу была незыблемой. Показателен сам термин, которым в дипломатической лексике той эпохи наряду с термином «правда» обозначалось крестное целование, — «укрепление». «Крепостью» называлось соглашение, скрепленное присягой обоих монархов. «Договорные» грамоты после этого приобретали новый статус, превратившись в «докончальные». Само «докончанье» завершало дипломатический цикл в отношениях между двумя государствами. Прежде всего оно давало гарантию соблюдения сторонами условий договора, а не просто подтверждало согласие монарха с позицией его представителей — последнее не подлежало сомнению, ибо посол или ведущий переговоры член «ответной» комиссии олицетворяли своего государя и были воплощением его воли.

ЯЩИКИ, «КОРОБЬИ», ЛАРЧИКИ

25 апреля 1562 г. загорелся чердак в Постельной палате — личной канцелярии русских государей. Пожар удалось потушить, но на полях первой из дошедших до нас описей государственного архива России, составленной в 60—70-х годах XVI в., рядом с записью о ящике 36, где хранились документы отношений с Крымом времен Ивана III и Василия III, появилась выразительная помета: «Книги Менли-Гиреевы взяты ко государю и сгибли, как Постельных хором верх горел». Позднее исправлено: «77-го ноября 2 (2 ноября 1566 г. — Л. Ю.) сказал государь, что те книги сыскал у себя»⁴³. Царская находка выглядит счастливой случайностью, но то, что произошло это именно с Грозным, — закономерность. Царь постоянно обращался к документам архива, часть которых находилась в его личной казне. Страницы описи буквально пестрят пометками подъячих: «цесарские книги взяты ко государю в Слободу», «сей ящик взял государь к себе», «из сего ящика выбрал государь» и т. д. Обнаружив пропавшие «книги», царь незамедлительно сообщил о своей находке, и уже по одному этому можно судить об отноше-

нии его к архиву: через четыре с половиной года после пожара он вспомнил о том, что эти документы считаются сгоревшими.

В нумерованных ящиках, ларчиках («ларчик жолт» или «ларчик дубов»), в коробочках и «коробьях ноугородцких» находились тысячи документов, значительная часть которых связана с историей внешнеполитических отношений. Самые древние из них датировались еще XIII в. — в ящике 148 лежали «дефтери старые от Батья (Батья. — Л. Ю.) и иных царей, а переводу им нет, ни-то перевести не умеет»⁴⁴. Материалы группировались по государствам, правителям, отдельным посольствам. Примерно с конца XV в. появляются «книги», которые шивались из «тетратей» и включали в себя не только тексты договоров и грамоты «посыльные», как то было в предшествовавшие десятилетия, но и всю обширную документацию дипломатических отношений: грамоты «верющие» и «опасные», описания приемов, наказы русским послам, их отчеты о пребывании за границей и т. д. При чем хранили и черновики многих документов — «черные списки». Правда, не все документы писались в книги. Так, в 1523 году сообщалось о посольстве И. С. Колычева в Турцию: «А что список послал Иван Семенов о тамошнем хо-женье, и тот список в книги не писан, а помечено на нем: лета да день, да положити тот список в туретцкой ящик»⁴⁵.

Документы внешней политики составляли важнейшую часть государственного архива, и не случайно именно посольские дьяки и подьячие первыми, еще при Иване III, отказались от столбцовой формы делопроизводства, которая в других ведомствах просуществовала гораздо дольше. «Документы, — пишет советский историк И. Л. Маяковский, — как и воинское оружие, требовалось всегда держать наготове»⁴⁶. А столбец (кстати, это вовсе не чисто русское изобретение: в средние века столбцы были распространены и в Западной Европе) имел тот существенный недостаток, что, удлиняясь, погребал в себе собственную же информацию; необходимо было размотать весь его серпантин, дабы найти нужную запись. «Тетра-ти» и «книги посольские» как нельзя лучше отвечали потребностям русской дипломатии.

Мертвым грузом эти документы не были никогда. С достаточно большой долей вероятности можно установить, почему те или иные из них интересовали царя в то или иное время. Обычно такой интерес был связан с возобно-

влением дипломатических отношений с каким-либо государством, когда нужно было восстановить их историю. Посольские дьяки извлекали и представляли Боярской думе сведения о «чести», оказывавшейся прежним представителям того монарха, который прислал посольство ныне. Опираясь на прецеденты, они определяли церемониал будущей аудиенции, состав «ответной» комиссии, решали, кого назначить в «большую встречу», а кого — в «меншую», дабы ни послам, ни государевым людям «поруки чести не было б». В 1581 году накануне прибытия А. Поссевино в Москву А. Я. Щелкалов подал царю выписки из книг «старых» о порядке приема прежних папских послов. Но при этом возникло неожиданное препятствие: не оказалось «кормовых книг старых» с данными о том, сколько было раньше «давано корму папиным послом и гонцам»; книги эти сгорели во время одного из пожаров. Однако Щелкалов нашел выход: взамен «для примеру» он представил выписку о снабжении продовольствием имперского посольства 1575—1576 годов. Царь «смотрел» эту выписку и приказал по «корму» приравнять Поссевино не к имперским, а к «литовским болшим» послам, для чего были подняты и материалы об отношениях с Речью Посполитой. Подобная подготовительная работа проводилась перед прибытием практически каждого иностранного посольства.

Разумеется, документы архива поднимались и непосредственно в связи с обсуждавшимися политическими проблемами. Вспоминали условия договоров, историю переговоров, изучали чертежи пограничных земель, просматривали «вести» русских дипломатов из-за рубежа и их отчеты. Порой соответствующие документы предъявлялись иностранным послам. В 1556 году, когда представители Сигизмунда II Августа в очередной раз отказались признать царский титул Грозного и писать его «царем», в качестве доказательства права русских государей на этот титул послам продемонстрировали ряд документов прямо в «ответной» палате. «А говорите, — заявили бояре, — что государь ваш не пишет государя нашего того для, что иные некоторые государи нашего царем не пишут... И коли вам о том ведома нет, а нашим речам не верите, ино во се грамоты цесаревы и иных государей, и вы смотрите тех грамот, как в них писано!» Показаны были грамоты императора Максимилиана I, испанского короля Филиппа II, королей Дании и Швеции. Послы предложили эти документы направить для ознакомления Сигизмунду II Авгу-

сту. Бояре отвечали, что подобные грамоты никогда никому не показывают и тем более «непригоже» сокровища государевой казны отправлять за границу. «А мы ныне вам их показали, — заключили свой приговор бояре, — спору для и безделново для вашего упрямства»⁴⁷. Через четверть столетия с той же, по-видимому, целью — доказать право Ивана Грозного на царский титул — к документам архива был допущен и Поссевино.

«Мартирологом погибших для нас исторических источников» назвал С. О. Шмидт первую опись государственного архива России XVI в. Бóльшая, пожалуй, часть того, что хранилось в двух с лишним сотнях его ящиков и ларчиков, сгорела в пламени московских пожаров, пропала в годы Смуты или просто истлела от времени. В описи архива Посольского приказа, составленной после страшного пожара 3 мая 1626 г., состояние многих уцелевших документов характеризуется следующим образом: «ветхи гораздо», «харатью от жару сволокло и воском поизлито», «печать растопилась и запись попортило», «в середке продрано», «ветха, изодрана и мыши изъели», «от воска пообвощала», «в пожар истоптаны и изгрязнены, и писма не знать» (нельзя разобрать написанное).

Но не стоит винить в небрежности посольских дьяков и подьячих. Ценность архива они понимали. Историческое сознание этих людей было своего рода гарантией сохранения не только традиций посольского обычая, но и преемственности всей внешней политики государства. Без такого сознания была бы невозможна сама дипломатическая деятельность, ибо, как пишет Г. Никольсон, именно в хранилищах средневековых канцелярий впервые «были установлены обычаи дипломатии как науки, основанной на прецеденте и опыте»⁴⁸.

В ТУМАНЕ ЛЕГЕНДЫ

ДЕРЖАВНЫЙ МАСКАРАД

В июне 1571 года, когда за стенами Кремля лежало едва успевшее остыть пепелище Москвы, чьи посадки дотла были выжжены перекопскими наездниками, Иван Грозный дал аудиенцию крымскому «кильчею» Девлету — тезке и полномочному представителю хана Девлет-Гирея. Удивительные рассказы об этой аудиенции достигли многих европейских столиц и поразили воображение современников.

В донесении, полученном Литовской радой тремя годами позже, сообщается: «И когда этот посол был на приеме, сам великий князь сел на своем государском месте, возложив на себя бараний шлык и надев сермяжный армяк, а перед ним держали топор; а сына посадил подле себя в таком же уборе»¹. Автором донесения был Филон Кмита, староста пограничного литовского города Орша (через пять лет его объявят воеводой еще не взятого Смоленска, и русские послы ехидно заметят, что Кмита хоть и Филон, да не тот, который был у царя Александра, — послы, очевидно, спутали Филоту, знаменитого сподвижника Александра Македонского, и позднеантичного философа Филона Александрийского²). Далее Кмита писал, будто царю был привезен от хана необычный и оскорбительный подарок — «нож голый» (без ножен), а Грозный в ответ послал Девлет-Гирею в качестве поминка простой топор.

Сообщение оршанского старосты подтверждают в своих сочинениях о России Д. фон Бухау и Дж. Горсей. Но подтверждают не полностью: первый ничего не говорит о присланном ноже, второй — о бедных одеждах царя и придворных. Наконец, в так называемом «Пискаревском летописце», памятнике 20-х годов XVII в., рассказывается, что Грозный, принимая посланца Девлет-Гирея, «нарядился в сермягу бусырь да в шубу боранью»³ («бу-

сырь» — рванина). Так же, по словам летописца, были одеты и присутствовавшие на аудиенции бояре.

«Земной бог», могущественный государь, своим богатством изумлявший иностранцев, человек, столь мнительно относившийся к любому умалению его царской «чести», неожиданно появился перед крымским послом в одежде простого крестьянина. Что это — вымысел или действительный факт? Если вымысел, то какова его природа? Случайная перед нами выдумка или устойчивая легенда? Если правда, то все ли обстояло именно так, как живописал Филон Кмита? Или, может быть, в рассказах об этой аудиенции смешались фантазия и реальность?

Сохранились известия о вопиющих нарушениях Иваном Грозным церемониала посольских аудиенций. И. Гофман сообщает, что царь, разгневавшись в 1557 году на ливонских послов, в приступе бешенства рвал на себе одежду. В другой раз, недовольный поведением польской миссии Я. Скратошича, Грозный призвал в приемную палату шута («блазна») и велел ему передразнивать изысканные поклоны польских шляхтичей. Шут, по-видимому, со своей задачей справился недостаточно успешно, потому что царь сошел с престола и сам стал ему кланяться, показывая, как это нужно делать. На этой же аудиенции Грозный приказал зарубить коня, приведенного в подарок послами, затем взял снятую с него сбрую и «насмевался» над гусарским конским убранством⁴. Подобные инциденты были вызваны необузданным темпераментом и психической неуравновешенностью царя: в беседах с иностранными дипломатами он часто приходил в возбуждение и даже, как подметил литовский посол Л. Буховецкий, повторял сказанное «по дву крот» (дважды)⁵. Припадки неукротимой ярости, которым царь был подвержен в зрелые годы, держали придворных в постоянном страхе. Но на приеме ханского «кильчeya» все обстояло совершенно иначе. Здесь и речи быть не может о каком-то внезапном взрыве гнева; наряд царя, царевича и бояре был продуман заранее.

Итак, если сообщение Филона Кмиты дополнить свидетельством «Пискаревского летописца», на приеме крымского посла Иван Грозный вместо «золотного» платья надел рваный сермяжный армяк, вместо «саженной» шубы — тулуп из овчины, а украшенную драгоценными камнями царскую шапку заменил бараньим «шлыком» (по В. И. Далю, «шлык» — «плохая, измятая», даже «шутовская» шапка). Позолоченные топорики-чеканы государе-

вых рынд также были заменены обычным топором. Иными словами, это не нарушение церемониала, а своеобразное его пародирование, тот же церемониал, только с изнанки.

Для Ивана Грозного, любившего театральные эффекты в политике и в быту, одежда всегда имела особое значение. По словам голландца И. Массы, когда царь надевал красное платье, он проливал кровь подданных, когда черное, тогда людей убивали без пролития крови — топили и вешали; когда белое, то всюду веселились, «но не так, как подобает честным христианам»⁶. Грозный славился пристрастием ко всякого рода переодеваниям, шутовским выходкам, часто жестоким и зловещим. Конюшего И. П. Челяднина, обвиненного в заговоре, по приказу царя одели в царское облачение и посадили на трон; сам Грозный издевательски преклонил перед ним колени, затем Челяднина убили, труп вытащили из дворца и бросили в навозную кучу. Князь А. М. Курбский упрекал царя за то, что тот, нацепив маску-личину, пляшет на пирах со своими «кромешниками» (слово «опричь» Курбский заменил другим, имеющим то же значение, — «кроме», и под его пером опричники превратились в «кромешников», что вызывает прямую ассоциацию с адской тьмой кромешной, напоминающая одновременно о черных кафтанах опричного воинства, — слова здесь тоже как бы надевают маски). Казнь князя Михаила Репнина молва упорно связывала с его отказом надеть скоморошью «машкару». Казалось бы, в ряду подобных эпизодов легко находит свое место и аудиенция, данная «кильчею» Девлету. Но события, ей предшествовавшие, убеждают в другом: царский маскарад имел иной смысл, не был просто одной из пародийных выходов Грозного.

Менее чем за месяц до этой аудиенции, во второй половине мая 1571 года, Девлет-Гирей, нарушив договор, совершил внезапный опустошительный набег на русские земли. По древнему обычаю ордынские и перекопские владыки, выступая в поход на Москву, предупреждали об этом великих князей, но на сей раз хан обошелся без предупреждения. 40-тысячная Крымская Орда, поддержанная ногайцами и черкесами, переправившись через Оку, легко рассеяла опричные отряды, которые не выдержали удара и разбежались, а земская армия начала отступать к столице. В этой ситуации Грозный покинул войско и бежал на север, дорогой скрываясь в лесах, где, как пишет Курбский, «вмале гладом не погиб». Не встречая серьезного сопротивления, Девлет-Гирей дошел до Москвы и поджег

предместья. Дул ураганный ветер, огонь мгновенно охватил город. По преданию, пожар был настолько силен, что продолжался всего три часа: от страшного жара на звонницах плавилась колокола и стекали в землю, оседали каменные церкви, погребая под собой укрывшихся в подвалах людей. Царь в это время находился в Александровой слободе, «болший» воевода князь И. Д. Бельский задохнулся в дыму в погребе собственного дома, куда зашел, чтобы спасти семью; на улицах пылающей столицы началась паника. Население и войска устремились в Китай-город и Кремль, под защиту каменных стен. Множество горожан погибло в давке у крепостных ворот и на прилегающих улицах, еще больше — в огне и дыму. Со скорбной простотой сообщает летописец, что Москва-река «мертвых не пронесла» — вероятно, из-за бревен и обломков, запрудивших течение у рухнувшего в воду моста, и позднее специальные нарочные были отправлены «пропроводаживати на низ рекою мертвых», ибо хоронить их было некому — родственников не оставалось, гибли целыми семьями. Девлет-Гирей даже не сумел воспользоваться плодами своей победы — дотла спаленный город ограбить было невозможно; через день хан ушел из Москвы на юг, в сторону Рязани.

Столица долго не могла оправиться от этих разрушений. В 1576 году на предполагавшийся вопрос польских послов о причинах малолюдства московских посадов приставы должны были отвечать, будто царь приказал «за городом посадом не быти, и хоромы ставити велел малые»⁷. Но это был последний успех крымцев, во всяком случае — успех такого масштаба. Когда следующим летом Девлет-Гирей попытался повторить набег, он был встречен князем М. И. Воротынским на реке Молодь близ Серпухова и наголову разгромлен в трехдневном сражении; в плен попал крупнейший крымский военачальник Дивей-мурза. Однако в июне 1571 года царь был потрясен случившимся. По некоторым известиям, он даже отправился в Кирилло-Белозерский монастырь, в монахи которого некогда хотел постричься. В течение нескольких недель после катастрофы Грозный не решался вернуться в сожженную столицу, хотя последнее время находился совсем неподалеку, в Александровой слободе. Казалось, оживают худшие времена ордынского владычества.

И пребывание в Москве «кильчея» Девлета ознаменовалось «полным набором» церемониальных унижений, которым была подвергнута «честь» государя. В своей грамо-

те, отправленной в Крым, Грозный поставил на первое место имя и титул хана, передал ему челобитье, а не поклон; в этой грамоте он даже не употребил собственный царский титул, ограничившись великокняжеским, что вообще в его дипломатической переписке было единственным случаем такого рода. Явившись в приемную палату, надменный ханский посланец, сознавая исключительный характер своей миссии, позволил себе не поклониться Грозному (в посольской книге отсутствует стереотипная формула о том, что «посол государю челом ударил»). Это случай тоже совершенно уникальный, и вряд ли стоит объяснять два столь важных пропуска забывчивостью подьячего: печально сделать подряд две такие ошибки, грозившие ему серьезными неприятностями, он, разумеется, не мог. И, конечно, посланец Девлет-Гирея «посолство правил» не стоя, а «присев на колени» (сидел на ковре напротив царского престола). Не вставал он, надо полагать, и «к государским именам».

Словом, посольская книга, описывающая приезд и прием «кильчей» Девлета, достаточно откровенна, однако в ней ничего не говорится о мужицких армяках, шубах и шапках царя и бояр. Хотя о «золотном» платье также не сообщается. Подьячий коротко записал, что «царь и великий князь сидел в обычном платье, а бояре и дворяне были не в наряде»⁸. Не упоминается, кстати, в посольской книге и о присутствии на этой аудиенции царевича Ивана Ивановича.

Сразу следует оговориться: под «обычным» платьем царя подразумевался не тот костюм, который обычно был принят на торжественных аудиенциях, а повседневный. Конечно, и повседневный царский наряд шился далеко не из сермяги и овчины, тем не менее на этот раз Грозный и бояре были одеты до странности просто, что еще годилось на приеме ординарного гонца, но никак не Девлета, который был облечен чрезвычайными полномочиями и выполнял ответственнейшее поручение хана. Заметим, что Девлет — ханский «кильчей», но в то же время посольская книга называет его не иначе, как «гонцом», хотя тот от имени своего повелителя передал царю подарок и «речи говорил», чего обычные гонцы не делали. В чем тут дело?

В Москве всегда отлично знали чины и звания прибывавших крымских, польско-литовских и шведских дипломатов — заранее наводили справки, чтобы определить меру «чести». По-видимому, хан с целью унижить Грозного,

приравнять побежденного русского государя к «даныщику» намеренно направил к нему человека низкого происхождения, которого в Москве никак не могли признать послом. Таким образом, одежда царя и бояр соответствовала дипломатическому рангу, определенному для ханского посланца согласно его званию: «большого» царского наряда тот был не достоин. Показательно, что в XVII в. русские государи появлялись «во одеянии повседневном» перед всеми представителями крымских ханов, оказывая им тем самым меньшую «честь» по сравнению с представителями других монархов.

Можно, естественно, предположить, что осторожный посольский дьяк, редактировавший запись об этой аудиенции, смягчил детали и не решился упомянуть о сермяжных армяках. Но тогда почему та же посольская книга не умолчала о поднесенном царю оскорбительном подарке?

Филон Кмита писал о «ноже голом». Горсей рассказывает, будто на аудиенции крымский посол протянул Грозному нож, сказав, что хан посылает его как «утешение» — пусть царь перережет им себе горло; это был, добавляет Горсей, «дрянной простой нож»⁹. Но посольская книга сообщает о ноже, окованном в золото и украшенном драгоценными камнями. И все же это был явно «непригожий» дар. Нож — символ войны и вражды, и недаром Грозный упрекал старцев Кирилло-Белозерского монастыря в том, что они в качестве подарка прислали ему «все ножи, кабы не хочачи нам здоровья». Правда, «кильчей» постарался сгладить злое впечатление, произведенное ханским даром. Он заявил, что раньше этот нож носил на себе сам Девлет-Гирей, а теперь посылает в подарок царю. Несмотря на такое успокаивающее заявление, Грозный подарка брать не велел, но — и это знаменательно! — напрямую от него тоже не отказался. Нож был вначале принят, а затем возвращен Девлету. Однако возвращен уже не от самого царя, а от имени «приказных людей», которые сочли подарок «непригожим» и как бы самостоятельно, по своей воле, решили его вернуть, оберегая царскую «честь»¹⁰. Понятно, что эта акция была предпринята под непосредственным контролем Грозного, хотя формально взять на себя ответственность за нее он не захотел.

Во второй половине XVI в. состав поминков, подносившихся иностранными дипломатами, редко указывался в посольских книгах. Чаще давали ссылку такого типа: «А что было государю от послов поминки, и те поминки писа-

ны у казначеев». И если при описании приема ханского «кильчeya» в июне 1571 года честно рассказывается о присланном ноже, можно, следовательно, доверять и всему рассказу. Посольские книги предназначались для внутри-приказных нужд, а не для широкой публики. Они содержали обильную информацию секретного характера, и авторы их не ставили перед собой никаких пропагандистских задач — просто копировали документы и писали о том, что было в действительности, ничего не приукрашивая. Примеров тому множество. Речей иностранным дипломатам посольские дьяки не сочиняли и вовсе не воспринимали их как своих «литературных героев», что отчасти было свойственно создателям летописей и произведений исторической прозы вроде «Казанской истории». Значит, ханский «кильчey» и в самом деле говорил, что привезенный им нож Девлет-Гирей прежде носил на себе. Вряд ли хан мог носить «дрянной простой нож», и его посол не стал бы утверждать это о таком ноже. Но здесь имеется одна немаловажная деталь: подобный дар, как и платье со своего плеча, был почетным лишь для подчиненного лица, символизировал старшинство дарителя. И в сложившейся ситуации принять ханский поминок Грозный не мог — это означало бы признание зависимости. Однако на прямой вызов царь тоже пойти не решился. Если нож не был гневно отвергнут, что для Грозного с его характером могло быть вполне естественным, а возвращен в столь дипломатичной и осторожной форме — от имени «приказных людей», то мало вероятно, чтобы царь мог послать Девлет-Гирею простой топор.

Автор «Пискаревского летописца» приводит слова, будто бы сказанные Грозным ханскому посланцу: «Видишь же меня, в чем я? Так де меня царь (хан. — Л. Ю.) зделал! Все де мое царство выпленил и казну пожег, дати мне нечево царю!» Фон Бухау писал, что царь, «притворяясь бедным», принял крымского посла и «отказал снова в дани»¹¹. И Филон Кмита полагал, будто Грозный облачился в крестьянские одежды с целью продемонстрировать свое разорение, нищету, неспособность заплатить требуемую ханом дань. Но в это время Девлет-Гирей прежде всего интересовался не данью. Окрыленный успешным набегом, уверенный в том, что Российское государство уже не способно оказать ему серьезного сопротивления, хан стремился к большему. Он вновь заявил претензии на политическое наследие Золотой и Большой Орды: потребовал уступить ему власть под Казанью и

Астраханью, — и требование это было передано Грозному именно «кильчеем» Девлетом. Удивительнее всего, что царь обещал «поступитца» волжскими ханствами в пользу Крыма и лишь попросил об отсрочке¹². Разумеется, это обещание — не более чем уловка, оно было дано в надежде выиграть время, собраться с силами, и все-таки сам факт подобного обещания, немыслимого в любых других условиях, говорит о многом. Царем владела растерянность: слишком опасной была ситуация. А ведь завоевание Казани и Астрахани всегда составляло предмет особой гордости Грозного. В своих посланиях за рубеж он часто даже дату помечал от времени взятия их русскими войсками, а не только от сотворения мира. Фон Бухау считал, что две головы царского орла символизируют владычество над Казанью и Астраханью — это не так, но при всей наивности такого истолкования государственного герба оно ясно показывает, что имперский дипломат отлично понимал значение для Грозного этих городов.

В грозной обстановке лета 1571 года, когда и в Карелии, и на западных границах было неспокойно, царь всеми способами стремился предотвратить новый набег крымцев и не решился бы в знак вызова послать хану топор. Сходные легенды бытовали на Руси и позднее. О Лжедмитрии I, который на определенном этапе был «народным» царем, рассказывали, например, будто он послал крымскому хану шубу, сшитую из свиных кож, — подарок для мусульманина оскорбительный. Такие рассказы существуют и о Борисе Годунове: тот якобы подарил турецкому султану мешок, снаружи покрытый бриллиантами, а внутри наполненный свиным навозом. Да и про самого Грозного ходили слухи, будто он приказал у турецких послов отрезать носы и уши, которые затем были отправлены в дар султану¹³.

Как ни соблазнительно поверить в сермяжный армяк и бараний «шлык» царя, но это скорее всего тоже легенда. И родилась она в Москве. Москвичам хотелось верить, что Девлет-Гирей, сжегший столицу и угнавший в полон тысячи русских людей, был осмеян в лице своего посланца. Не царь, а народ смехом мстил за перенесенные бедствия. Посол предстал перед государем, облаченным в рваное мужицкое платье, и сам посольский церемониал, на фоне которого должны были прозвучать надменные ханские требования, был спародирован, вывернут наизнанку. Крымский посол собирался унижить побежденного русского государя и возвеличить имя хана, но не сумел выполнить своей задачи — в обстановке шутовской, маскарадной,

когда торжественная аудиенция превратилась в подобие скоморошьего действия, его миссия утратила всякий смысл. Именно так трактует события легенда о державном маскараде, хотя в действительности царь вел себя совершенно по-другому.

Привлекательность этой легенды обнаружил и фон Бухау: он тоже считал, что Грозный надел крестьянское платье в насмешку над ханом. Фон Бухау знал русский язык и однажды в Вене исполнял обязанности переводчика при московских посла¹⁴. Филон Кмита, правда, в России не бывал, зато там был его информатор, некий «служебник» известных виленских книгоиздателей Мамоницей, который посетил Оршу проездом из Москвы. Что же касается автора «Пискаревского летописца», то многие его известия, как пишет В. И. Буганов, являются переложением устных преданий, слухов, рассказов современников¹⁵. Теми же источниками широко пользовался в своем сочинении и Горсей, также знавший русский язык. Эти четверо — литовский писец, имперский дипломат, английский купец-авантюрист и русский книжник — почерпнули свои сведения в тысячеустной народной молве, и легенду о странной аудиенции каждый из них передает немного по-своему, потому что существовала она, видимо, как и положено легенде, в различных вариантах. Ее питали слухи, но слухи испокон веку обладают известной особенностью: в них есть то, во что людям хочется верить. Даже самый лживый слух правдиво отражает умонастроения общества.

Впрочем, легенда легендой, однако посольская книга свидетельствует, что на приеме «кильчeya» Девлета царь был одет не так, как он всегда одевался для торжественных аудиенций иностранным дипломатам. Перед послами и посланниками Грозный предстал в «болшем» царском платье, перед гонцами — изредка в «меншем», но «обычное» царское платье в посольских книгах упоминается в записи от июня 1571 года и от февраля 1582 года, когда Грозный принимал в Москве папского легата А. Поссевино. На этой же аудиенции все присутствовавшие бояре и дворяне были «в смирном платье, в багровых и черных шубах, для того, что в ту пору государя царевича князя Ивана в животе не стало»¹⁶. Царевич Иван Иванович, старший сын Грозного и наследник престола, заболел после удара, нанесенного ему отцом, и умер 19 ноября 1581 г. На царя его смерть произвела настолько сильное впечатление, что траур продолжался и спустя три с лишним ме-

сяца. Кроме того, только что был заключен мир в Ям-Запольском, согласно условиям которого Грозный должен был отказаться от всех своих завоеваний в Прибалтике, уступить Речи Посполитой плоды более чем 20-летних усилий. По воздействию, оказанному на царя этими двумя событиями, они могли сравниться лишь с набегом Девлет-Гирея и пожаром Москвы.

Ситуации, как видим, достаточно схожи.

В отличие от Федора Ивановича или Бориса Годунова, которые в знак траура надевали «смирное» платье, Грозный даже после смерти брата, Юрия Васильевича, когда все придворные облачались в «смирные» одежды, неизменно появлялся на приемах в сияющем драгоценностями царском одеянии. Только дважды — в 1571 и 1582 годах — царь на посольские аудиенции надевал «обычное» платье, что, вероятно, символизировало для него высшую степень горя и смирения. На этих аудиенциях не место было и государевой «грозе» — рындам. На приеме Поссевино они не присутствовали. Отказ от вооруженной охраны, от мехов, золота и драгоценных камней означал покорность божественной воле перед лицом обрушившихся несчастий.

Если на аудиенции, данной посланцу Девлет-Гирея, Грозный хотел показать собственную «скудость», то отнюдь не в прямом смысле — не как отсутствие средств для выплаты требовавшейся дани. Иначе зачем было царю жаловать «кильчею» Девлету шубу, причем весьма не дешевую — ценой десять рублей?¹⁷ В этой шубе ханский посол и был во дворце; она как бы уравнивала его с царем и боярами, которые были в достаточно простой одежде. И невольно возникает вопрос: может быть, Грозный сознательно стремился к такому эффекту?

Легенда о державном маскараде возникла не на пустом месте. Действительно, в поведении царя есть нечто двойственное, ерническое, способное навести на мысль о насмешке над чванным послом и его повелителем — Девлет-Гиреем. Возьмем хотя бы грамоту, отправленную царем в Крым после этого визита. Грозный не только пропустил в ней свой царский титул, но по его личному распоряжению к грамоте была приложена еще и «печать меньшая на черном воску», хотя обычно царские грамоты, адресованные хану, запечатывались печатью красновосковой. С одной стороны, это явное самоуничижение. Но с другой, если вспомнить, что малая черновосковая печать использовалась для посланий царя крымским мурзам, —

это, напротив, унижение Девлет-Гирея. «Приказ царя запечатать грамоту к крымскому хану тем способом, каким запечатывались обычные указные грамоты из приказов, был, несомненно, намеренным мщением хану в области дипломатии»¹⁸, — писал русский историк Н. П. Лихачев, знаток отечественной и западноевропейской сфрагистики. Так что же означала эта черная печать — самоунижение царя или мщение хану? Трудно сказать, но скорее всего и то и другое. Еще труднее определить, где кончается одно и начинается другое. Таков Грозный. Ни пропасти, ни даже четкой границы между гневом и покаянием, гордыней и смирением для него не существовало. «Причудливое сплетение противоположных свойств в натуре царя Ивана, — замечает Р. Г. Скрынников, — поражало уже его современников»¹⁹.

Ясно, что для Грозного унижителен был сам прием ханского посланца в разоренной, уничтоженной пожаром столице. Иностранных дипломатов царь часто принимал в Александровой слободе, но в июне 1571 года он почему-то специально выехал в Москву и туда же велел доставить «кильчея» Девлета. На аудиенцию тот следовал по сплошному пожарищу, видел искалеченные стены Кремля и Китай-города, частично обвалившиеся от взрыва устроенных в башнях пороховых погребов, не мог не заметить почерневшие стены царского дворца, где даже прутья железные в окнах «переломались от жару». И начиная с этого момента царь будто движется от одного унижения к другому: жалует посла роскошной шубой, сам пребывая в «обычном» платье; впускает его в приемную палату без челобитья, принимает «безчестный» дар хана и, наконец, обещает отказаться от власти над Казанью и Астраханью. Но это смирение настолько глубоко и необычно, что постепенно начинает вызывать недоверие — оно как бы таит в себе свою противоположность, оборачивается издевкой и вызовом. Показное смирение всегда имеет обратную сторону — гордыню, но не понятно, когда именно стороны меняются местами и меняются ли. Толковать можно по-разному, как в случае с черновосковской печатью. И все-таки чем глубже смирение, тем для Грозного с большей легкостью оборачивается оно гордыней. Наивысшее проявление власти — это отказ от нее, что может позволить себе лишь человек, обладающий неограниченным могуществом. Сам Грозный не однажды публично демонстрировал такое отречение: то якобы навечно покидал Москву, то уступал

престол Симеону Бекбулатовичу, которому потом сам же писал челобитные, называя себя «Ивашкой».

По-видимому, в поведении царя летом 1571 года переплелись смирение действительное — «перед богом» (как то было и в 1582 г. во время приезда Поссевино), и показное — перед ханским послом, смешались покорность и высокомерие, растерянность и насмешка, отчаяние и политический расчет. В этой двойственности, вытекавшей из особенностей характера Грозного, легенда о державном маскараде выпятила одну сторону и старательно приглушила другую, а сам Грозный приобрел все черты «народного» царя, каким он станет впоследствии в качестве одного из любимых героев русского фольклора.

БЫЛ ЛИ РУКОМОЙНИК!

В 1614 году русский посланник И. Фомин, находясь в Праге, при дворе Габсбургов, с удивлением услышал, а позднее изложил в своем статейном списке историю о том, как Иван Грозный в гневе приказал гвоздями прибить шляпу к голове некоего посла, который отказался обнажить перед царем голову²⁰. Голландский путешественник И. Данкерт, живший в России в 1609—1611 годах, связывал эту историю с итальянским послом, а англичанин С. Коллинз, писавший свои записки в третьей четверти XVII в., жертвой царской жестокости назвал посла французского, уверяя при этом, будто с Дж. Боусом, послом Елизаветы Английской, который тоже не снял шляпу перед царем, Грозный такую штуку проделать не осмелился.

Но аналогичный поступок приписывался и господарю Владу IV, правившему в Мунтении (Восточной Валахии) в 1456—1462 и 1477 годах. Более известный под именем Дракулы в немецких брошюрах и «летучих листках» XVI в. он стал воплощением жестокости на престоле, кровавым извергом. Письменный рассказ о нем еще при Иване III привез из Венгрии русский дипломат Федор Курицын, и позднее повесть о «мутьянском воеводе» была популярна на Руси в нескольких вариантах: в одном из них рассказывается, что Дракула, разгневавшись на турецких послов, повелел «гвоздем железным на главах их колпаки пришивати»²¹.

Очевидно, что и собеседники Фомина в Праге, и Данкерт, и Коллинз излагали не реальный факт (кстати, при Грозном французские дипломаты Москву не посещали), а легенду, причем достаточно хорошо известную. Возможно,

она основывалась на небылицах о Дракуле, а возможно, перед нами — «бродячий сюжет», связывавшийся с различными историческими персонажами. Но показательно, что в многочисленных западноевропейских сочинениях о России, написанных современниками Ивана Грозного, рассказ о «прибитой» шляпе отсутствует. Он появился в России позднее, после событий Смутного времени, когда, с одной стороны, на Западе обострился интерес к Российскому государству, а с другой — сама личность Грозного успела подернуться туманом легенды.

Распространению таких легенд активно способствовали правительство и магнаты Польско-Литовского государства, в борьбе с которым русская дипломатия пыталась опереться на помощь Англии, Дании, империи Габсбургов. Соответственно дипломатия Речи Посполитой стремилась настроить против России общественное мнение Запада. Скажем, сочинение А. Шлихтинга, ярко рассказавшего о жестокостях Грозного, по наказу Сигизмунда II Августа было переписано автором, после чего приобрело еще большую полемическую заостренность; затем польский король переслал этот новый вариант в Рим, чтобы побудить папский престол разорвать дипломатические отношения с Москвой. Не исключено, что и Курбский писал свою «Историю о великом князе Московском» по прямому заказу польских и литовских магнатов. Поляки и жители Великого княжества Литовского часто сопровождали в Россию западноевропейских дипломатов, купцов, путешественников, служили им гидами и переводчиками, да и сведения о загадочной Московии в Европе долгое время черпали из латинских сочинений польских авторов, из польско-литовской публицистики, направленной против Российского государства.

В Вильно и Кракове стремились принизить авторитет русских государей, объявить их наследниками не великих князей киевских, а всего лишь потомками удельных московских князей — ордынских данников. В этом случае Россия не могла бы претендовать на возвращение своих западных территорий, отторгнутых во времена ордынского ига. В подобных устремлениях берет начало известный рассказ о церемониале приема в Москве послов Золотой и Большой Орды. Этот унижительный церемониал, которому якобы подчинялся еще Иван III, пока не отказался от него по настоянию Софьи Палеолог, и о котором впервые рассказал Ян Длугош в своей «Истории Польши» (конец XV в.), наиболее подробно описан Михалом Литвином.

По его словам, великий князь должен был встречать посланцев Орды за городом, подносить им чашу с кумысом и, если молоко проливалось, слизывать пролитые капли с гривы посольского коня. Затем он, пеший, вел этого коня, на котором восседал ханский представитель, через весь город в Кремль, где посол садился на великокняжеский трон, а сам князь, стоя на коленях, выслушивал его речи²².

К сожалению, мы не знаем, каков был посольский обычай, практиковавшийся в отношениях Москвы с Большой Ордой, — документация этих отношений до нас не дошла, а летописные известия слишком кратки. Но косвенные свидетельства позволяют отвергнуть рассказы польско-литовских авторов как легендарные. Если бы церемониал, описанный Михалоном Литвином, существовал на самом деле, то крымские ханы, считавшие себя наследниками золотоордынских, должны были предпринимать попытки хотя бы частичного его восстановления. Однако нет и следа этих попыток ни в 1521 году, когда после успешного набега крымцев Василий III дал Мухаммед-Гирею «грамоту данную», ни через полвека, после сожжения Москвы Девлет-Гиреем. В то же время крымские ханы в течение всего XVI в. сохраняли многие унижительные для русских государей нормы посольского обычая: первенство в здравницах и при написании титулов, некоторые особенности поведения на аудиенциях крымских дипломатов и т. д. Скорее всего эти же нормы применялись и в отношениях Москвы с Большой Ордой. Хотя, возможно, великие князья и встречали ордынских послов перед посадом, как впоследствии Иван Грозный встретил, например, астраханскую ханшу («царицу») Нур-Салтан, а также подносили им чашу с питьем — скорее все-таки с медом, а не с кумысом. «Хроника Литовская и Жмойтская» (начало XVI в.) настаивает, правда, на кумысе, зато о прочих элементах встречи, описанных Михалоном Литвином, не сообщает вовсе²³.

Зерно истины, имеющееся в рассказах польско-литовских авторов, окутано густым туманом легенды, и эта легенда носила ярко выраженный политический характер: она неизменно всплывала в периоды обострения отношений между Москвой и Вильно, когда идеологи Речи Посполитой использовали ее, исходя из современных задач. Стефан Баторий, трансильванский князь, при вступлении на престол Ягеллонов не владевший даже польским языком и изъяснявшийся со своими подданными на латыни,

не был, разумеется, знатоком русской истории. Однако нашлись люди, указавшие ему необходимые для полемики факты. В одном из своих посланий Ивану Грозному король, подчеркивая былую зависимость Москвы от ханов, не преминул напомнить о том, что предки царя были вынуждены слизывать кобылье молоко, пролитое на гривы татарских коней.

Или другая легенда — о том, будто русские государи, переодевшись в простое платье и смешавшись с толпой москвичей, инкогнито любовались зрелищем торжественного въезда в столицу западноевропейских посольств. В XVII в. об этом писали многие иностранцы, но первое известие такого рода содержится в поэме польского литератора и дипломата Г. Пеллгримовского, описавшего пребывание в России посольства Л. Сапеги в 1600—1601 годы²⁴. Казалось бы, уж эта легенда вполне безобидна: о ком только из великих правителей древности и средневековья — от Юлия Цезаря до Гаруна-аль-Рашида, ни рассказывали, будто они в одежде частных лиц, бродя по городу, слушают разговоры собственных подданных. Но здесь речь идет о другом. Во-первых, у читателя создавалось впечатление необыкновенной пышности посольского поезда и, следовательно, богатства и могущества польского короля. Во-вторых, возникало представление об убогости московского двора, ибо для самого царя возможность поглазеть на посольское шествие была настолько соблазнительной, что заставляла его забыть о достоинстве и царском «чине».

Но если история с пригвожденной шляпой или анекдот о тайных экскурсиях царя по Москве не были всерьез восприняты исследователями нового времени, то гораздо больше «повезло» сообщениям об особом умывальнике, из которого русские государи прямо в приемной палате будто бы омывали руку после поцелуя ее послами-католиками. Этот рукомойник прекрасно соотносился с известной враждебностью и недоверием русских к «латынам», и в существовании его не усомнился даже В. О. Ключевский. Между тем мы имеем дело также с легендой, чье происхождение и существование можно проследить.

Прежде всего выясняется, что из десятков иностранных дипломатов, побывавших в России в XVI в. и описавших церемониал приема в Кремлевском дворце, о процедуре умывания рук рассказывают лишь двое — С. Герберштейн и А. Поссевино. Причем из их сочинений следует один немаловажный факт: ни тот ни другой собственными глазами этой процедуры не наблюдал. Поссевино ссылал-

ся на Герберштейна, посетившего Москву на полвека раньше, а тот, в свою очередь, тоже писал с чьих-то слов²⁵.

В своих записках Поссевино сообщает, что упрекал Ивана Грозного в следовании такому унижительному для иностранцев обычаю, а «царь пытался оправдаться, но не смог этого сделать»²⁶. Однако в посольской книге, подробно описывающей пребывание в Москве папского легата, вся история выглядит совершенно иначе.

Действительно, в феврале 1582 года Поссевино подал на имя Грозного письмо, где, в числе прочего, просил царя отказаться от обычая умывания рук. Впадая в явные преувеличения, которые русским дипломатам не стоило труда опровергнуть, он писал, будто император Рудольф II и другие западноевропейские монархи не направляют своих представителей в Москву по той причине, что царь, «коли говорит с послы или посланники, руки себе перед ними омывает, как бы тые государи, от кого они приехали, не чистые, и вера, в которой они живут, как бы погана...» Хотя к тому времени Поссевино уже несколько раз побывал на аудиенциях у Грозного, к личным впечатлениям он не апеллировал, поскольку, видимо, таковых не имел, а в качестве источника своих сведений откровенно указывал «Жигимонта Герберстайна»: тот «книги великие написал о речах и обычех московских, которые книги мало не во всех государствах есть»²⁷.

Результат этого письма оказался неожиданным: бояре наотрез отказались признать существование такого обычая. «Того у нас не ведетца, — отвечали они, — как живут послы или посланники, и государь бы руки умывал тех для послов, вставя которую нечистоту про государей их; то сам, Антоней, все у государя видел еси, и не одинова, как у государя был многижда на посолстве. Тебя государь... принял своими царскими руками, а рук для того не умывал — то нехто лихой неправдивый человек те слова затеял». Относительно же сочинения Герберштейна бояре заявили Поссевино, что ему «нечего старых таких баламутных книг слушати»²⁸.

Оставим в стороне характеристику боярами «Записок о Московии» Герберштейна. В целом их ответ ясен и недвусмыслен, он опирается на реальную обстановку данных Поссевино аудиенций и, помимо прочего, заслуживает доверия по двум причинам: во-первых, русские посольские книги ни разу не упоминают о рукомоинике как атрибуте дипломатических приемов у царя; во-вторых, в том же

письме Поссевино просил Грозного отменить строгости при содержании иностранных посольств в Москве, и бояре вовсе не думали отрицать существование этих строгостей, а просто отвечали, что «так ведетца» и, значит, вопрос этот дальнейшему обсуждению не подлежит. Таким же способом они могли объяснить и обычай умывания рук, если бы он был принят при московском дворе, однако не объяснили.

Но почему именно Герберштейн и Поссевино обратили внимание на злополучный рукомоиник?

Нетрудно заметить, что миссии, с которыми приезжали в Москву эти два дипломата, чрезвычайно схожи: они выступали посредниками в мирных переговорах между Россией и Польско-Литовским государством. Кроме того, и с папскими послами, сопровождавшими Герберштейна в 1526 году, и с визитом Поссевино Ватикан связывал вполне определенные надежды — посредничество, как полагали в Риме, должно было создать благоприятные условия если не для полного обращения в католичество Василия III и Ивана Грозного, то хотя бы для принятия ими Флорентийской унии; на худой конец, они надеялись добиться от них разрешения строить в России католические храмы. В обмен на это Ватикан мог бы способствовать заключению более выгодного для Москвы мирного договора. Естественно, что в Вильно и Кракове стремились показать неосуществимость подобных планов, решительную и бескомпромиссную враждебность русских государей к католикам и тем самым, продемонстрировав посредникам иллюзорность питаемых ими надежд, склонить их к отстаиванию прежде всего интересов короля. Потому-то, вероятно, в беседах, которые королевские дипломаты вели с Герберштейном и Поссевино, проезжавшими по дороге в Москву через польские и литовские земли, и всплывала легенда о царском рукомоинике. В письме к царю папский легат невольно проговорился еще об одном, не считая книги Герберштейна, источнике своих сведений: рассуждения о вредном обычае завершаются фразой о том, что «это не любо» и Стефану Баторию²⁹. Следовательно, вопрос обсуждался с самим королем либо с его приближенными, и вряд ли тема была затронута случайно. Можно даже предположить, что как раз при польском королевском дворе и объяснили папскому посланцу всю важность короткого сообщения Герберштейна. Объяснили, дабы побудить отказаться от поездки в Москву и участия в переговорах вообще или по крайней мере от защиты интересов русской сто-

роны. Но Поссевино сделал из этого собственные выводы. На пути осуществления его миссионерских замыслов царский рукомойник был значительным препятствием, и пункт об отказе от него легат включил в свою программу-минимум, которую выдвинул, не добившись большего.

Отметим еще одну деталь. Собственно говоря, у Поссевино и речи не ведется о том, что царь обмывает руку именно после целования ее послами. Поскольку сам он этой процедуры не видел, полагая, будто для него сделали исключение, а слышал, видимо, разное, то и выражается весьма неопределенно. По его словам, получается, что Грозный на аудиенции во время беседы с иностранными дипломатами просто моет обе руки. Историческая фигура, с которой в данном случае проводится параллель, прямо не называется, хотя и подразумевается — это Понтий Пилат; имеется в виду не умывание, а символическое омовение. Царь таким образом не очищает одну только оскверненную поцелуем руку, а как бы избавляется от греха, состоявшего в самом общении с католиками. Не физическая нечистота смывается водой, что еще можно было бы стерпеть, но скверна духовная, перед богом свидетельствуется вынужденность греховного разговора с еретиками и отступниками от истинной веры. Во всяком случае, из рассуждений Поссевино следует именно такая интерпретация этой процедуры.

Но если дело не в поцелуе, то обвинение папского легата вообще утрачивает смысл: ведь с иноверцами русские государи общались не только в приемной палате. Если же, как считает Поссевино, умывание рук было акцией демонстративной, предпринимаемой исключительно перед западноевропейскими дипломатами с намерением унижить тех государей, то достаточно сопоставить текст его поздних записок с письмом, поданным Ивану Грозному непосредственно в Москве, чтобы убедиться в следующем: зловерный обычай изображается в них по-разному, одно сообщение противоречит другому.

В письме говорится, что царь, беседуя с послами, «руки себе перед ними омывает». Но в записках рисуется картина совсем иная: эта процедура происходит не в присутствии послов, а «после их ухода»³⁰. На основании собственного опыта и разъяснений, данных боярами, Поссевино неохотно признает, что столь ненавистный ему обычай публичного оттенка не имеет, совершается в частной обстановке и не входит в церемониал аудиенции. Никакой, следовательно, обиды для послов нет в царском умывании.

Тем не менее Поссевино заносит в свои записки пространное сообщение о нем. С какой целью? Очевидно, с той же, какую преследовали и его польско-литовские собеседники. Не добившись успеха в попытках примирить Ивана Грозного с католичеством (на устроенном диспуте о вере царь в ярости назвал папу римского «волком»³¹), Поссевино стремился показать, что неудача постигла его в силу объективных причин, из-за необычайной враждебности русских государей к иностранцам, и в частности к католикам, а не по его, Поссевино, вине; сам он сделал все возможное. Упоминание о пресловутом рукомойнике, в существовании которого папский легат, возможно, начал уже сомневаться, должно было помочь ему оправдать перед Ватиканом неуспех собственной миссии.

Попробуем разобраться в происхождении этой странной легенды, которая на протяжении двух столетий использовалась в антимосковской пропаганде и дожила до наших дней.

Во-первых, несомненна аллюзия на евангельскую легенду о Понтии Пилате — это, так сказать, источник умозрительный. Во-вторых, за рукомойник могли принимать (или намеренно выдавать за него) стоявший в приемной палате кувшин с вином или медом для угощения послов, поскольку угощение следовало не всегда, а назначение кувшина было понятно не для всех. А. Олеарий, посетивший Москву в составе голштинского посольства в 1634 году, тоже говорит о царском рукомойнике и лохани, хотя сам процедуры умывания рук не видел, а ссылается опять же на Поссевино и Герберштейна. Вместе с тем он оставил сделанный по памяти рисунок, изображавший аудиенцию у Михаила Федоровича. На этом рисунке справа от трона действительно помещен некий сосуд, больше, правда, похожий не на рукомойник («рукомой»), имевший обычно форму высокой кружки с носиком, а на восточный кумган. Но стоит он не в лохани, о которой под воздействием, очевидно, Поссевино пишет Олеарий, а на блюде, едва ли пригодном для умывания; рисунок в книге голштинского дипломата противоречит его же тексту. Описывая аудиенцию у Михаила Федоровича и царский рукомойник, Олеарий подробно пересказывает соответствующее место из записок Поссевино: иными словами, он увидел то, что ранее готов был увидеть.

И еще одно косвенное свидетельство в пользу того, что умывание рук на аудиенции принято не было. Если в самом деле слухи о нем имели бы настолько широкое рас-

пространение, что, как пишет Поссевино, западноевропейские монархи из-за этого даже собирались разорвать отношения с Москвой, то вряд ли те же монархи стали бы посылать русским государям рукомытники в качестве дипломатических подарков. Например, в 1648 году Алексей Михайлович получил сразу два таких подарка — от польского короля Яна Казимира и от шведской королевы Христины. В 1676 году царю привезли драгоценный рукомытник австрийские послы; посылались в дар золотые и серебряные лохани. По-видимому, так же обстояло дело и в XVI в.

Возвращаясь к запискам Поссевино, отметим, что сочинения западных дипломатов, посещавших Россию в XVI — XVII вв., изобилуют неточностями и преувеличениями, порой вполне сознательными преувеличениями. Зачастую эти книги достаточно выразительно демонстрируют отсутствие у автора желания проникнуть в особенности жизни и быта другого народа, понять чужую систему ценностей, хотя неправильно было бы это одинаково относить к умному и наблюдательному Герберштейну и, скажем, к Барберини, не заметившему в России ничего, кроме собственных неудобств. Но отдельное преувеличение или предвзятое толкование какого-то факта — это еще не легенда. Любопытны именно легенды, переходившие из уст в уста, из книги в книгу. Иногда они могли играть чисто развлекательную роль, но нередко использовались и в публицистике, направленной против Российского государства. И не случайно материалом для них служил посольский обычай, способный выразить политическую идею не в слове, не в отвлеченном понятии, которое не затрагивает воображение и доступно немногим, а куда более зримо и впечатляюще — через символическое действие, церемонию, поступок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы попробовали приблизиться к деталям той сферы жизни русского общества конца XV — начала XVI в., которая при всей ее строжайшей регламентации тем не менее оставалась жизнью. Именно живой жизнью, ибо посольский обычай так или иначе преломлялся в судьбах сотен и тысяч людей: приказных деятелей, членов многочисленных и многолюдных дипломатических миссий, посольских эскортов, участников торжественных «встреч», въездов, приемов и прочих церемоний, наконец, просто зрителей.

Среди множества фактов неизбежно находятся и необъяснимые. Попытка ввести калейдоскоп подробностей в некие рамки — это упорядочение не жизни как таковой, а нашего на нее взгляда, без чего легко можно впасть в другую крайность — в кажущемся хаосе не заметить устойчивой и прочной тенденции.

Письменно не зафиксированный, опирающийся лишь на прецедент и опыт посольский обычай не был только средством внешнего оформления государственной жизни. Он был одновременно идеологией и бытом, способом существования и символом веры русских дипломатов. Вплоть до 70-х годов XVII в., когда Россия заключила первые договоры о дипломатическом церемониале («посольском чине») с Речью Посполитой (1672 г.), Швецией (1674 г.) и Священной Римской империей (1675 г.), нормы посольского обычая жили в устном предании. Это был обычай, хотя и гораздо более подвижный и гибкий по сравнению с древними народными ритуалами.

Русские дипломаты объявляли его идущим из старины, неизменным и незыблемым, но на самом деле он постоянно изменялся, чутко реагируя на изменения в международной жизни и на особенности развития общества. Это подмечали уже наиболее внимательные из современников. Д. фон Бухау, например, сопоставляя наблюдения С. Герберштейна, относящиеся к первой четверти XVI в., и собственные впечатления, вынесенные из поездки в Россию в 1575—1576 годах, сделал вывод, что за

50 лет в Москве произошли большие перемены в приеме и содержании иностранных послов.

В XVII в. эти перемены стали еще ощутимее: в России, как и в других странах Европы, шла неуклонная формализация посольского обычая, приближавшая его к дипломатическому церемониалу и протоколу нового времени. Ритуал превращался в этикет, на смену идеологии приходила эстетика, что становится особенно заметно в годы царствования Алексея Михайловича. Правда, в 10—20-х годах XVII в., когда новая династия, еще не твердо чувствуя себя на престоле, всячески пыталась подчеркнуть свою законность и преемственность, усиленно демонстрировала приверженность «старине», в посольском обычае появились и консервативные тенденции, сильнее начали сказываться не столь резкие прежде различия между русскими и западноевропейскими нормами. В это и только в это время возникают на Западе представления о «мелочном упрямстве» московских дипломатов, часто интерполируемые и на предшествовавшую эпоху.

В целом же посольский обычай Российского государства сложился в XVI в. и просуществовал до конца следующего столетия, когда был частично уничтожен, а частично обновлен реформами Петра I.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗЕРКАЛО ЭПОХИ

- ¹ Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией (далее — ПДТСП). — Т. 1. — СПб., 1890. — С. 433.
- ² Посольская книга по связям России с Англией. 1613—1614 гг./Подг. текста Н. М. Рогожина, под ред. В. И. Буганова.— М., 1979. — С. 178—179.
- ³ Carter Ch. H. The Western European Powers (1500—1700). — L., 1971. — P. 19.
- ⁴ Сборник Русского Исторического общества (далее — Сб. РИО). — Т. 129. — СПб., 1910. — С. 96; Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными (далее — ПДС). — Т. 10. — СПб., 1870. — С. 212.
- ⁵ Савва В. И. Московские цари и византийские василевсы. — Харьков, 1901. — С. 191. В советское время о европейском характере русского посольского обычая писали С. В. Бахрушин (История дипломатии. — 2-е изд. — Т. 1. — М., 1959. — С. 235—247) и П. П. Бушев (История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1586—1612 гг. — М., 1976. — С. 444). О русском посольском обычае см. также Сахаров И. П. Дипломатические обычаи древней России// Сын отечества. — 1852, — № 3-5; О древней русской дипломатии. Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета доктором прав, ординарным профессором В. Лешковым 17 июня 1847 г.; Белокуров С. А. О Посольском приказе. — М., 1906.
- ⁶ Савва В. И. Указ. соч. — С. 191.

Глава I

- ¹ Сб. РИО. — Т. 129. — С. 263.
- ² Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). — Т. 8. — СПб., 1859. — С. 280.
- ³ Сб. РИО. — Т. 41. — СПб., 1884. — С. 106—107.
- ⁴ Сб. РИО. — Т. 95. — СПб., 1895. — С. 360.
- ⁵ Мадиссон Ю. К. Посольство И. Гофмана в Ливонию и Русское государство в 1559—1560 гг. // Исторический архив. — 1957. — № 6. — С. 138.
- ⁶ Центральный государственный архив древних актов в Москве (далее — ЦГАДА). — Ф. 53. — № 1. — Л. 60—60 об.
- ⁷ Казакова Н. А. «Европейской страны короли» // Труды Ленинградского отделения Института истории СССР. — Вып. 7. — М.—Л., 1964. — С. 420.
- ⁸ Сб. РИО. — Т. 71. — СПб., 1892. — С. 314.
- ⁹ Послания Ивана Грозного/Подг. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье.— М.—Л., 1965. — С. 153; Сб. РИО. — Т. 129. — С. 40; Послания Ивана Грозного. — С. 158.
- ¹⁰ Там же. — С. 213; Уо Д. К. Неизвестный памятник древнерусской литературы // Археографический ежегодник за 1971 г. — М., 1972. — С. 361, 360.

- ¹¹ См. **Флоря Б. Н.** Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII в. — М., 1978. — С. 93—120.
- ¹² **Сборник князя Оболенского.** — М., 1838. — № 6. — С. 9.
- ¹³ **ЦГАДА.** — Ф. 123. — № 10. — Л. 89. — Об. — 90.
- ¹⁴ **Сб. РИО.** — Т. 95. — С. 280.
- ¹⁵ **ЦГАДА.** — Ф. 123. — № 10. — Л. 155.
- ¹⁶ **Сб. РИО.** — Т. 71. — С. 395.
- ¹⁷ **Дьяконов М. А.** Власть московских государей. — СПб., 1889. — С. 88.
- ¹⁸ **Сб. РИО.** — Т. 59. — СПб., 1887. — С. 161; там же. — Т. 129. — С. 96; **ПДС.** — Т. 10. — С. 215.
- ¹⁹ Там же. — Т. 1. — СПб., 1851. — С. 1184; **Сб. РИО.** — Т. 129. — С. 334.
- ²⁰ Там же. — Т. 95. — С. 82.
- ²¹ **Лихачев Д. С.** Русский посольский обычай XI—XIII вв. // Исторические записки. — Т. 18. — М., 1946. — С. 45.
- ²² **О России в царствование Алексея Михайловича.** Сочинение Григория Катошихина. — СПб., 1906. — С. 41.
- ²³ **Mowat R. V.** A History of European Diplomacy (1451—1789). — Hamden-Connecticut, 1971. — P. 3.
- ²⁴ **Дьяки и подьячие Посольского приказа в XVI веке.** Справочник / Сост. В. И. Савва. — М., 1983. — С. 136.
- ²⁵ Там же. — С. 160.
- ²⁶ **Аделунг Ф.** Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 г. и их сочинений. — Ч. 1. — М., 1864. — С. 268.
- ²⁷ **Сб. РИО.** — Т. 129. — С. 213.
- ²⁸ **Книга посольская Метрики Великого княжества Литовского (далее — КПМЛ).** — Ч. 2. — М., 1845. — С. 99.
- ²⁹ **ПДС.** — Т. 1. — С. 1175.
- ³⁰ **Опись архива Посольского приказа 1626 г.** / Подг. к печати В. И. Гальцов, под ред. С. О. Шмидта. — М., 1977. — С. 304.
- ³¹ **ПДТСП.** — Т. 2. — СПб., 1892. — С. 312.
- ³² **ЦГАДА.** — Ф. 53. — № 2. — Л. 168 об.
- ³³ **Сб. РИО.** — Т. 129. — С. 275—276.
- ³⁴ **Английские путешественники в Московском государстве в XVI в.** / Подг. текста и пер. Ю. В. Готье. — Л., 1937. — С. 199; **Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России** / Изд. И. М. Болдаков. — СПб., 1893. — С. 33 (далее — **Сэра Томаса Смита путешествие...**)
- ³⁵ **Сношения России с Кавказом** / Публ. С. А. Белокурова. — М., 1889. — С. 160.

Глава II

- ¹ **Сб. РИО.** — Т. 137. — СПб., 1915. — С. 642.
- ² **КПМЛ.** — Ч. 1. — М., 1843. — С. 41.
- ³ **Путешествия русских послов в XVI—XVII вв. Статейные списки.** — М. — Л., 1954. — С. 59.
- ⁴ **Сб. РИО.** — Т. 129. — С. 177; **Новое известие о России времени Ивана Грозного («Сказание» Альберта Шлихтинга)** / Пер. А. И. Малена. — Л., 1934. — С. 96; **Аделунг Ф.** — Указ. соч. — Ч. 1. — С. 156.
- ⁵ **Сб. РИО.** — Т. 129. — С. 274.
- ⁶ Там же. — С. 218; Т. 71. — С. 569; **КПМЛ.** — Ч. 2. — С. 53.
- ⁷ **ПДС.** — Т. 1. — С. 171.
- ⁸ **Первые сорок лет сношений между Россией и Англией (1553—1593). Грамоты** / Сост. собр. Ю. Толстой. — СПб., 1875. — С. 48—49.

- ⁹ Сб. РИО. — Т. 71. — С. 786.
¹⁰ ПДТСП. — Т. 1. — С. 33.
¹¹ КПМЛ. — Ч. 1. — С. 90.
¹² Аделунг Ф. Указ. соч. — Ч. 1. — С. 144.
¹³ Сношения России с Кавказом. — С. 378.
¹⁴ Сб. РИО. — Т. 59. — С. 93.
¹⁵ Монтень М. Опыты. — Кн. 3. — М.—Л., 1960. — С. 236—237.
¹⁶ О России в царствование Алексея Михайловича. — С. 67.
¹⁷ Сб. РИО. — Т. 71. — С. 736; Шмурло Е. Известия Дживованни Тедадьди о России времени Ивана Грозного. — СПб., 1891. — С. 19; КПМЛ. — Ч. 1. — С. 292.
¹⁸ Сб. РИО. — Т. 137. — С. 93.
¹⁹ Сношения России с Кавказом. — С. 378.
²⁰ Сб. РИО. — Т. 53. — СПб., 1887. — С. 105.
²¹ Савва В. И. О Посольском приказе в XVI веке. — Харьков, 1917. — С. 388.
²² КПМЛ. — Ч. 1. — С. 45.
²³ ПДТСП. — Т. 2. — С. 307.
²⁴ Сб. РИО. — Т. 95. — С. 85.

Глава III

- ¹ ЦГАДА. — Ф. 79. — № 15. — Л. 266.
² КПМЛ. — Ч. 2. — С. 97.
³ О России в царствование Алексея Михайловича. — С. 54.
⁴ ЦГАДА. — Ф. 123. — № 21. — Л. 6. — Об.
⁵ Сб. РИО. — Т. 129. — С. 453.
⁶ Там же. — С. 329.
⁷ Какаш С. и Тектандер К. Путешествие в Персию через Московию в 1602—1603 гг. / Пер. А. Станкевича // Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете (далее — ЧОИДР). — Кн. 4. — М., 1884. — Отд. 3. — С. 12.
⁸ Дневник ливонского посольства, веденный Томасом Хернером [1557 г.] // ЧОИДР. — Кн. 4. — М., 1886. — Отд. 4. — С. 5; Сношения России с Кавказом. — С. 222.
⁹ ПДС. — Т. 2. — СПб., 1852. — С. 880, 895.
¹⁰ Реляция Петра Петрея о России начала XVII в. / Пер. Г. М. Коваленко. — М., 1976. — С. 75—76.
¹¹ Сношения России с Кавказом. — С. 419.
¹² Сказания современников о Дмитрие Самозванце. — Т. 1. — СПб., 1831. — С. 41; См. также Аделунг Ф. Указ. соч. — Ч. 2. — С. 89; Буссов К. Московская хроника (1584—1613). — М.—Л., 1961. — С. 98.
¹³ ЦГАДА. — Ф. 68. — № 1. — Л. 3.
¹⁴ Сказания иностранцев о России в XVI и XVII веках / Изд. В. Любич-Романович. — СПб., 1843. — С. 26.
¹⁵ ЦГАДА. — Ф. 123. — № 10. — Л. 17.
¹⁶ Горсей Дж. Записки о Московии XVI века / Пер. Н. А. Белозерской. — СПб., 1909. — С. 54.
¹⁷ Сб. РИО. — Т. 38. — СПб., 1883. — С. 393, 395—396.
¹⁸ Там же. — Т. 59. — С. 386.
¹⁹ Сэра Томаса Смита путешествие... — С. 28.
²⁰ Сб. РИО. — Т. 71. — С. 784.

Глава IV

- ¹ ЦГАДА. — Ф. 79. — № 15. — Л. 121 об.; **Сношения России с Кавказом.** — С. 378.
- ² ЦГАДА. — Ф. 123. — № 13. — Л. 170 об.
- ³ ПДС. — Т. 1. — С. 253; **Сб. РИО.** — Т. 137. — С. 641.
- ⁴ ЦГАДА. — Ф. 89. — № 1. — Л. 326. об. — 327.
- ⁵ **Сб. РИО.** — Т. 137. — С. 409.
- ⁶ Там же. — Т. 35. — СПб., 1882. — С. 672; Т. 59. — С. 64.
- ⁷ ПДС. — Т. 10. — С. 50—51.
- ⁸ **Письмо Иоганна Кобенцеля о России // Журнал Министерства народного просвещения.** — 1842. — № 9. — С. 152—153.
- ⁹ ЦГАДА. — Ф. 123. — № 10. — Л. 7.
- ¹⁰ ПДС. — Т. 1. — С. 967.
- ¹¹ **Какаш С. и Тектандер К.** — Указ. соч. — С. 12.
- ¹² **Ossoliński J. Pamiętnik (1595—1621).** — Wrocław, 1952. — S. 129.
- ¹³ ПДС. — Т. 1. — С. 905.
- ¹⁴ **Веселовский Н. И. Татарское влияние...** — С. 2.
- ¹⁵ **Путешествия русских послов в XVI—XVII вв.** — С. 93—94.
- ¹⁶ ПДТСП. — Т. 1. — С. 36, 62; Т. 2. — С. 279.
- ¹⁷ **Сказания современников о Дмитрие Самозванце.** — Т. 2. — СПб., 1832. — С. 118.
- ¹⁸ **Сношения России с Кавказом.** — С. 342, 346—347.
- ¹⁹ **Сб. РИО.** — Т. 137. — С. 424.
- ²⁰ **Мадиссон Ю. К. Указ. соч.** — С. 135.
- ²¹ **Сб. РИО.** — Т. 59. — С. 379.
- ²² **Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII века.** — Л., 1937. — С. 57.

Глава V

- ¹ **Сб. РИО.** — Т. 129. — С. 357, 387.
- ² Там же. — Т. 71. — С. 377.
- ³ ПДС. — Т. 2. — С. 485.
- ⁴ Там же. — С. 328—329.
- ⁵ **Герберштейн С. Записки о Московии.** — СПб., 1866. — С. 188.
- ⁶ **Путешествие персидского посольства через Россию от Астрахани до Архангельска в 1599—1600 гг. Из рассказов Хуана Персидского / Пер. С. Соколова // ЧОИДР.** — 1899. — Кн. 1. — Отд. 3. — С. 4—5 (далее — **Путешествие персидского посольства...**).
- ⁷ **Казанская история / Подг. текста Г. Н. Моисеевой, под ред. В. П. Адриановой-Перетц.** — М.—Л., 1954. — С. 167.
- ⁸ **Герберштейн С. Указ. соч.** — С. 188.
- ⁹ **Донесение о поездке в Москву придворного римского императора Михаила Шиле в 1598 г. / Пер. А. Н. Шемякина // ЧОИДР.** — М., 1875. — Кн. 2. — Отд. 4. — С. 4—5.
- ¹⁰ Там же.
- ¹¹ **Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. / Под ред. Ю. Готье.** — Л., 1936. — С. 208—209, 256.
- ¹² **Сборник князя Оболенского.** — № 5. — М., 1838. — С. 9.
- ¹³ КПМЛ. — Ч. 1. — С. 292.
- ¹⁴ **Сб. РИО.** — Т. 71. — С. 735.
- ¹⁵ ПСРЛ. — Т. 12. — М., 1965. — С. 16.
- ¹⁶ **Два сватовства иноземных принцев к русским великим княжнам в XVII столетии / Публ. А. Н. Шемякина // ЧОИДР.** — М., 1867. — Кн. 4. — Отд. 4. — С. 9.
- ¹⁷ **Сб. РИО.** — Т. 129. — С. 24.

- ¹ Сб. РИО. — Т. 38. — С. 171.
- ² Там же. — Т. 53. — С. 126.
- ³ ПДС. — Т. 10. — С. 223—224.
- ⁴ Сборник князя Оболенского. — № 5. — С. 9.
- ⁵ ЦГАДА. — Ф. 89. — № 3. — Л. 216.
- ⁶ Савельева Е. А. Олаус Магнус и его «История северных народов». — Л., 1983. — С. 79.
- ⁷ Сказания современников о Дмитрие Самозванце. — Т. 2. — С. 38, 22.
- ⁸ Послания Ивана Грозного. — С. 219; Сб. РИО. — Т. 129. — С. 212.
- ⁹ Акты исторические, относящиеся до России, собранные в иностранных библиотеках и архивах А. И. Тургеневым. — Т. 2. — СПб., 1842. — С. 98 (далее — Акты исторические, собранные... А. И. Тургеневым).
- ¹⁰ ПДС. — Т. 10. — С. 224.
- ¹¹ Путешествия русских послов в XV—XVII вв. — С. 78.
- ¹² Временник Ивана Тимофеева. — М.—Л., 1951. — С. 10, 19.
- ¹³ Бухов Д. Принц фон. Начало и возвышение Московии / Пер. И. А. Тихомирова // ЧОИДР. — 1876. — Кн. 3. — Отд. 4. — С. 29.
- ¹⁴ Горсей Дж. Указ. соч. — С. 111.
- ¹⁵ ЦГАДА. — Ф. 79. — № 10. — Л. 507 об.
- ¹⁶ Путешествие в Россию датского посланника Якова Ульфельдта в 1575 г. / Пер. А. Н. Шемякина // ЧОИДР. — М., 1883. — Кн. 1. — Отд. 3. — С. 34; ЦГАДА. — Ф. 79. — № 15. — Л. 209; ПДС. — Т. 2. — С. 486.
- ¹⁷ Горсей Дж. Указ. соч. — С. 111.
- ¹⁸ Аделунг Ф. Указ. соч. — Ч. 1. — С. 256; Выписка из иностранной книги о старине русской // Вестник Европы. — 1820. — Ч. 63. — № 20. — С. 202; Гюльденстиерне А. Путешествие его княжеской светлости герцога Ганса Шлезвиг-Голштинского в Россию / Пер. Ю. Н. Щербачева // ЧОИДР. — М., 1911. — Кн. 3. — Отд. 2. — С. 17; Сборник материалов по русской истории начала XVII века / Изд. И. М. Болдакова. — СПб., 1896. — С. 34; О царском «меншем» платье см. ЦГАДА. — Ф. 79. — № 10. — Л. 296 об.; Сб. РИО. — Т. 129. — С. 347 и др.
- ¹⁹ Письмо Иоганна Кобенцеля о России. — С. 144; Годовикова Л. Н. «Московское посольство» Антонио Поссевино // Вестник МГУ. — 1970. — Сер. IX (История). — № 5. — С. 94.
- ²⁰ Бухов Д. Принц фон. Указ. соч. — С. 54.
- ²¹ Сб. РИО. — Т. 71. — С. 555.
- ²² Государственный архив России XVI столетия. Опыт реконструкции / Подг. текста и коммент. А. А. Зимина. — М., 1978. — С. 466.
- ²³ ЦГАДА. — Ф. 79. — № 10. — Л. 296 об.; Аделунг Ф. Указ. соч. — Ч. 1. — С. 274.
- ²⁴ Ключевский В. О. Сочинения. — Т. 6. — М., 1959. — С. 370.
- ²⁵ Розов Н. Н. Похвальное слово великому князю Василию III // Археографический ежегодник за 1964 г. — М., 1965. — С. 289.
- ²⁶ Сб. РИО. — Т. 59. — С. 610.
- ²⁷ Аделунг Ф. Указ. соч. — Ч. 1. — С. 194.
- ²⁸ Сб. РИО. — Т. 38. — С. 159, 170.
- ²⁹ Барбаро и Контарини о России / Пер. Е. Ч. Скржинской. — Л., 1971. — С. 145.
- ³⁰ Аделунг Ф. Указ. соч. — Ч. 1. — С. 159.
- ³¹ ЦГАДА. — Ф. 79. — № 15. — Л. 211.

- 32 **Акты исторические, собранные... А. И. Тургеневым.** — Т. 2. — С. 103.
- 33 **Флоря Б. Н.** Указ. соч. — С. 269.
- 34 **ЦГАДА.** — Ф. 79. — № 17. — Л. 290.
- 35 **Сб. РИО.** — Т. 59. — С. 394.
- 36 **ЦГАДА.** — Ф. 89. — № 3. — Л. 215.
- 37 **ПДС.** — Т. 1. — С. 65.
- 38 **Сб. РИО.** — Т. 95. — С. 92, 96.
- 39 **Смирнов В. Д.** Крымское ханство под верховенством Османской Порты до начала XVIII века. — СПб., 1887. — С. 363; **Савва В. И.** Московские цари и византийские василевсы. — С. 223; **Белокуров С. А.** О Посольском приказе. — С. 93—94.
- 40 **Описание путешествия в Москву посла римского императора Николая Варкоча / Пер. А. Н. Шемякина // ЧОИДР.** — М., 1874. — Кн. 4. — Отд. 4. — С. 22 (далее — **Описание путешествия... Николая Варкоча**).
- 41 **Сб. РИО.** — Т. 95. — С. 533, 171.
- 42 **Гюльденстиерне А.** Указ. соч. — С. 17.
- 43 **ПДС.** — Т. 2. — С. 330; **Сб. РИО.** — Т. 137. — С. 315; см. также **ЦГАДА.** — Ф. 79. — № 11. — Л. 7—7 об.; № 17. — Л. 109.
- 44 **Приезд в Москву посланника Гелиаша Пелгримовского // Старина и новизна.** — Кн. 4. — СПб., 1901. — С. 415.
- 45 **ПДС.** — Т. 1. — С. 260; **Сб. РИО.** — Т. 35. — С. 505.
- 46 **Сб. РИО.** — Т. 38. — С. 359.
- 47 **ПДТСП.** — Т. 1. — С. 259.
- 48 **Акты времени междоцарствия [1610—1613] // ЧОИДР.** — М., 1915. — Кн. 4. — Отд. 1. — С. 13.
- 49 **ЦГАДА.** — Ф. 123. — № 21. — Л. 102, 327.
- 50 **Сб. РИО.** — Т. 71. — С. 289.
- 51 **Там же.** — Т. 129. — С. 276.
- 52 **Там же.** — Т. 137. — С. 494.
- 53 **Английские путешественники в Московском государстве в XVI в.** — С. 57.
- 54 **Путешествие персидского посольства.** — С. 15.
- 55 **ПДС.** — Т. 1. — С. 10; **Сб. РИО.** — Т. 35.—С.-П., 1882.— С. 163; **Барбаро и Контарини о России.** — С. 230.
- 56 **Сб. РИО.** — Т. 38. — С. 113.
- 57 **Там же.** — Т. 71. — С. 289, 313.
- 58 **Новодворский В.** Борьба за Ливонию между Москвою и Речью Посполитой (1570—1582). Приложения. — СПб., 1904. — С. 7.
- 59 **Сказания современников о Дмитрие Самозванце.** — Т. 4. — СПб., 1834. — С. 130.
- 60 **Сб. РИО.** — Т. 38. — С. 163.
- 61 **ЦГАДА.** — Ф. 53. — № 1. — Л. 3, 27 об.; № 2. — Л. 2; Ф. 123. — № 10. — Л. 21; № 21. — Л. 97.
- 62 **Сб. РИО.** — Т. 35. — С. 61.
- 63 **Там же.** — Т. 59. — С. 578.
- 64 **Аделунг Ф.** Указ. соч. — Ч. 1. — С. 260.
- 65 **О России в царствование Алексея Михайловича.** — С. 70.
- 66 **Podróże i poselstwa polskie do Turcyi.** — Kraków, 1860. — S. 16.
- 67 **Сношения России с Кавказом.** — С. 71.
- 68 **Сб. РИО.** — Т. 71. — С. 398.
- 69 **ЦГАДА.** — Ф. 79. — № 15. — Л. 214.
- 70 **Сб. РИО.** — Т. 59. — С. 44.
- 71 **ЦГАДА.** — Ф. 79. — № 10. — Л. 227 об.
- 72 **Олеарий А.** Описание путешествия в Московию и через Московию

- в Персию и обратно / Пер. А. Ловягина. — СПб., 1906. — С. 225.
- ⁷³ Английские путешественники в Московском государстве. — С. 59; Выписка из иностранной книги о старине русской. — С. 202.
- ⁷⁴ Сб. РИО. — Т. 59. — С. 266, 491, 566 и др.
- ⁷⁵ Сказания современников о Дмитрие Самозванце. — Т. 3. — СПб., 1833. — С. 77.
- ⁷⁶ Описание путешествия... Николая Варкоча. — С. 29.
- ⁷⁷ Сб. РИО. — Т. 59. — С. 566.
- ⁷⁸ Донесение князя Александра Полубенского // Труды 10-го Археологического съезда в Риге. — 1896. — Т. 3. — М., 1900. — С. 126.
- ⁷⁹ Сказания иностранцев о России в XVI и XVII веках. — С. 31—32.
- ⁸⁰ Сб. РИО. — Т. 95. — С. 96.
- ⁸¹ ЦГАДА. — Ф. 79. — № 10. — Л. 116.
- ⁸² Там же. — № 17. — Л. 343—343 об.; ПДТСП. — Т. 1. — С. 201.
- ⁸³ ЦГАДА. — Ф. 79. — № 10. — Л. 241.
- ⁸⁴ Сб. РИО. — Т. 137. — С. 57.
- ⁸⁵ Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. — Т. 1. — М., 1862. — С. 197.
- ⁸⁶ Аделунг Ф. Указ. соч. — Ч. 1. — С. 194.
- ⁸⁷ Бухов Д. Принц фон. Указ. соч. — С. 27—28; Аделунг Ф. Указ. соч. — Ч. 1. — С. 194.
- ⁸⁸ Сб. РИО. — Т. 137. — С. 58.
- ⁸⁹ Там же. — Т. 71. — С. 49.
- ⁹⁰ Белокуров С. А. О приездах в Москву казанского царя Шиг-Алея в 1550, 1552, 1554, 1556 и 1559 годах // ЧОИДР. — М., 1899. — Кн. 4. — Отд. 5. — С. 4; ЦГАДА. — Ф. 123. — № 10. — Л. 347 об.

Глава VII

- ¹ КПМЛ. — Ч. 1. — С. 90—91.
- ² Сб. РИО. — Т. 59. — С. 297.
- ³ Warszewski K. O posłie i poselstwach. — Warszawa, 1935. — S. 193—194.
- ⁴ Сб. РИО. — Т. 59. — С. 75.
- ⁵ Там же. — С. 281.
- ⁶ ЦГАДА. — Ф. 79. — № 17. — Л. 317.
- ⁷ КПМЛ. — Ч. 2. — С. 142.
- ⁸ ПДС. — Т. 10. — С. 222.
- ⁹ КПМЛ. — Ч. 2. — С. 229.
- ¹⁰ Там же. — С. 184—185.
- ¹¹ Сб. РИО. — Т. 137. — С. 46.
- ¹² Там же. — Т. 59. — С. 88.
- ¹³ Там же. — Т. 71. — С. 357; см. также Т. 59. — С. 276.
- ¹⁴ Там же. — Т. 71. — С. 357.
- ¹⁵ Там же. — Т. 137. — С. 319.
- ¹⁶ Там же. — Т. 59. — С. 93.
- ¹⁷ ЦГАДА. — Ф. 123. — № 17. — Л. 46—52 об.
- ¹⁸ Там же. — № 20. — Л. 152.
- ¹⁹ Сб. РИО. — Т. 35. — С. 276—277; Мемуары, относящиеся к истории Южной России. — Киев, 1890. — С. 47.
- ²⁰ Штаден Г. О Москве Ивана Грозного (Записки немца-опричника) / Пер. И. Полосина. — Л., 1925. — С. 58.
- ²¹ Савва В. И. Дьяки и подьячие Посольского приказа. — Харьков, 1916. — С. 13.
- ²² Сб. РИО. — Т. 129. — С. 125.
- ²³ Послания Ивана Грозного. — С. 146.
- ²⁴ Сношения России с Кавказом. — С. 231—232.

- 25 **ЦГАДА.** — Ф. 123. — № 19. — Л. 183. — Об. 184.
 26 **Лабрюйер Жан де.** Характеры или нравы нынешнего века. — М.—Л., 1964. — С. 215—216.
 27 **Сб. РИО.** — Т. 59. — С. 580; Т. 71. — С. 588.
 28 **Там же.** — Т. 59. — С. 319.
 29 **Там же.** — Т. 71. — С. 659—660.
 30 **Там же.** — Т. 59. — С. 577.
 31 **Там же.** — С. 573.
 32 **Лихачев Д. С.** Своеобразие пути русской литературы X—XVII веков // **Русская литература.** — 1972. — № 2. — С. 14.

Глава VIII

- 1 **ПДС.** — Т. 1. — С. 705.
 2 **Горсей Дж.** Указ. соч. — С. 136; **О России в царствование Алексея Михайловича.** — С. 24—25.
 3 **ПДТСП.** — Т. 1. — С. 222.
 4 **Герберштейн С.** Указ. соч. — С. 28; **Донесение о Московии Иоанна Пернштейна // ЧОИДР.** — 1876. — Кн. 2. — Отд. 4. — С. 18; **КПМЛ.** — Ч. 2. — С. 205.
 5 **Сб. РИО.** — Т. 95. — С. 90.
 6 **Казакова Н. А., Лурье Я. С.** Антифеодальные еретические движения на Руси XIV — начала XVI в. — М.—Л., 1955. — С. 372.
 7 **Сб. РИО.** — Т. 41. — С. 295.
 8 **Коялович М.** Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию и дипломатическая переписка того времени. — СПб., 1867. — С. 39.
 9 **ПДС.** — Т. 1. — С. 1020.
 10 **Сношения России с Кавказом.** — С. 420—421.
 11 **Рябошапко Ю. Б.** Из внешней критики Тязвинского мирного договора 1595 г. // **Материалы студенческой конференции МГИАИ.** — Вып. 1. — М., 1963. — С. 78.
 12 **Русская историческая библиотека.** — Т. XVI. — СПб., 1897. — С. 58, 75.
 13 **Сб. РИО.** — Т. 53. — С. 46.
 14 **Там же.** — Т. 71. — С. 680.
 15 **Там же.** — Т. 41. — С. 4.
 16 **Сергеевич В. И.** Русские юридические древности. — Т. 1. — СПб., 1890. — С. 138.
 17 **Лаппо И. И.** Похищение государственной печати Великого княжества Литовского в 1581 г. — СПб., 1906. — С. 3.
 18 **Сб. РИО.** — Т. 38. — С. 14.
 19 **Бухов Д. Принц фон.** Указ. соч. — С. 68.
 20 **ПДТСП.** — Т. 1. — С. 359; Т. 2. — С. 33.
 21 **Сб. РИО.** — Т. 35. — С. 857.
 22 **Там же.** — Т. 59. — С. 301; **ПСРЛ.** — Т. 13. — С. 331.
 23 **Опись архива Посольского приказа 1626 г.** — С. 311.
 24 **Послания Ивана Грозного.** — С. 140.
 25 **ПСРЛ.** — Т. 13. — С. 398.
 26 **Сб. РИО.** — Т. 71. — С. 801.
 27 **Послания Ивана Грозного.** — С. 217.
 28 **Герберштейн С.** Указ. соч. — С. 201.
 29 **Акты исторические, собранные Археографической комиссией.** — Т. 1. — СПб., 1841. — № 34. — С. 66.
 30 **Сб. РИО.** — Т. 95. — С. 661.
 31 **Там же.** — Т. 71. — С. 771.
 32 **ЦГАДА.** — Ф. 53. — № 1. — Л. 239 об.
 33 **Успенский Ф. И.** Наказ царя Ивана Васильевича Грозного князю

- Елецкому с товарищами // **Записки Новороссийского университета.** — Т. 43. — Одесса, 1885. — С. 263.
- ³⁴ ПДС. — Т. 1. — С. 854.
- ³⁵ Сб. РИО. — Т. 41. — С. 22.
- ³⁶ Мадиссон Ю. К. Указ. соч. — С. 136.
- ³⁷ Сборник князя Оболенского. — № 1. — С. 30.
- ³⁸ Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. — М., 1944. — С. 128—130.
- ³⁹ Сб. РИО. — Т. 59. — С. 449.
- ⁴⁰ КПМЛ. — Ч. 1. — С. 91.
- ⁴¹ Там же.
- ⁴² Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. — М., 1962. — С. 99.
- ⁴³ ПСРЛ. — Т. 13. — С. 341; Государственный архив России XVI столетия. — М., 1978. — С. 47.
- ⁴⁴ Там же. — С. 69.
- ⁴⁵ Дунаев Б. И. Преподобный Максим Грек и греческая идея на Руси XVI в. — М., 1916. — С. 64.
- ⁴⁶ Маяковский И. Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. — М., 1960. — С. 70.
- ⁴⁷ Сб. РИО. — Т. 59. — С. 505—506.
- ⁴⁸ Никольсон Г. Дипломатия. — М., 1941. — С. 25. О роли архива в политике и дипломатии см. Шмидт С. О. Российское государство в середине XVI столетия (Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного). — М., 1984. — С. 44—55.

Глава IX

- ¹ Акты, относящиеся к истории Западной России. — Т. 3. — СПб., 1848. — С. 167.
- ² Соловьев С. М. История России с древнейших времен. — Т. 2. — М., 1960. — С. 275.
- ³ Материалы по истории СССР. — Т. 2. — М., 1955. — С. 80.
- ⁴ Мадиссон Ю. К. Указ. соч. — С. 137; КПМЛ. — Ч. 1. — С. 292.
- ⁵ Сборник князя Оболенского. — № 6. — М., 1838. — С. 5.
- ⁶ Масса И. Указ. соч. — С. 31.
- ⁷ ЦГАДА. — Ф. 79. — № 10. — Л. 204.
- ⁸ Там же. — Ф. 123. — № 13. — Л. 402 об.
- ⁹ Горсей Дж. Указ. соч. — С. 29.
- ¹⁰ ЦГАДА. — Ф. 123. — № 13. — Л. 405.
- ¹¹ Материалы по истории СССР. — С. 80; Бухов Д. Принц фон. Указ. соч. — С. 29.
- ¹² ЦГАДА. — Ф. 123. — № 13. — Л. 412—414.
- ¹³ Копанев А. И. Пинежский летописец XVII в. // Рукописное наследие Древней Руси. — Л., 1972. — С. 84; Аделунг Ф. Указ. соч. — Ч. 2. — С. 34; Лурье Я. С. Русско-английские отношения и международная политика второй половины XVI в. // Международные связи России до XVII в. — М., 1961. — С. 425.
- ¹⁴ ПДС. — Т. 1. — С. 673.
- ¹⁵ ПСРЛ. — Т. 34. — М., 1978. — С. 4.
- ¹⁶ ПДС. — Т. 10. — С. 266.
- ¹⁷ ЦГАДА. — Ф. 123. — № 13. — Л. 402.
- ¹⁸ Лихачев Н. П. Дело о приезде в Москву Антония Поссевино. — СПб., 1903. — С. 135—136.
- ¹⁹ Скрынников Р. Г. Иван Грозный. — М., 1975. — С. 177.
- ²⁰ ПДС. — Т. 2. — С. 1168.

- ²¹ Повесть о Дракуле / Подг. текста Я. С. Лурье.— М.—Л., 1964.— С. 123.
- ²² Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изданный Н. В. Калачевым.— Кн. 2.— Пол. 2.— М., 1854.— С. 33.
- ²³ ПСРЛ. — Т. 32. — М., 1975. — С. 92.
- ²⁴ Tyszkowski K. Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie w 1600 r. — Lwów, 1927. — S. 50.
- ²⁵ Герберштейн С. Указ. соч. — С. 189.
- ²⁶ Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. / Пер. Л. Н. Годовиковой. — М., 1983. — С. 63.
- ²⁷ ПДС. — Т. 10. — С. 318.
- ²⁸ Там же. — С. 332—333.
- ²⁹ Там же. — С. 318.
- ³⁰ Поссевино А. Указ. соч. — С. 63.
- ³¹ ПДС. — Т. 10. — С. 308.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗЕРКАЛО ЭПОХИ	3
Глава I. ГОСУДАРЕВА «ЧЕСТЬ»	
ВОПРОС О «БРАТСТВЕ»	16
КРЫМУ И МИРУ	22
ГОСУДАРЬ — СОЛНЦЕ, ПОСОЛ — ЛУЧ	27
«ОТ ЛИЦА К ЛИЦУ»	32
Глава II. УСЛОВИЯ И УСЛОВНОСТИ	
«ПОСЛЫ ВИНОВАТЫ НИГДЕ НЕ ЖИВУТ»	41
ПОМИНКИ И «ЖАЛОВАНЬЕ»	46
Глава III. ПО ДОРОГАМ И УЛИЦАМ	
ШАТРЫ НА ГРАНИЦЕ	57
ОТ РУБЕЖА ДО ПОСАДА	61
ОТ ПОСАДА ДО ПОДВОРЬЯ	66
Глава IV. В МОСКВЕ: ГОСТИ ИЛИ ПЛЕННИКИ!	
ЗА ВЫСОКИМИ ТЫНАМИ	74
«КОРМ» ПОСОЛЬСКИЙ	80
Глава V. ПУТЬ ВО ДВОРЕЦ	
ОТ ПОДВОРЬЯ ДО КРЕМЛЯ	85
У ГОСУДАРЕВА ПОРОГА	90
Глава VI. ПРЕД ЦАРСКИМИ ОЧАМИ	
ДЕКОРАЦИИ И СТАТИСТЫ	96
«ГОСУДАРЕЙ ЧИН ДА И ГРОЗА»	101
У ПОДНОЖИЯ ПРЕСТОЛА	110
ХЛЕБ ДА СОЛЬ	129
Глава VII. В «ОТВЕТНОЙ» ПАЛАТЕ	
ПОИСКИ «ПОСРЕДСТВИЯ»	142
СЛОВО «ИЗУСТНЕЕ»	154
Глава VIII. ИТОГИ И ГАРАНТИИ	
«ВОЛЯ НАША ТА...»	158
ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ	167
КРЕСТНОЕ ЦЕЛОВАНИЕ	172
ЯЩИКИ, «КОРОБЬИ», ЛАРЧИКИ	180
Глава IX. В ТУМАНЕ ЛЕГЕНДЫ	
ДЕРЖАВНЫЙ МАСКАРАД	184
БЫЛ ЛИ РУКОМОЯНИК?	195
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	204
ПРИМЕЧАНИЯ	206

